ВИКТОР СВЕН

МОЛЬ



ВИКТОР СВЕН

МОЛЬ

Товарищество Зарубежных Писателей

Мюнхен 1969

Виктор СВЕН

МОЛЬ

*

Того же автора:

ДИКОЕ СОЛНЦЕ
— о —
ТОСКА
— о —
РУВИМ, СЫН ДАВИДОВ
— о —
ЧЕЙ ДРУГ, ЧЕЙ ВРАГ ЗОЩЕНКО
— о —
ЦЕНА ЖИЗНИ
— о —
БУНТ НА КОРАБЛЕ
— о —
NOVELAS, RELATOS, CUENTOS
(На испанском, Barcelona — „Planeta")
— о —
УЖЕ ПОРА

КНИГИ ТОВАРИЩЕСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Г. Андреев — ТРУДНЫЕ ДОРОГИ
Л. Ржевский — ДВОЕ НА КАМНЕ
Виктор Свен — БУНТ НА КОРАБЛЕ
Борис Зайцев — ТИХИЕ ЗОРИ
Федор Степун — ВСТРЕЧИ
Анна Ахматова — РЕКВИЕМ
А. Позов — ЛОГОС - МЕДИТАЦИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ
М. Булгаков — ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕРТВЫЕ ДУШИ
Виктор Свен — УЖЕ ПОРА
Виктор Свен — МОЛЬ
Альманах «Мосты», №№ 11, 12, 13-14

Gesamtherstellung: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.

Виктор СВЕН

МОЛЬ

Да ведают потомки православных
Своей земли минувшую судьбу...

А. Пушкин

Автор рискнул определить жанр отданной на суд читателя книги древним словом *действо*.

В этом *действе* — жизнь многих, на чьи плечи лёг груз истории совершенно определенного времени.

Пробу разобраться в *типических* судьбах, без деления их на плохие и хорошие, и обнаружит читатель «Моли», действа, среди участников которого были:

1 — Автор,
2 — Собеседник Автора,
3 — Леонид Николаевич Решков,
4 — Владимир Борисович Кулибин, бывший человек и бывший писатель,
5 — Семен Семенович Суходолов, сын тамбовского крестьянина,
6 — Ксюша, дочь мельника,
7 — Воскресенский, профессор,
8 — Ирина Мовицкая, дочь полковника Мовицкого,
9 — Костя Туровец, комсомолец, идеалист,
10 — Валя, друг Кости Туровца

и еще многие другие, силой обстоятельств вовлеченные в *действо*, которое откроется справками — —

О ЛЕОНИДЕ НИКОЛАЕВИЧЕ РЕШКОВЕ

Не без колебаний и сомнений Автор взял и сделал главной фигурой своего *действа* Леонида Николаевича Решкова,

вначале — то есть в 1905 году — бывшего восьмилетним Ленькой, случайным сыном портовой девки.

Надо ли подробно говорить о тяжелом детстве Леньки и о совсем гиблой жизни его матери? Не стоит. Не упомянем потому имени и фамилии женщины, которая хотела удавить своего сына чуть ли не в тот самый день, когда ему исполнялось восемь лет. Но не успела. Помешал проходивший мимо матрос, в сердцах вышибший Ленькиной матери два зуба, а потом доставивший мальчишку в полицейский участок.

Чтобы покончить с этой тяжелой историей скажем, что Ленькину мать вскорости обнаружили мертвой в одном из оврагов, невдалеке от железнодорожного моста. А через какое-то время после этого, жители пригорода безо всякого удивления рассматривали мальчишку Леньку, подавали ему кусок хлеба и не особенно ругались, когда он устраивался на ночь под чьим-то крыльцом или в заброшенной собачьей будке.

Как-то так само собой получилось, что под осень, когда ночи становились холодными и сырыми, Ленька забрел в южную часть пригорода, туда. где был большой сад с красивым домом. Случайность? Да! Но не будь ее, не возникла бы та цепь событий, которые и предопределили, в дальнейшем, трагическую и вместе с тем горькую судьбу безотцовского Леньки, вошедшего в жизнь с паспортом на имя Леонида Николаевича Решкова.

Трудно сказать, что больше всего привлекло внимание Леньки. Может быть сад с деревьями, устало опустившими ветви под грузом крупных антоновок и дюшесов. А может быть и нарядный дом, за удивительно чистыми окнами которого угадывался уют обжитых комнат с коврами, приглушающими шаги крепко опиравшегося на палку полковника Павла Ивановича Мовицкого, после русско-японской войны вернувшегося домой с Георгиевским крестом и перебитыми шимозой ногами. А может быть и то, что Ленька разглядел на веранде всю в белом девочку и стройного кадета.

А кто запретит думать, что Ленька, присмотревшись к девочке и к несколько горделивой фигурке мальчика, не оглянулся на самого себя, на свою жизнь и еще раз не почувствовал злобу пьяных материнских рук, сжимавших его детское горло?

Автор склоняется к мысли, что жалостью к самому себе зашлось Ленькино сердце и что этому сердцу захотелось

освободиться от страшных воспоминаний, сбросить их вместе с лохмотьями штанов и куртки, и с шапкой, под которой вечно чесалась голова.

Найдутся скептики, готовые отрицать способность человека, а тем более такого ребенка как Ленька, стремиться к добру. Такой скептик, читая эту книгу, может весьма значительно заметить что Ленька, сын гулящей бабы, ни о чем хорошем не думал, а просто повадился сюда, чтоб красть яблоки и ночевать в садовой беседке.

В какой-то мере скептик прав. Ленька действительно крал яблоки и груши и уже считал, что беседка, во всяком случае до морозов, весьма подходящее жилье. Он даже притащил сюда подхваченную где-то на базаре крестьянскую шубейку, мягкая шерсть которой возмещала ему недостаток материнской теплоты. К тому же шубейка служила ему и подстилкой и одеялом.

О будущем Ленька еще не умел думать. И будущее его, видимо, пошло бы совсем другим ходом, если бы однажды садовнику Николаю Николаевичу Решкову не понадобилось заглянуть в беседку.

Это случилось ранним сентябрьским утром. Николай Николаевич Решков, тихо посвистывая, раздвигал руками кустарник и, пробираясь к беседке, часто останавливался, с удовольствием оглядывая буйный урожай орехов, начавших обливаться медью.

Посвистывая, он подошел к беседке. Уже готовый раскрутить проволоку, которой он сам, весной, закрепил щеколду дверцы, он с удивлением увидел, что проволоки никакой нет.

— Вот это да, — в недоумении прошептал Николай Николаевич Решков и осторожно заглянул в беседку.

Там, в уголке, лежала шубейка. Из-под нее высовывались босые детские ноги.

«Чей такой?» — подумал садовник.

Он подкрался к спящему и поднял край овчины...

Таким образом Решков, служивший садовником у полковника Мовицкого, и нашел под шубейкой Леньку.

Когда тот вздрогнул и проснулся, садовник не схватил мальчика и не выбросил его вон. Наоборот, он поймал пустившегося удирать Леньку, втянул назад в беседку и приказал:

— Не реви! Ты что...

Мальчик перестал плакать. Пошарив в карманах, он вытащил два яблока и кусок хлеба.

— Антоновки, дяденька, это ваши. А хлеб, ей-Богу, дяденька, хлеб мне бабка дала.

— А яблоки крал? — спросил Николай Николаевич.

— Крал. Я их с хлебом ел. Яблоки, дяденька, возьмите. Только пустите... Пустите меня, дяденька. Я больше не буду...

Отпусти садовник мальчика, пошел бы он куда глаза глядят, потянув за собой шубейку, и где-либо, около пристани или под чьим-то забором, скоро бы и замёрз. Потому что зима в том году наступила ранняя и очень суровая.

Ничего такого не случилось. Не могло случиться, потому что Николай Николаевич Решков прижал к себе мальчика, задумчиво вглядываясь в его испуганные глаза. Потом, глубоко вздохнув, похлопал по худенькому плечу мальчика, сказал что-то ласково-успокаивающее и повел в ту часть дома, которая полковником Мовицким отводилась для садовника.

Автор вполне сознательно отодвигается от того дня, когда Николай Николаевич Решков привел в свою квартиру Леньку, пропускает определенный исторический период и сразу перебрасывается в январь 1917 года.

В январе 1917 года полиции наконец-то удалось найти и арестовать студента Леонида Николаевича Решкова, незадолго перед тем убившего господина Мовицкого, полковника в отставке.

Мотив убийства — месть! Так было записано в материалах предварительного следствия, хотя убедительных доводов, подтверждающих *месть* — приведено не было. Отсутствие их возмещалось пространными показаниями, позволявшими составить представление о личности убийцы.

Не подлежало сомнению, что студент Леонид Николаевич Решков — сын проститутки из числа тех, которых называют *уличными* или *портóвыми* девками, к тому же более двенадцати лет назад ставшей жертвой происшествия, связанного с ночным и весьма примитивным пьяным скандалом. Дела о такого рода событиях заканчиваются скучной фразой о «невыясненных обстоятельствах», и сдаются в полицейский архив.

Так в полицейский архив поступило и то дело, после которого совсем одиноким оказался безотцовский Ленька, скоро превратившийся в бродяжку и мелкого воришку.

Как сложилась бы судьба Леньки дальше, такими вопросами не задавался полицейский чиновник, ведший следствие об убийстве полковника Мовицкого. Он просто записал, что «бродяжку и воришку» приютил Николай Николаевич Решков, садовник в имении полковника Мовицкого.

Николай Николаевич Решков был бездетен. Это, как записано в полицейском дознании, и побудило садовника сначала приютить Леньку «на зиму», а, затем, и усыновить его.

Так «ничейный» Ленька стал носить фамилию своего приемного отца, причем, как равнодушно свидетельствует всё то же дознание, полковник Мовицкий не только одобрил поступок своего садовника, но и принял на себя расходы по обучению — теперь уже не Леньки, а Леонида Решкова — сперва в гимназии, затем — в университете Святого Владимира.

Говоря обо всем этом, Автор находит нужным отметить, что ведшееся полицией расследование было явно поверхностным и никак не раскрывало психологических мотивов совершенного преступления. Так, в частности, осталось непонятным, почему Леонид Решков, уже студент, ставший почти своим для полковника и полковником введенный в круг своей семьи, дочери Ирины и сына-кадета Владимира, а через эту семью и в мир настоящей культуры, вдруг убил... откажемся от слова «благодетель»... убил просто хорошего человека, желавшего из Леонида Решкова сделать такого же хорошего человека.

Всё это отвергает предположение о мести, как мотиве убийства. Было, видимо, что-то другое, не до конца раскрытое, хотя в следственном материале есть намек, что студент-убийца добивался любви девушки Ирины.

Этот мельком отмеченный в материалах следствия эпизод не привлек внимания полиции. Выдвинув версию *мести*, она, в дальнейшем, свое обвинение строила именно на таком мотиве. В действительности всё было значительно сложнее. Допустив же вероятность мести, корни ее надо было искать в душе Решкова, в которой наследственность подготавливала почву для возможных в будущем преступлений.

Полиции не удалось довести до конца «Дело об убийстве полковника Мовицкого». Наступил февраль 1917 года, и студент Леонид Николаевич Решков не только не предстал перед судом, но весьма торжественно — под звуки Интернационала — покинул тюрьму с документом, что он «революционер-террорист», революцией вырванный «из рук палачей».

С бумажкой, подписанной «Комитетом восставшего народа» появился в Москве Леонид Решков, сперва не особенно афишируя свою революционность. Потом, убедившись, что нечего опасаться раскрытия его подлинной «террористической деятельности», он, опять облачившись в студенческую тужурку, окунулся в бурное море заседаний и митингов. Совсем еще недавно находившийся в тюремной камере, в которой по прямой линии можно было сделать не более семи шагов, Леонид Решков наслаждался свободой передвигаться в любом направлении, появляться в повсеместно возникающих политических организациях, в которых с уважением относились к документу, подтверждающему, что предъявитель его, то есть Леонид Николаевич Решков, «революцией вырван из рук палачей».

Он, как будто, нашел свое место в жизни, и дальнейшее ему уже казалось простым и ясным. Оставалось лишь сойтись с теми, кто в эти суматошные дни подготовки к Учредительному Собранию митинговал, так думал Леонид Решков, и исчезнет та страшная пустота, с которой он не мог расстаться.

Но с кем сойтись? Трудность выбора потрясла его. Трезво смотря на самого себя, зная себе цену, он, с удивившей его самого брезгливостью, отодвинулся от большевиков только потому, что увидел в них своих родных братьев по нравственной нечистоплотности и примитивно-наглой демагогии.

Мысль о «родных братьях» его смутила.

«Это Кант, — сказал себе Леонид Решков, — говорил о двух вещах, удивлявших его: о звездном небе над нами и о нравственном законе внутри нас».

Звездное небо, признал Леонид Решков, существует и для него. А нравственный закон? Его не построишь только на прочитанных книгах и не втиснешь в студенческую тужурку.

Леонид Решков сделал попытку примкнуть к меньшевикам. Во имя идеи? С верой в их дело? Об этом он не думал. Его влекла к себе их интеллигентность, отблеск той культуры, душевности, всего того, чем был богат мир, в котором жил полковник Мовицкий.

Счастливая случайность свела его с видным меньшевиком-интернационалистом Юлием Мартовым, а, затем, и с его друзьями. Произошло несколько встреч, и вот уже Леониду Решкову показалось, что он принят ими, включен в круг их интересов, и дальше пойдет только с ними.

Вдруг и сразу всё рухнуло. Хотя нет: не вдруг и не сразу. Исподволь, постепенно, но неотвратимо, углублялась пропасть между Леонидом Решковым и Юлием Мартовым. Леонид Решков, наконец, понял, что он и Юлию Мартову и его друзьям духовно чужд. Да, они, в этом был уверен Леонид Решков, признают его студентом, считают умным и начитанным человеком, но смотрят на него глазами пренебрежительной настороженности.

Леонид Решков опять очутился в пустоте. Теперь уже признав обреченность своих попыток слиться с жизнью, он вернулся к старым зловещим мыслям о том, что ни при каких условиях не сможет спастись от самого себя, и навсегда останется Леонидом Николаевичем Решковым.

На площадях, в залах театров, на углах улиц со всё возрастающим азартом шумел и митинговал народ. Мимо всего этого торопливо и мрачно проходил Леонид Решков, упрямо думая о выпавшем на чью-то долю счастье одиночества.

«В какой-либо комнатушке», — сказал он себе, так и не замечая, что революция Февраля приближается к закату и что назревают новые, грозные события.

Когда первые попытки нанять хотя бы угол не увенчались успехом, он криво усмехнулся, подумав что похож на больную запаршивевшую собаку, которая ищет нору, чтоб там затаиться и околеть. Между прочим, к мысли о собаке, о сравнении себя с собакой, — он возвращался не раз, и не только в эти дни, но и в том будущем, которое начнется когда-то потом.

В угнетенном состоянии он однажды попал в Левшинский переулок и столкнулся со стариком, согласившимся сдать ему комнату при условии, что плата будет не в «керенках».

Леонид Решков перебрался в Левшинский переулок, на который даже захудалые извозчики смотрели с подозрением. Достаточно было, например, сказать: «В Левшинский!», извозчик хмурился, изучал седока, решая сложный вопрос: заплатит «барин» или сиганет с пролетки в одну из таинственных подворотен.

Первые дни, проведенные в Левшинском переулке, успокоили Леонида Решкова. Он даже улыбнулся над своею теперешней способностью обходиться без мыслей и спать без сновидений.

Но так продолжалось недолго. Достаточно было дням превратиться в недели, и он почувствовал, что жизнь тут,

в этом заброшенном переулке, становится всё сложней и сложней, заполняется воспоминаниями об уже как будто бы навсегда отодвинутом прошлом. В конце концов мысль, единственная мысль об Ирине Мовицкой, стала навязчивой идеей, под влиянием которой он, однажды, поставил рядом с Ириной Мовицкой себя, Леонида Николаевича Решкова. А где-то в стороне, так показалось Леониду Решкову, были мертвые глаза полковника Мовицкого, всё изучающие и всё восстанавливающие.

Это было страшно. Страшно потому, что Леонид Решков глазами мертвого полковника разглядывал самого себя, отвернувшегося от того светлого мира, в котором и ему было отведено место.

Так, со стороны и вроде бы чужими глазами рассмотрев себя, Леонид Решков пришел к выводу, что его недавнее прошлое — не случайность. Оно было подготовлено не внешними причинами, а тяжелой, вошедшей в его кровь, наследственностью, сила которой неотвратимо возрастала из года в год. Потом, став студентом, он — уже со злобной завистью к миру семьи Мовицких — почувствовал себя чужим. Его раздражала и обстановка, и тихие задушевные беседы по вечерам, и пианино, по клавишам которого легко бегали пальцы барышни Ирины, и хромой полковник. В особенности ненавидел Леонид Решков большой портрет, перед которым, на столике, с весны до поздней осени, стояли вазы с полевыми цветами. Это был портрет покойной матери Ирины. С портрета на дочь, с тоской, казалось, смотрела еще молодая красивая и чем-то озабоченная дама.

Так родилось в нем дикое желание увидеть обломки пианино, разорванный портрет, а самих Мовицких — опустившимися, грязными не только внешне, но и духовно.

«Да, — говорил себе Решков, сидя в домике Левшинского переулка, — я к этому стремился. А почему стремился, понял только сейчас, здесь, понял, почему был убит полковник Мовицкий».

Он спокойно, без волнения, подумал о полковнике. Был и нет! Но мысль о нем вернула его туда, в то прошлое, которое никогда не повторится. В невосстановимое былое ушла даже не барышня Ирина, а маленькая Ирочка, девочка в беленьком платьице, стоявшая на веранде тогда, когда ему, теперешнему Леониду Решкову, тогдашнему бродяжке было восемь лет . . .

В один из дней осени 1917 года Леонид Решков, житель Левшинского переулка, со стоном откинулся на спинку сту-

ла, поняв, что любит Ирину Мовицкую. Это чувство показалось ему столь огромным, что он вздрогнул, тут же решив бежать на вокзал, втиснуться в поезд, уехать, чтобы где-то *там* упасть перед Ириной и раскрыть свою душу.

Он даже представил себе самого себя, обратившегося к Ирине с мольбой: «Судите сами».

Нелепость этой воображаемой картины заставила его криво усмехнуться и почему-то посмотреть на свои руки. Потом, через некоторое время, он догадался, что на руки смотрит как посторонний, лениво думающий о том, что эти руки убили хорошего человека.

Он продолжал прятаться в свое одиночество, почти не выходя из комнаты. Однажды, услышав раздавшиеся невдалеке выстрелы, он воспринял их как чью-то попытку помешать ему придти к очень важному и уже почти готовому решению. Словно желая проверить правильность своей догадки, он выскочил в коридор и, рванув дверь, очутился на крыльце.

— Ты куда? — закричал хозяин. — Не видишь: восстание!

По переулку, прижимаясь к домам, бежали перепуганные люди.

— Назад! — опять крикнул хозяин. — Закрой двери!

Решков повернулся, но дойти до двери не успел: шальная пуля свалила его у порога.

Очнулся он лишь тогда, когда вся комната была забита народом.

Ночью, когда всё уже успокоилось, Решкова доставили в какую-то больницу . . .

Автор не станет рассказывать о том, как лечили Леонида Решкова и какой врач ему делал перевязки. Об этом вряд ли помнил и сам Решков. Во всяком случае, об этом периоде своей жизни он мало кому говорил, и потому мало кто знает, насколько он был удивлен, когда в больнице его навестили представители районного совета и член местной ячейки большевиков. Они рассказали раненному Решкову о победе Октября и благодарили за участие в восстании.

От роли героя-революционера он не отказался. А недели через три после выхода из больницы его весьма торжественно приняли в ту ячейку, представитель которой первым обнаружил самоотверженность и глубокую идейность бывшего студента, в прошлом — жертву царского режима.

Автор утверждает, что именно с этого момента Леонид Решков вошел в *действо,* подхваченный вихрем Октября.

Конечно, в самом Октябре Леониду Решкову не довелось участвовать. Октябрь был сотворен без него, без его помощи, но всё дальнейшее, дальнейшие семнадцать лет строительства «нового мира», Автор не представляет себе без Леонида Решкова, растоптавшего свою судьбу и с каким-то холодным озлоблением рванувшегося к большевикам. Весьма возможно, что за всем этим стояла месть Решкова и самому себе, и Мовицким, и оттолкнувшим его меньшевикам, месть чему-то несбывшемуся, хотя он отдавал себе отчет, что *сегодняшнее* — лишь суррогат, жалкий заменитель того, что ушло навсегда.

Совсем естественно получилось, что ячейка, от которой районный комитет потребовал направить в чека несколько большевиков, годных для беспощадной борьбы с врагами, сразу же рекомендовала Леонида Решкова.

Председатель чека, внимательно изучавший списки рекомендуемых, дважды прочитал краткую, но выразительную характеристику и приказал:

— Вызвать ко мне!

На другой день Леонид Решков сидел в кабинете Председателя. Пристально изучающий и несколько суровый взгляд Председателя скоро сменился приветливой улыбкой.

— Вот, — сказал Председатель. — Отлично. Нам нужны интеллигентные люди. Идейные и закаленные. И беспощадные. Вашу идейность укрепила царская тюрьма. А закаленность... — тут председатель протянул Решкову руку. — Закаленность вашу проверила вражеская пуля.

Автор не находит нужным утомлять читателя подробностями того, как Леонид Решков, сперва обычный уполномоченный, потом — особоуполномоченный, весьма скоро занял пост Семена Семеновича Суходолова, бывшего одним из помощников Председателя.

Свое понижение в должности Суходолов воспринял не только без обиды, но даже с радостью. Его уже давно мучило сознание, что он — простой крестьянский сын — не по праву стоит около Председателя, большого политика и друга Вождя.

Да, он, Семен Семенович Суходолов, еще до октября 1917 года, с полной верой в грядущее народное счастье, примкнул к большевистскому подполью. Потом, уже в Октябрьские дни, он испугался той страшной власти, которой располагал. Ему даже казалось, что он злоупотребляет этой властью, не умеет ею пользоваться, делает что-то не так, а потому «народное счастье» не получается.

Ему очень понравился Леонид Николаевич Решков. А привыкнув к нему, Суходолов честно признался во всех своих сомнениях и терзаниях. Суходолову хотелось, чтоб новый начальник, этот интеллигентный студент, идейный революционер убедил его, что «Русский Октябрь» принесет, не может не принести, счастье всему народу и, конечно, отцу Суходолова, самому что ни на есть обыкновенному тамбовскому мужику.

— Понимаете, — говорил Суходолов, — у Ленина должна же быть правда? А без правды, Леонид Николаевич, зачем было делать русский Октябрь.

Об этом «Русском Октябре» Суходолов, уже ставший другом Леонида Николаевича Решкова, рассуждал много раз. Когда же замечал ироническую улыбку Решкова, с сожалением думал о том, что его начальник не понимает простых, честных крестьянских слов . . .

Сам по себе «Русский Октябрь» — феномен весьма сложный . . .

А так как — об этом Автор уже предупреждал! — на страницах книги «Моль» положено появляться Собеседнику, вторгающемуся со своими толкованиями в ход *действа,* то Автор именно сейчас полагает нужным начать разговор о том, как — —

СОБЕСЕДНИК РАСЦЕНИВАЕТ «РУССКИЙ ОКТЯБРЬ»

— Я умиляюсь, глядя на вас, когда вы с трогательной осторожностью прикасаетесь к вашим запискам, заметкам, блокнотам. Они дороги вам. Ведь всё это попало *сюда* оттуда. К этим заметкам-запискам, теперь уже на хорошей бумаге, вы добавляете свои *воспоминания* . . . чтобы создать, восстановить пеструю, сложную и бесспорно интересную жизнь первых десяти-пятнадцати лет . . . чтобы эти десять-пятнадцать лет втиснуть в книгу «Моль» . . . и чтобы, потом, эту книгу предложить читателю. Что ж, замысел ваш я одобряю. Хотя сомневаюсь, что вы сможете обойтись без моей помощи.

— До сих пор обходился, — несколько грубовато ответил Автор.

Собеседник не обиделся.

— Обходились, потому что меня не было. Я вот появился, и я помогу вам шире смотреть на *экзотику* тех пятнадца-

ти лет, которой вы живете... Вы меня извините, — улыбнулся Собеседник, — но вы, Автор, настолько во власти ваших старых записок и старых воспоминаний, что забыли о главном: о том, что Октябрь не закончился. Он — продолжается. Упустив это из виду, вы, как близорукий, возитесь в уголке своей памяти, ковыряетесь там, и вам кажется, что этого уже достаточно. Вы даже договорились до того, что крестьянский сын Суходолов — один из тех, кто на своих плечах поднял «Русский Октябрь», что Решков...

Автор нервно двинулся и хотел было протестовать, спорить и опровергать. Но Собеседник спокойно прищурился и сказал:

— Вы даже не в силах решить весьма легкую задачу и ответить на вопрос: кто создал «Русский Октябрь»? И только потому, что вы находитесь под гипнозом лично вами пережитого. От пережитого вы оторвались, ушли. Гипноз — остался. И вот вы — в прошлом. Да, там и Ленин и Сталин... Дальше этого вы не двигаетесь. И в этом — ваша ошибка. Мимо вас прошел 1967 год. В 1967 году большевики отпраздновали историческую дату: пятьдесят лет со дня Октября. А вы на это не обратили внимания! Вы даже не знаете, что именно в 1967 году партия объявила о своей величайшей победе: создан *новый* человек. Вы не видите этого *нового* человека. А я его вижу. Это действительно *новый* человек, приучаемый дрожать перед решением любого съезда. *Новый* человек безропотно отдает свои голоса партии, клянется ей в любви и преданности, в резолюциях записывает, что только она, партия, дает им, *новым,* подлинное счастье и истинную радость существования. Что ж, поздравьте партию с «пятидесятилетием Октября», отпразднованным в 1967 году; с ее успехами в создании *нового* человека... При помощи чекистов.

Автор молчал. Это, видимо, несколько удивило Собеседника.

— Что ж? — спросил он. — Возразить не собираетесь? Понимаю! Куда как проще брать вещи такими, уже оформившимися, готовенькими. Берите. Втискивайте в книгу ваших литературных героев. С биографиями полувыдуманными, полудействительными, воскрешенными при помощи ваших, от разных времен сохранившихся, записок.

Автор то ли хотел возразить Собеседнику, то ли ответить самому себе, что он, Автор, не смотрит так упрощенно на историю, как об этом говорит Собеседник. Но сделать этого не успел: Собеседник зашуршал какими-то бумажками,

потом, глубоко вздохнув, скучно попрекнул Автора, что тот слишком *литературно* оценивает прошлое.

— Я боюсь, — сказал Собеседник, — что вы согласились с насаждаемым термином «Русский Октябрь». Такой термин очень удобен. Как только он станет восприниматься прописью, тогда легко идти и дальше, настаивать, что большевизм в любом варианте, в ленинском или сталинском — явление закономерное, чисто русское. И значит: «Да здравствует пятидесятилетие Октября!» И да не предвидится ему, Октябрю, конца в грядущих столетиях! Логично? Логично, если признать, что Октябрь *создан* Россией, русскими руками. А я вот вам докажу, докажу неопровержимыми фактами, что Русского Октября не было и не могло быть, потому что Октябрь делался не русскими руками. Докажу *их* документами! Не подлежащими сомнению, потому что их можно обозреть, прочитать в любое время. Эти документы пока что даже не архивные, и потому легко восстановимые. Возьмите советские газеты осени и зимы 1967 года . . . Осень и зима 1967 года — это месяцы торжеств по поводу пятидесятилетия Октября и воцарения большевизма. Празднества состоялись. Вслед за ними — начались новые ликования. Тоже по случаю пятидесятилетия . . . Пятидесятилетия создания ВЧК — всероссийской чрезвычайной комиссии. Но чекистскими пятидесятилетними торжествами большевики допустили явно идеологическую ошибку. Как могли потомки Ленина и Сталина, после праздника пятидесятилетия Октября, начать прославление и восхваление ВЧК? Ведь всем этим — речами и документами — они сами развеяли в прах миф о «Русском Октябре», с удивительной глупостью показав всем, что большевиков к власти привели *чужие* руки. Да, да! — воскликнул Собеседник. — Простаками оказались наследники Ленина! То, что надо было прятать подальше с такой же старательностью, с какой они прячут статистику жертв ленинско-сталинских застенков, тó они, задыхаясь от радости, выложили на всенародное обозрение. Ну скажите, какое умное правительство стало бы отмечать торжествами юбилеи Гильотины, Плахи, Виселицы или Электрического стула? А они отметили юбилей ВЧК! Об этом чекистском юбилее надо было молчать. Молчать крепко, чтобы не раскрыть тайну создания Октября в России чужими, не русскими руками. А что они сделали? Обнажились . . . В сотнях статей, книг, речей . . . Один из примеров — «Комсомольская правда» за 20 декабря 1967 года. В ней *«О пути чекистов»* — заявление генерал-майора Малыгина:

Сегодня исполняется 50 лет со дня создания ВЧК... Ленин говорил, что необходим такой орган, который мог бы «репрессией быстрой и беспощадной» пресечь все происки врага. Таким органом стала созданная по инициативе Ленина 20 декабря 1917 года Всероссийская чрезвычайная комиссия, во главе которой, по предложению Ленина, был поставлен его верный соратник Ф. Э. Дзержинский... Чекистские органы приняли на себя всю тяжесть борьбы... Это борьба требовала верности партии, непримиримости к врагам, решительности и неустрашимости...

Вот кто создавал власть большевиков! Чекисты! А кто возглавлял чекистов? Дзержинский! Дзержинский, по-вашему, русский? Но пятьдесят лет — срок большой. В том числе и для чека. Пойдем по следам этих пятидесяти лет. Берем «Правду» за 21 декабря 1967 года. *«Пятьдесят лет на страже»* — это доклад Андропова. Он перечисляет «головку» чекистов:

В ВЧК, в разное время, работали такие замечательные деятели нашей партии как Феликс Дзержинский, Менжинский, Урицкий, Петерс, Кедров, Ксенофонтов, Аванесов, Лацис, Уншлихт, Уралов, Буйкис — которые составляли ядро чекистских органов...

Автору даже не нужно было поднимать глаза, до того он отчетливо представлял себе Собеседника, равнодушно оперирующего фактами и подлинными документами.

— Ленину был нужен орган беспощадный, — продолжал Собеседник. — Ленин создал ВЧК. Кому доверил он эту гигантскую машину истребления? Дзержинскому. Кто потом управлял ею? «Правда», описывая юбилейные чекистские праздники, перечислила «чекистское ядро» за прошедшие пятьдесят лет. Среди одиннадцати фамилий — только три, звучащие по-русски... Но, — тут Собеседник, как почудилось Автору, поднял палец, — но «русскому звучанию» этих трех фамилий верить до конца вряд ли стоит. Нет, нет, — торопливо добавил Собеседник, — я ничего не идеализирую. Среди любого народа есть определенный процент садистов, мерзавцев и преступников. Этот определенный процент присущ и русскому народу. Но сейчас я говорю не вообще о преступниках, которые заметают следы своих преступлений, а о творцах Октября, о тех, кто на трупах миллионов утвердил власть большевиков на русской земле не русскими руками. *Чужими* руками. Да, среди «замечательных деятелей партии — составлявших ядро чекистов», среди тех, например, о которых говорила «Правда» за 21 декабря 1967 года, названы три русские фамилии. Но «русскости» этих фамилий я попросил не особенно доверять. Вы можете спросить: почему? Ну хотя бы потому, что большевикам, строившим

Октябрь «беспощадными чекистами», надо было показать, что чекисты — это не сплошь Дзержинские, что среди них была и «прослойка» русских... Прослойка, отметим, очень тоненькая, подчас — мифическая. И это — тоже подтверждают сами же советские газеты. Например, «Комсомольская правда» за 20 декабря 1967 года... Умиляясь героической историей ВЧК, «Комсомольская правда» в статье *«Невидимый фронт»* повествует:

> ...Мы встретились с чекистами... И теперь имя одного из них — Ивана Петровича Батова — можно назвать настоящим именем: это Ян Крикман. Вся жизнь Яна Крикмана — подвиг чекиста...

Видите, как великолепно: под чисто русской фамилией Батова десятки лет прятала чека чекиста Яна Крикмана. Эпизод? Нет, не эпизод. Такова их система. А что это именно система — можно подтвердить и другими откровениями. Вот «Правда» за 26 ноября 1967 года... В ней статья *«Человек и его время»*. В статье — рассказ об одном из «замечательных чекистов», о помощнике Дзержинского — об Иване Михайловиче Петрове. Этот самый что ни на есть русский по фамилии, этот Иван Михайлович Петров... Ну, дальше слова из «Правды»:

> ...Теперь уже можно сказать, что Иван Михайлович Петров — это человек, живший под чужим именем. Иван Михайлович Петров — в действительности — чекист, финн Вяха Тойво...

— Вяха Тойво? Да это же...

— Не волнуйтесь, — произнес Собеседник. — Да, это тот самый Вяха Тайво, что, помните? что вошел в доверие «Парижского эмигрантского центра». Тот Вяха Тойво, на которого полагались генерал Кутепов и Шульц-Стешинская. Эти имена вам знакомы? И еще: это тот Вяха Тойво, который состоял в таинственной связи с английской разведкой, а потом передал в руки Дзержинского английского разведчика сэра Сиднея Рейли. А еще потом, уже для того, чтобы ввести в заблуждение британскую разведку, ВЧК объявила Вяха Тойво расстрелянным за «измену и предательство»... объявила в тот самый день, когда Вяха Тойво за операцию «Сидней Рейли» был отмечен орденом Красного Знамени и «награжден» русским именем *Ивана Михайловича Петрова.* Под этим именем он и жил в Москве, и только теперь стало известно, что Иван Петров — не Иван Петров, а Вяха Тойво, почетный чекист-пенсионер, полковник в отставке... Видите, с какими открытиями выступали газеты в исторические дни общеединого праздника — Пятидесятилетие Октября и Пятидесятилетие ВЧК... Коленопреклонение же наследни-

ков Ленина перед чекистами вполне оправданно. Не будь чекистов — не было бы ни Ленина, ни Сталина, ни всего того, что называется диктатурой пролетариата. Не было бы и партийной власти. А она есть! Ее создала чека, и эта власть будет существовать до тех пор, пока существуют чекисты. Но — опять повторю: эту власть создавали не русские руки. Хотя тут же напомню и о своей *оговорке!* Определенный процент преступников, садистов и мерзавцев был, есть и будет в русском народе, как и в любом другом народе! Таков — закон. Но что чужими руками был возведен на трон Октября Ленин и что только чужие чекистские силы создали и укрепили власть партии в России — это можно было бы доказывать ссылками на Максима Горького, на Владимира Галактионовича Короленко, на Илью Эренбурга тех — первых лет Октября. Но к нам ближе год 1967 с партийно отпразднованным «Пятидесятилетием ВЧК». У алтаря ВЧК наследники Сталина и внуки Ленина — в угаре молитвенного экстаза — сами себя разоблачили, признались в том, что Русского Октября не было, что был Октябрь — созданный китайскими, латышскими, венгерскими и прочими чекистами.

Вот «Правда» за 27 декабря 1967 года . . . Очерк: *«Батальон имени Карла Маркса»*. Чекистский батальон. Кто в нем? Венгры-коммунисты, немцы-коммунисты, те, кого, как сказано в очерке, «Великое имя Карла Маркса сплачивало на борьбу за Октябрь».

Та же самая «Правда» — 20 декабря 1967 года — опубликовала очерк: *«Четверо отважных»*. В очерке — «о четырех боевых товарищах по многим годам чекистской работы». Кто они — эти чекисты? Газета перечисляет: «Ян Буйкис, А. Спрогис, П. Колосовский и М. Аллахвердов».

Опять «Правда» . . . О чекистах, делавших Октябрь, она почему-то предпочитает повествовать в душещипательных очерках. 15 декабря 1967 года — очередной очерк: *«Дача в Краскове»*. Тяжесть борьбы по укреплению власти советов в Москве, говорит газета, вынесли на своих плечах чекисты, во главе с председателем МЧК Манцевым, начальником отдела по борьбе с контрреволюцией Мессингом и его помощником Фридманом.

Возьмем еженедельник «Литературная Россия». В нем — 15 декабря 1967 года — в статье *«Сын двух народов»* рассказ о политическом комиссаре пятой Красной Армии — чехе, о комиссаре-чехе в Бугульме и о том, как «чехи защищали Октябрь».

В «Литературной газете» за 13 сентября 1967 года материал под торжественным заголовком: «*Лучшее слово — любовъ*». Не материал, а сплошная ода в честь Брежнева, посетившего Будапешт. В Будапеште — в речи, прерываемой бурными аплодисментами — Брежнев отметил ту громадную роль, которую сыграли венгры-коммунисты в борьбе за победу Октября.

И еще — в той же «Литературной газете», но уже за 13 декабря 1967 года — ликующее описание героя-чекиста, латыша Эдуарда Прамнэка и других верных ленинцев, чекистов-латышей.

Собеседник замолчал, вопросительно разглядывая Автора.

— Так что же? — спросил Собеседник. — Согласны, что Ленина и Октябрь сотворили венгры, китайцы, латыши и все те прочие, которые на русской земле вливались в боевые карательные отряды под флагом Карла Маркса? Трудно не согласиться. Ведь я вам приводил документы, газетные сообщения, причем сознательно и совершенно точно воспроизводил цитаты, тщательно читал фамилии вернейших чекистов-ленинцев, отстоявших «завоевания Октября и утвердивших советскую власть». Среди фамилий этих ленинцев-чекистов, как вы могли убедиться, *русских* совсем мало, до того мало, что . . . Будьте спокойны, если бы *русские* ленинцы-чекисты делали Октябрь для Ленина, о них, празднуя пятидесятилетие ВЧК, газеты верещали бы с азартом. И черным по белому написали бы, что Октябрь не китайско-венгерско-латышский, а именно *русский*. И всё было бы на месте. Ленина и Октябрь создали *русские*, за Ленина и Октябрь — в ответе перед историей — сами *русские*. Тогда что же? Тогда — так вам и надо, русским! Что посеяли, то и жните. Но русские плоховато *сеяли*. На их плечи легли плоды посеянного чужими руками.

Вот газета «Известия», за 30 мая 1967 года. Со статьей «*Красные латышские стрелки*». О латышских чекистах.

Между прочим, — тут Собеседник улыбнулся, — это уже просто для вашего сведения: латыши-чекисты для Ленина и для большевиков сделали куда больше, чем китайцы и прочая интернациональная накипь, объединившаяся в те годы в батальоны имени Карла Маркса! Об этом с удивительной откровенностью, свойственной только политическим гангстерам, убежденным в своей *сегодняшней* безнаказанности, признается статья «Красные латышские стрелки».

Начинается эта статья так:

> В историю великого Октября красными латышскими стрелками вписано немало героических страниц. Бесстрашие латышских стрелков проявлялось при подавлении восстаний. Гремела слава латышских стрелков...

И дальше — весьма характерная откровенность. Среди латышских стрелков, оказывается, не было русских. И когда — в 1967 году — газета «Известия» надумала собрать чекистов-ветеранов и побеседовать с ними, русских чекистов «Известиям» найти не удалось! А вот чекистов-латышей собрала газета «Известия», свезла их в Москву, и усадила за редакционный «круглый стол» Яна Калниня, Кисиса, Шмидре, Пингене, Смилгу и других. Для чего? Для воспоминаний. О чем? Газета «Известия» сообщает:

> ... о том... как они выполняли различные задания по борьбе с врагами... Как они охраняли Ленина...

Таков «Русский Октябрь». И газета «Известия», как будто бы для развенчания мифа о «Русском Октябре» признается, что «русских рук» не было для охраны... Кого бы вы думали? Для охраны самого Ленина! Вот строчки из газеты «Известия»:

> Участники встречи за «круглым столом» вспомнили, как в марте 1918 года, когда советское правительство переезжало из Петрограда в Москву — охрану поезда несли красные латышские стрелки. Участник беседы Эдуард Смилга сказал: «Я охранял вагон, в котором ехал Владимир Ильич».
>
> Участники встречи — красные латышские стрелки — вспоминая прошлое, говорили о том, что при активном участии красных латышских стрелков были разгромлены эсеры, были подавлены восстания в Москве и Ярославле, о том, что латышской дивизией командовал латыш К. Стуцка, комиссаром дивизии был латыш Р. Апин, начальником политотдела был латыш Р. Кисис...
>
> — Да, — заключил эту беседу за «круглым столом» в редакции «Известий» Р. Кисис, — латышские красные стрелки не знали страха в борьбе и были бесконечно преданы советской власти...

Автор всё ниже и ниже опускал голову. Наконец он закрыл глаза — и перед его закрытыми глазами проходило далекое прошлое. В том далеком прошлом — двигались беспредельно-преданные чекистско-карательные роты, полки, дивизии... те самые китайцы, латыши, венгры... и опять латыши, охранявшие Ленина, подавлявшие русские восстания против Ленина, уничтожавшие русских людей на русской земле.

Когда же Автор оглянулся — перед ним была пустая комната... Разговаривать было не с кем. Собеседник исчез.

«Ну что ж», — подумал Автор, придвинув к себе пищущую машинку, чтобы на листах бумаги продолжать собственную беседу о судьбах героев своей книги.

Но приступить к работе сразу он не смог. Увидев около письменного стола лежавшую на полу газету, Автор наклонился, поднял ее, это была «Правда» за 20 декабря 1967 года. Со статьей *«Ильич о чекистах»*. В статье — карандашом — были обведены вот эти строчки:

> Дзержинский рассказывал Ильичу о героях, латышах-чекистах... Владимир Ильич вместе с Дзержинским рассматривал все важнейшие дела, показания арестованных... В марте 1921 года Ленин и Дзержинский утвердили план ликвидации кулацко-эсеровской банды на Тамбовщине.
>
> На девятом съезде партии Владимир Ильич Ленин сказал, что «каждый хороший коммунист должен быть и хорошим чекистом». Ссылаясь на эти слова Ильича, Дзержинский всегда внушал сотрудникам, что чекистом может быть только настоящий коммунист-ленинец.

Автор дважды перечитал эти строчки и, потом, подчеркнул последние слова: «чекистом может быть только настоящий коммунист».

Подчеркнул, и сам себя спросил в недоумении: «Для чего?»

Он действительно не знал, для чего это было сделано, и только несколько позже, когда газета была уже отложена, вдруг вспомнил Решкова.

— Ага, — сказал Автор, и это «ага» как бы раздвинуло некий призрачный занавес, позволяя пристально разглядывать Леонида Решкова, в уютной комнате одного из барских домов Москвы разговаривающего со стариком Кулибиным.

Автор не знает, как и где познакомился Леонид Николаевич Решков с Владимиром Борисовичем Кулибиным. Автору известно лишь о том, что Кулибин, и весьма скоро, стал нужен Решкову, как некое сильно действующее средство, помогающее в тяжелые минуты спасаться от самого себя.

Дружба эта (не совсем понятная и странная для посторонних) была искренней и теплой... В этом уверен Автор, и потому находит необходимым рассказать — —

О БЛИЗОСТИ КУЛИБИНА И РЕШКОВА

— Я хотел бы прочитать пронзительно страшную книгу о нашем времени. Понимаете: честную книгу. Пусть даже нигде и не напечатанную... но чтобы в ней я увидел... са-

мого себя, что ли, — говорил Решков, слегка усмехаясь. — Да не напишут!

— А вы уверены, Леонид Николаевич, что такая книга не будет написана?

— А кто напишет? Вы? — спросил Решков.

— Допустим . . .

— И в этой книге будут отведены страницы мне, Леониду Николаевичу Решкову?

— О, конечно!

— Вы шутите, Владимир Борисович!

— Вам хочется шутить, Леонид Николаевич? Что ж, давайте. Времени у нас хватит.

Решков задумался. Кулибин сплетал и расплетал пальцы.

— Ну . . . и вы бы меня изобразили героем, — прервал, наконец, молчание Решков. — Героем. С пистолетом в кармане? Смерть врагам революции? Грудь — в орденах и медалях? В руках — красное знамя?

— Я вас втравил в игру, — тихо, вроде по-секрету, прошептал Кулибин. — А мне не до игры. Да, Леонид Николаевич, вы герой . . . жалкий, несчастный герой. В вашем кармане — пистолет. Днем и ночью. О, у вас достаточно орденов. Но сами вы . . . Вот вы бросили иронический вопрос, дескать, каким вы меня, Владимир Борисович, сделаете героем? А я вам серьезно отвечу: таким, каким вас создала жизнь! И никаким другим.

— Интересно: каким же?

— Потерявшим самого себя. Нет, нет, не возражайте, Леонид Николаевич! Вы спросили, я только отвечаю. Не хотите слушать, что ж . . .

— Говорите, Владимир Борисович. Понимаете, я . . .

— Вы среди *своих* чувствуете себя уверенно, как будто всё время стоите прижавшись к крепостной стене. Но достаточно вам очутиться среди обычных людей, тех, кого вы называете *массой*, вы испытываете стыд. А ведь вы — активист, профессиональный ленинец, руководитель, вы — тот, кто ведет *массу*. *Масса* вам аплодирует, единогласно соглашается с вами . . . и вы чувствуете фальшь всего этого *энтузиазма*, но отказаться от нее не можете, в фальши — вы прячете самого себя. Ощущая противоречие между жизнью реальной и жизнью выдуманной, воображаемой — вы испытываете безотчетный злобный стыд . . . весьма похожий на тот стыд, который испытывает голый мужчина перед глазами неизвестно откуда появившейся публики. Самое же страшное для вас это то, что вы знаете: стыд начался давно,

с тех пор, как вы вошли в чужую жизнь, отказавшись от вашей собственной жизни. За это вы теперь расплачиваетесь сознанием своей ничтожности и физическим ощущением моральной пустоты. Вот каким я вижу вас, Леонид Николаевич, вас, героя моей — написанной или еще не написанной — книги.

Решков сидел, опустив голову.

«Зачем я всё так грубо, — подумал Кулибин. — Для чего?»

Искренне жалея о своих жестоких словах, Кулибин поднялся со стула и сказал:

— Простите . . . Как-то всё неожиданно. И эта болтовня о книге. Пожалуйста, забудьте. Ну, кто перед вами? Некий Кулибин, в прошлом . . . Оставим прошлое. Нынче Кулибин — старенький корректор, с которым вам интересно проводить вечерний час. Не скрою: и мне уютно около вас и с вами. Я даже не знаю — почему? Может быть потому, что вы в самом деле — где-то глубоко, в душе — тревожитесь чем-то большим и серьезным. Господи, что это я опять за старое! Нет, довольно, Леонид Николаевич. Я пойду к себе, домой. Так-то оно, на сегодня, лучше . . .

— Не надо, — Решков схватил руку Кулибина, — не уходите. Вы говорили обо мне. А теперь я сам хочу рассказать о том, что имеет отношение . . . ну . . . может быть к той — еще никем не написанной книге. Садитесь! И послушайте рассказ . . . о моих встречах с одним весьма видным . . . в общем, очень интеллигентным человеком, но уже до того старым, что даже чека на него не обращала внимания. Совершенно случайно о нем мне со смехом сказал Председатель . . . а я . . . нет, нет, не как чекист, а просто как . . . да, просто как человек навещал одинокого старика. Иногда и бутылку молока приносил. Одним словом — появлялся я у него, как *сочувствующий*. А потом . . . Знаете что произошло потом? Потом я с полной откровенностью признался, кто я такой. И вы думаете, Владимир Борисович, он удивился или испугался? Ничуть! Он даже обрадовался моей откровенности. Видите, Владимир Борисович, что иногда от загадочных щедрот своих подбрасывает жизнь? Уникум! Неповторимое, просто невозможное для повторения. И вместе с тем . . .

— Повторившееся? — спросил Кулибин.

— Не знаю . . . Не знаю . . . — Решков зябко шевельнул плечами. Потом как бы случайным, но очень пристальным взглядом скользнул по лицу Кулибина и опять сказал: — Не знаю . . .

— И всё же?

— «Всё же» — это очень сложный вопрос, Владимир Борисович. Над «все же» — я задумывался не один раз. И вот к какому нелепому выводу пришел. Мне кажется, что тот дряхлый интеллигент каким-то таинственным способом свои мысли внушил вам, Владимиру Борисовичу, и вы их восприняли . . . и уже неоднократно . . . да и вот только что излагали мне . . . создавая мой образ — предполагаемого героя какой-то не существующей книги . . .

— Мистика, Леонид Николаевич! — махнул рукой Кулибин.

— Не мистика! — воскликнул Решков. — Это что-то более сложное. От этой сложности вы хотите отмахнуться. А я так сделать не могу. Почему? Не понимаю. Себя не понимаю! Да, я себя не понимаю, а вот когда меня понимают . . . вы вот понимаете? или тот, другой — меня озноб охватывает. Вы мне близки, я вас . . . вы мне дороги, мне нужны ваши нефальшивые слова. В них — ваша душевная теплота. А мне — холодно, и я бессилен уйти от этого холода. У меня нет сил уйти . . . как у человека замерзающего в снегах, сознающего, что он замерзает, и примирившегося с этим . . . Вот *тот*, давний . . .

— Что? Что он?

— Он не говорил фальшивых слов. А я спорил. Почему? Я боялся, как бы меня не вытащили из снега, не обогрели и не заставили посмотреть на живую жизнь . . .

— Что он говорил?

— «Вы не догадываетесь о самом главном, — говорил мне тот, давний, и тут же поправлялся: — нет! Вы догадываетесь, но и себя и других пытаетесь обмануть мифом, что в коллективе, в массе, в животной стадности — смысл и цель жизни. Завершение цели — *новый* человек. Ваш человек. Вы всех сгоняете в коллективы, в коммуны, в комсомольские и пионерские дружины, отряды, бригады. И вам кажется . . Опять нет: ничего вам не кажется! Вы отлично знаете, что в ваших плотных шеренгах стоят обыкновенные, нормальные, сами по себе *одинокие* люди. И это вполне естественно, — говорил мне *тот*, — потому что человек нуждается в тесном общении с другими людьми только тогда, когда возникает необходимость . . . Нет, не необходимость обыдённая, бытовая. Другая необходимость, исключительная, историческая. Когда надо защищать свою землю от врага или когда нужно свергать своего деспота. В другое остальное время — человеку нужна отчужденность от коллектива. Без этого

нет человека, нет личности со своим собственным миром, наполненным своими собственными мыслями, раздумьями, своими горестями и печалями. Вам *личность* не нужна, — говорил мне *тот*. — Вам надобен кирпич. Миллионы кирпичей. Из миллионов человеческих *кирпичей* — масса, коллектив! То, что вам нужно. По аналогии с обычными кирпичами. Из таких обычных кирпичей — тюремная стена, или пирамида, или постамент для памятника Ленину. Кирпичи приведены в порядок, сцементированы, не развалятся и, что самое главное, сами по себе исчезнут кирпичи и появится *монолит*. Коллектив — то же самое, тот же радующий ваше сердце монолит: людей не видно, они исчезли, стали *массой*. Вы потираете руки! Вы восхищаетесь человеческим монолитом, массой, коллективизмом. Восхищаясь — вы лжете. Потому что вы не кретины, вы понимаете, что отдающий вам все свои голоса монолит лжет *монолитно*, точно так же, как лжет тень от памятника Ленину. Тень повторяет всё, вплоть до контуров никому не нужного архитектурного сооружения, но тень никогда не покажет отдельных кирпичей или каменных глыб, чьей-то волей превращенных в монолит» . . .

— А что дальше? — спросил у вдруг замолчавшего Решкова Кулибин.

— Дальше? Дальше и состоялся тот спор, о котором я вам вскользь уже сказал. Собственно — не спор. Спорить было не о чем. Была видимость спора. Представьте себе: сидят двое — Я и дряхлый интеллигент , ТОТ . . .

Я. Дворцы и соборы и обыкновенные дома, они, ведь, тоже собрания камней и кирпичей. Если следовать вашей мысли, то и дом, в котором мы находимся, нелепица. И Реймский собор, созданный чьей-то волей, никому не нужная затея . . .

ТОТ. Дом и собор — для человека. Дом, в одной из комнат которого мы сидим, и Реймский собор, в который идут люди, это не собрание камней, это воплощенная человеческая мысль, мысль не массы — мысль одиночки . . .

Я. Вы — одиночка . . . Не потому ли меня тянет к вам? Мне без конца хочется слушать ваши слова. Чужие, дикие мне слова. Потому что я раб коллектива, кирпич, втиснутый в монолит. Я, как личность, не существую, не могу существовать. Я ненавижу личность и . . . и не понимаю, какая сила тянет меня к вам, к личности, к врагу монолита . . .

ТОТ. Не думайте, пожалуйста, что я вас пробую переубедить. Оставайтесь таким, каков вы есть. Но я не могу не чувствовать, что вы сожалеете о печальной своей доле быть *таким*. Это сожаление вы много-много раз пробовали уби-

вать. А оно возрождалось. И вы опять убивали. И дальше будете убивать. Почему? Тут загадка. Против вашей воли — вы радуетесь, что вы — часть монолита, винт некой гигантской машины. Машина за всё в ответе. Винт — ни при чем! Вас устраивает подобная философия, оправдывающая всё, любую неправду? Виновата, видите ли, машина! И вы за нее цепляетесь, за нее прячетесь: с нее, дескать, спрос!

Я. Всё правильно. В одном лишь ошибка . . .

ТОТ. В чем?

Я. В пустяке: вы не видите, что сделанное мною — лежит на мне. И никакая машина, и никакая философия меня от этого не освободит. А самое страшное — невозможность освободиться от сознания, что я навсегда прирос к *монолиту*. Около вас, в вашем одиночестве — я чувствую себя оторвавшимся от него. Но вот я покидаю вас, ухожу, и со злобой смотрю на других одиночек. Я их ненавижу! За что? За их спрятанное, молчаливое ко мне презрение, которое я ощущаю так же реально, как вечно преследующую меня головную боль. От нее нельзя спастись . . . То есть можно . . . Наркотиками . . . Я уже пробовал и, представьте себе, неожиданно подумал, что есть более прямой и более честный способ. Но то ли я трус, то ли таится во мне надежда на некое чудо, от *способа* я отказался. А следовало бы, не откладывая на потом, всё подсчитать и за всё расплатиться . . .

ТОТ. Пуля? Петля на шею? Капля яду? Вздор! Не так надо расплачиваться . . .

Я. Как?

ТОТ. Вот тут я вам не советчик. Сами подумайте. А со стороны . . . Нет, нет, со стороны нельзя, со стороны мог бы указать большой праведник, радетель. Никола Мирликийский . . .

Я. Стойте! Послушайте! У меня . . . у меня помощник есть, по фамилии Суходолов. Вот я с ним, только значительно проще, толковал о том же самом, о чем мы сегодня с вами говорим. А Суходолов . . . Вот мне он и говорил как-то. О том говорил, что только один есть такой, кто помогает выбраться из темных переулков жизни. Это, говорил мне Суходолов, Никола Мирликийский. А я, знаете, с такой ухмылкой спрашиваю Суходолова, кто, дескать, тебе такую мыслишку подкинул? «Отец мой, — спокойно сказал Суходолов, — родной отец, мужик крестьянский. И еще отец мне объяснял, что человек обязан одной мыслью жить. Но только своей. Другая, чужая мысль, что ж: ею можно тешиться, таскать

до времени, как пиджак или шапку. А своя мысль — как своя кожа: с нею живешь до смерти» . . .

ТОТ. Справедливо сказал отец Суходолова. Удивительно хорошо сказал . . .

Я. А мне от этого, думаете, легче? Повернуться к Николе Мирликийскому я не могу. Своею мыслью не живу. Так что и не доведется мне выбраться из темных переулков жизни . . .

И вот тут, Владимир Борисович, я уже прерву ту, давнюю, но почти буквально воспроизведенную «беседу двоих». Потому что дальше — было просто . . .

«Что?» — переспросил старик. А я сунул руку в карман. Старику, понимаете, почудилось, что я сейчас вытащу пистолет и . . . А я держал в руках бумажник и медленно вынимал из нее старую, выцветшую фотографию, на которой с трудом угадывалось изображение полковника и девушки.

Я протянул фотографию и сказал:

«Полковника убил подлец» . . .

«Что за подлец?» — почему-то шёпотом спросил старик.

Я ничего не ответил. Спрятав фотографию в бумажник, я некоторое время пристально разглядывал лицо старика. Потом сказал:

«Ну, вот . . . Я ухожу» . . .

И далеко не сразу ушел. О чем-то еще хотелось говорить, но слова как-то не подбирались. Старик вроде бы догадался об этом, и даже начал меня просить, чтобы я приходил к нему. Он так и сказал:

«Кто знает, может быть вам обязательно нужно сидеть в моей комнатке. Ведь говорил же когда-то тот крестьянский отец о темных переулках жизни, из которых есть всё-таки выход. И еще правильно говорил крестьянский отец о собственной мысли, с которой только, как с собственной кожей, надо жить до смерти. Так что приходите» . . .

— И вы приходили?

— Да, — ответил Решков. — Несколько раз я приходил к нему, в его *одиночество* . . . чтоб хоть немножко и себя почувствовать *человеком*. А когда еще раз пришел, уже было поздно. По лестнице, на рваном одеяле, выносили умершего старика, а в его комнату — в *его* отдельную комнату с сияющей улыбкой втаскивал свой сундук какой-то милиционер. От милиционера несло самогонным перегаром.

Автор совершенно отчетливо представляет себе эту беседу Решкова и Кулибина.

Автор не берется разгадывать тайну их сложной и не совсем понятной дружбы, возникшей тогда, когда само время не располагало к сердечности и никто не знал, что принесет завтра. Всё шаталось. Почвы под ногами не было...

Не только Решков, но и Ленин и Дзержинский с «гвардией Октября», все главные чекисты мало верили в свою случайную победу.

Ленин, готовясь прощаться с Октябрем, намеревался поскандальней хлопнуть дверью: на Россию ему было «наплевать».

Дзержинский вообще не принимал всерьез «завоевания».

А что же Ленин? Ленин знал, что он — калиф на час. Будь он народным вождем, будь Октябрь — русским Октябрем, Ленин, по примеру земского старосты Кузьмы Минина и князя Пожарского, призвал бы русский народ к защите «русского Октября». Такой зов не прозвучал. Ленин обратился не к народу, а к чекистам. Домысел? Нет, таков факт.

Об этой ленинской мольбе к чекистам говорили между собою Решков и Кулибин. Эту беседу, по сохранившимся отрывочным заметкам, и восстановил Автор, сделав оговорку, что на этот раз он не может, как обычно, сослаться на совершенно точный источник то ли потому, что он, Автор, в свое время не записал, когда, где, при каких условиях прозвучала эта знаменательная истерика Ленина, то ли потому, что потерялась страничка с записью этой ленинской мольбы к чекистам. Автору ничего не оставалось делать, как довериться своей памяти. *

Память и восстанавливает прошлое.

Ленин привез с собой Надежду Крупскую. Одни говорили: «друг вождя», другие — «жена». Третьи, кто похитрее, называли Надежду Крупскую — «другом-женой Ильича». «Друг-жена», как известно, не порадовала Ленина детишками, и с этой стороны у него особых забот и тревог не было!

---

* Когда уже была закончена «Моль», в руки Автора попала газета «Известия» за 8 декабря 1968 года, с очерком «Лениниана: поиски и находки»... В этой «Лениниане» (цель которой окружить нимбом гениальную голову Ленина к столетию со дня рождения «гения и вождя мирового пролетариата») сказано: «1 апреля 1919 года председатель Совета обороны В. И. Ленин передал телефонограмму во Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию с предписанием призвать к бдительности всех работников чрезвычайных комиссий»... Затем, в «Лениниане», приведены слова Ленина, слова не к русскому народу, а к чрезвычайным комиссиям: «Мы должны еще 3—4 месяца продержаться, и только тогда на нашей стороне будет победа. Сейчас

У Дзержинского — по-иному. У него — жена и кучка наследников. Нет, свою семью он не привез, и детки Председателя чекистов не любовались мастерством карательных отрядов, батальонов, полков, дивизий имени Карла Маркса. Председатель своих чад и домочадцев оставил в Швейцарии, в покое и благоденствии. Расчет был трезвый: игра в революцию закончится, и тогда он, Дзержинский, без хлопот вернется в свою уютную, обжитую швейцарскую квартиру.

Но не только об этом толковали Решков и Кулибин. Было много и других бесед. Жестоких и лирических. В том числе и с попыткой пофилософствовать. Об одиночестве, например.

Вспомнив об этих беседах об *одиночестве*, Автор — далеко отодвинутый от тех, уже ушедших в историю дней — признается, что и он сам, под чужим небом, сам искал *одиночества*. И не по прихоти воображения. Такова — потребность. Умолчать об этом Автор не хочет, и потому расскажет — —

КАК РЕСТОРАН КЮБЛЕРА СТАЛ ПРИЮТОМ ОДИНОЧЕСТВА

Открытие было сделано не сразу, а после того, как в сторону были отложены справочники и планы... Автор убе-

---

наступает самое трудное, самое тяжелое время, и мы должны поступать как революционеры»...

Примечательны еще и такие признания:

Июнь 1919 года... Ленин отменяет приказ Реввоенсовета о снятии с поста Командующего Восточным фронтом бывшего царского полковника С. С. Каменева. Телеграмма Ленина: «Вновь назначен С. С. Каменев. Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной» («Новый мир», № 3, 1969 года, мемуары «Товарищ Главковерх»).

Июль 1919 года... Воззвание Ленина: «Товарищи! Наступил самый критический момент социалистической революции. Все силы... должны быть направлены, чтобы отразить нашествие Деникина»... Телеграмма Ленина с приказом «Особыми отрядами... обработать каждую волость... брать заложников» («Литературная газета», 9 июля 1969 года, обзор «Неделя Ленина — 50 лет назад»).

Октябрь 1919 года... «Ночь эта — четырнадцатого октября 1919 года — была особенно напряженной: Деникин угрожал Орлу, рвался к Москве. Ленин сказал иностранному коммунисту Себальду Рутгерсу, который уезжал за границу: — Если вы в пути услышите, что Тула взята, то вы можете сообщить нашим зарубежным товарищам, что мы, может быть, вынуждены будем перебраться на Урал» («Литературная газета», 23 апреля 1969 года, «Короткие истории» — автор Борис Галин).

дился, что красиво изданные карты и отлично напечатанные путеводители могут устроить лишь туриста, а не человека, ищущего *одиночества.*

Автор — не турист.

И он сам нашел то, что ему нужно. В громадном европейском городе он искал одиночества, и обнаружил его без посторонней помощи в ресторане Кюблера, в выгодном для хозяина деле, построенном по принципу «посетитель сам себя обслуживает».

Всегда битком набитый, ресторан Кюблера шумел разноязычными голосами, расцвечивался лицами — молодыми и старыми, белыми и черными, смуглыми и бронзовыми.

Здесь — короткие юбки и длинные, как саван, индусские сари . . . Трубки и сигары, пахитоски и обычные цыгарки — всё уживалось рядом.

И разные цены . . .

За этим столом — английский бифштекс, за тем, слева, тарелки горохового супа стоимостью пятнадцать копеек . . . Там пьют вино, не заботясь о его стоимости, а невдалеке стоит старик, дрожащими пальцами отсчитывающий, возможно, последние пфенниги за «маленькое пиво».

Войдя в ресторан, Автор терпеливо ждал, когда освободится его обычное в уголке место, слева у окна.

Жизнь приучила его не нервничать.

Дождавшись, он садился на стул, потом оставлял на столе газету (знак: «занято»), шел в очередь, находу приготовляя пфенниги, получал «маленькое пиво» и возвращался к привычному окну. И сразу чувствовал себя попавшим в удивительное одиночество среди кругом звенящих голосов, вскриков и смеха.

Автор сидел долго. Иногда он поднимал голову, и тогда видел себя в зеркале — седым, немножко грустным, с глазами, к которым сбегались печальные морщины.

В этом — во всю стену — зеркале повторялась жизнь ресторана.

В зеркале двигался мавр. Он был бы совсем Отелло, если бы не поднос в руках, на котором (ведь самообслуживание!) тарелки с куском мяса, с горкой риса и еще чем-то.

Навстречу мавру — в зеркале — торопилась настоящая древнегреческая гетера Аспазия, которая, неизвестно почему, была в такой короткой юбке, что казалась без юбки. Аспазию обнимал гамлер, забывший о том, что на свете существует мыло и есть еще вода.

В зеркале — лишь отражения. Они возникают и пропадают. Остается стекло. Из стекла Отелло и Аспазия ушли навсегда. На новую встречу с ними — пусть при помощи зеркала — Автор не надеется. Без тени сожаления.

Ведь не для них он нашел ресторан Кюблера. Для самого себя он сделал величайшее открытие, что именно тут подлинное одиночество, в котором происходит таинственное соприкосновение с чужой жизнью.

Это не выдумка и не самообольщение. Это проверено опытом тех дней, когда не совсем понятная Автору сила толкала его в *одиночество.*

Об этом можно рассказывать и рассказывать . . . Хотя бы о том, как однажды он сидел в своем заветном уголке ресторана Кюблера за бокалом пива и слушал откуда-то сверху льющуюся музыку. В ней было что-то знакомое, быть может даже Мусоргского.

Автору показалось, что музыка тревожит его, заставляет вспоминать о чем-то своем, родном и очень давнем.

«Об этом я думаю дома, за своим письменным столом, — как бы вступая в спор с кем-то, говорил себе Автор. — Сюда я пришел для того, чтобы следить за минутами и часами чьей-то жизни».

За соседним столиком присел старик. Он давно уже рентнер и совсем одинок. Аккуратно пристроив свою, явно требующую замены, палку, он вешает сильно поношенное, но очень чистое пальто на спинку стула, и идет, и берет себе чашку кофе.

Возвращаясь, рентнер на ходу склоняется к чашке и вдыхает аромат кофе. А когда садится за столик, опять и глубоко втягивает в себя запах кофе, который, вероятно, будит какие-то мысли и воспоминания. Может быть об умершей Роз-Мари или Елизабет. Или о сыне, изредка присылающем письма и немножко долларов из Америки. Или о дочери, от которой, к несчастью, он так и не дождался весточки. О дочери он ничего не знает, и она, конечно, о нем тоже ничего не знает.

Прошлое — только в воспоминаниях. Изредка — во сне. Реальность? Что ж, вот эта чашка кофе . . .

Еще раз или два поймав ноздрями аромат чилийского зерна, старик оглядывается по сторонам. Он не хочет, чтоб другие заметили, как будет вынут из кармана маленький пакетик, с которым он приходит сюда по воскресеньям. Сегодня — тоже воскресенье, и потому он пьет кофе среди ожив-

ленных, радостных и, подчас, прямо-таки бессмысленно хохочущих людей.

Чужое оживление не коробит рентнера. Конечно, у него мало радости. А если говорить откровенно, радости вообще нет. Сын, хороший и бравый малый, где-то там, далеко, за океаном. Он зовет к себе отца. Приезжай, пишет, живи у меня; у меня, пишет, уже маленький Франк имеется. Но старик — не поедет. Зачем? Его Роз-Мари или Елизабет лежит в земле Восточного кладбища. А сын — далеко. Да, есть еще и дочь. Но где она? Кто знает! А Роз-Мари или Елизабет так дивно умела готовить кофе и печь кексы. Теперь — ничего . . .

Старик-рентнер опять посмотрел по сторонам и осторожно развернул пакетик. Да, вчера была суббота, и вчера он купил это сухое печенье, а сегодня, в воскресенье, станет жевать это печенье, запивая его маленькими глотками кофе. Из чужой чашки. А ведь когда-то . . .

Рентнер сидит за этой чашкой час. А может быть и дольше. Никто на него не посмотрит косо. Потому что здесь — ресторан господина Кюблера, ресторан — в котором самообслуживание. На разную цену. Для самых разных людей.

А что тут появлялись разные люди, Автор убедился сам. Здесь ему довелось сталкиваться с очень интересными . . . даже с одним таким, что отвернулся от своих миллионов. Есть же такие чудаки! Автору даже кажется, что не будь их — мир стал бы беднее и серее! И когда Автор за соседним столиком привык встречать этого сравнительно молодого, элегантно одетого господина, всегда сидевшего спиной к залу и сквозь сильные стекла очков глядевшего в бокал с вином — тогда Автор решил, что появление этого господина не случайность.

Однажды господин в очках пришел со своим вином, но места не было. Оглянувшись по сторонам, он нерешительно подошел к Автору и спросил:

— Я вам не помешаю? Можно?

— Конечно, пожалуйста, — с тревожным предчувствием чего-то значительного, ответил Автор. — Прошу вас.

Некоторое время длилось молчание. Потом пришедший поднял свои, увеличенные стеклами очков, глаза, и сказал:

— Я вас тут встречаю. Довольно часто. Тут, ведь, правда, симпатично и . . . и тут . . . тут, понимаете, как будто бы тебя охватывает состояние . . .

— Состояние одиночества? — тихо произнес Автор.

— Да, да. Вы это определили очень ... очень правильно. Верно. Состояние одиночества. И я рад, что встретил человека, чувствующего ... даже, может быть, ищущего *одиночества* не в горах, не в заброшенной деревушке, а вот здесь, среди этих столиков, — он несколько театрально развел руками, и склонившись над вином, начал говорить о себе.

Этот рассказ был так неожидан и откровенен, что Автор вначале прислушивался с некоторым недоверием. В самом деле: странно, ведь, узнать, что у человека громадное состояние, великолепная вилла, хорошие, по-настоящему преданные слуги, возможность путешествовать, встречаться с друзьями и ... и вместо этого, иногда, уезжать, чтобы попасть в один из уголков ресторана Кюблера и провести несколько часов в одиночестве.

— А семья? — спросил Автор и посмотрел на красивое в своей задумчивости лицо рассказчика.

— У меня семьи нет. У меня никого нет. Никого, — повторил он. — Была мать. Старушка мать. Вы меня поймете? Она для меня была всё. И вот ее уж нет. И я ... Я не знаю, что мне делать? Вокруг меня пустота. Меня ничто не поддерживает. И никогда и ничто не поддержит. Теперь я как дом, из-под которого исчез фундамент. Дом должен рухнуть.

Автор не будет воспроизводить в подробностях страшную исповедь человека, как будто бы уже определившего свою судьбу. Но Автор не может не воспроизвести таких слов господина в очках:

— Я не понимаю нынешних писателей. То есть, понимаю, но не принимаю создаваемое ими. Они — чужие мне ... В настоящую душу настоящего человека они, вроде бы, не хотят или боятся заглянуть. Это умели делать когда-то. Без боязни. А сегодня? Возможно, я предъявляю чрезмерные требования ... Возможно ... Но я хотел бы встретить роман или повесть, в которых была бы раскрыта трагедия взрослого, думающего человека, утратившего старушку мать ... Ее уже нет, и ее седеющий сын, как тот дом без фундамента, обязан рухнуть ... Вы скажете, что это несколько противоестественно? Согласен. Но я — тот дом без фундамента ...

Он взглянул на часы и с сожалением сказал:

— Мне надо уезжать ... Спасибо ...

— За что? — в недоумении спросил Автор.

— Должно быть за то, что вы первый, с кем я *так* говорил. Я даже надеюсь, что мы с вами встретимся. Как знакомые ...

И он протянул Автору свою визитную карточку. На ней — имя, фамилия, город, название улицы и номер дома.

Автору довелось еще не раз встречаться с господином в очках, о котором он уже многое знал и уж ни в чем не сомневался.

Автор нарочито не называет фамилию этого странного господина. Почему? Так, не нужно. Не к чему . . .

Но Автор, как только забивался в свой угол ресторана Кюблера, часто вспоминал о своих встречах с господином в очках . . . Вспоминая, Автор вынимал тщательно хранимую вырезку из газеты «Абендцейтунг» за 26 ноября 1967 года, в которой — на первой странице — под крупным заголовком сообщалось о том, что «самоубийца пожертвовал свои миллионы слепым» . . .

Самоубийца — это тот самый господин в очках, который о самом себе в ресторане Кюблера говорил: «Вокруг меня пустота. Меня ничто не поддерживает. И никогда не поддержит. Была старушка мать. Ее нет. Я как дом, из-под которого некая сила вырвала фундамент. Дом должен рухнуть».

Вспоминая эти слова, Автор перечитывал заметку в «Абендцейтунге». Газетные строчки говорили о том, как миллионер сидел вечером в гостях у своих друзей, как неожиданно поднялся и еще более неожиданно сказал: «Прощайте. Я ухожу. Вам хорошо» . . . Все с удивлением посмотрели на него, и никто, конечно, не предполагал, что он — через полчаса попав в свой великолепный особняк — не снимая смокинга ляжет в постель, с которой его уже поднимут мертвым . . .

Так человек в очках оказался в своей окончательной пустыне, и Автор никогда уже не встретит его здесь, в этом ресторане Кюблера, где продолжает звучать музыкальная мелодия, тревожно-таинственная, как сама жизнь.

Воспоминания об этом человеке Автор вписал в книгу не случайно. Они ему нужны. Хотя бы потому, что в том прошлом, отодвинутом на многие десятилетия, кой-кто уходил, умел уйти в свое собственное одиночество.

Автор не хочет быть голословным, и потому будет говорить — —

О СУДЬБЕ ГЕНЕРАЛА НОВОВОЙТОВА

— Есть такие, что могут жить среди людей и не замечать их, — задумчиво сказал Решков, и, помолчав, добавил: — Есть такие, Владимир Борисович.

— Таких вы знали, Леонид Николаевич? — спросил Кулибин.

— Да. Одного. И с завистью разглядывал, удивляясь, как это может человек создать вокруг себя и только для себя пустыню.

— Это кто? Схимник какой-то? Или отшельник, отрекшийся от мира?

— Нет . . . Так . . . Просто . . . Такой Нововойтов, ну . . .

— Генерал Нововойтов? Позвольте! Я что-то слышал. Такой случайно сохранившийся, немножко помешанный барин, который . . .

— Да, да. Он-то и был одним из тех, не замечавших людей. А почему, тут уж надо бы говорить словами сказок и легенд. В самом деле — вот 1918 год. Нововойтов — барин, однорукий генерал — в подвалах чека. Из подвалов — никто не выходит. А он — вышел. Сказка? Да, сказка о каких-то письмах, найденных у Нововойтова. Письмами заинтересовался один чекист, потом — другой, затем письма попали куда-то очень высоко, и с *высот* приказ: отпустить генерала, не трогать и, конечно, не расстреливать. Но что с ним делать, про то в приказе забыли написать. И когда вывели Нововойтова из подвала, и объявили ему о «воле», он, видимо, ничего не понял. Пустыми, отсутствующими глазами он смотрел и ничего не видел. Таким, тихо помешанным, со всунутым в карман «освобождением», очутился Нововойтов на улицах Москвы. Иди, дескать, куда хочешь. И он пошел. Понимаете, Владимир Борисович, он пошел, этот, теперь уже помешанный генерал, и рядом с ним, день ото дня разрастаясь, двигалась сказка. Где его только не встречали? И всюду перед ним все почтительно расступались. Даже агенты МУРа, московского уголовного розыска, и те в смущении отодвигались в сторону. Они привыкли к нему, знали, что его «трогать нельзя». Иногда, правда, в суматохе хватали и Нововойтова, но разглядев — отводили в сторону и, слегка подтолкнув, давали «волю». До того дошло, что перед этим помешанным барином, в шутку, понятно, во фронт становились милиционеры. Шутка, конечно, шуткой, а всё ж таки казалось, что и милиционеры радовались, что на них из-под седых бровей смотрит прошлое. Напомню, Владимир Борисович, что и тогда Москва состояла не сплошь из чекистов, милиционеров и отрядов по облавам, имеющих право загонять людей, как скот, во дворы, и хватать «подозрительных», причем враждебность к власти определялась

по точно разработанной инструкции: «Морда интеллигентная — заметай!» Ну, а те «интеллигентные морды», кому выпало счастье остаться не «заметенными», те в Нововойтове видели чудом сохранившийся остаток старины с могильными холмами, под которыми были похоронены их отцы, деды и прадеды. Этот памятник былому, этот однорукий генерал в потрепанной шинели кружил в районе Каланчевской площади. Его встречали то там, то здесь, во дворе какого-либо большого дома или около полуразрушенных пристроек брошенной фабрики Сиу и Компания. Потом он пропал, и кой-кто, заканчивая сказку о помешанном генерале, вздыхал и крестился: «Вечная ему память».

А Нововойтов был жив. Он отодвигался от людей, спасался от чужих глаз и уходя в какое-то свое, болезненное одиночество, очутился, наконец, вне Москвы, прибился к древнему подмосковному городищу, может быть не соображая, что это Кунцево. Здесь, в месте, вошедшем в русскую историю под названием «Сетунский стан», он как бы прижился к пустому берегу Москвы-реки, даже не к берегу, а к одному камню на нем. К этому камню, обычно, он приходил рано, чуть ли не на рассвете, и стоял, наблюдая за поднимающимся солнцем. Он не обращал внимания, что ветер, казалось, старается оторвать пустой левый рукав от изношенной и очень грязной шинели. Он следил за солнцем. Когда оно взбиралось высоко, он усаживался на камень, смотрел прямо перед собой и только на воду. Где-то часам к десяти-одиннадцати сюда, по обрыву, спускались мальчишки. Озорной и дерзкий народишка, мальчишки пристраивались около Нововойтова и тоже, с явно не детской серьезностью, устремляли задумчивые взоры туда, куда смотрел чудной старик. Потом кто-то из мальчишек осторожно подкрадывался к однорукому барину и совал в карман его шинели ни во что не завернутый кусок черствого хлеба. К хлебу иногда прибавлялась луковица. Когда же застывшие глаза Нововойтова поворачивались к мальчишке, тот быстро-быстро кланялся и убегал к своим компаньонам, тоже начинавшим издали кивать головёнками. Затем мальчишки исчезали по своим неотложным делам, а старик, поднявшись с камня, щурился, словно стараясь припомнить что-то очень нужное. Это ему, видимо, не удавалось, и он опять опускался на камень, всем чужой и обо всем забывший. Во всяком случае те, кто пробовал заговорить с ним, скоро убеждались, что старик видит и знает лишь сегодняшнее. Что было когда-то, на прошлой неделе, то для него уже не существовало... И

вот надо же было — и совершенно случайно — одному из сотрудников МУРа заглянуть в архив и там обнаружить пустяковый донос на старушку Елену Петровну Нововойтову, на личность «классово чуждую». Донос заставил задуматься: а не имеет ли к ней отношения тот странный помешанный однорукий генерал, обычно сидящий на камне у Москвы-реки? Весьма правдоподобное предположение завершилось тем, что однажды утром два милиционера и оперативный уполномоченный отправились на розыски и без всякого труда обнаружили старика. Сидел он, как всегда, на камне, сгорбившись, опустив голову на правую руку. Левый его, пустой рукав трепал ветер. Оперативный уполномоченный подошел к камню и спросил:

— Вы — гражданин Нововойтов?

Старик ответил не сразу. Подняв усталые глаза, он некоторое время шевелил губами и только потом утвердительно кивнул головой.

— Вам известна Елена Петровна Нововойтова?

Старик прищурился и принялся тереть лоб своей единственной рукой.

— Елена Петровна Нововойтова... Елена... Петровна... Нововойтова, — раздельно и громко повторял уполномоченный, наблюдая, как в глазах тихо помешанного зашевелилась живая мысль.

— Мама, — вдруг прошептал старик.

Оперативный уполномоченный помог ему подняться с камня. Затем его усадили в старенький форд.

— Ну и что? — задали вопрос уполномоченному в МУРе.

— Это его мать...

Форд двинулся по адресу доноса, и минут через сорок остановился у деревянного домика. Уполномоченный первым выскочил из автомобиля. Милиционеры, со стариком, подошли к калитке уже тогда, когда уполномоченный стучал в дверь. На стук выбежала молодая разбитная и очень краснощекая для Москвы тех лет баба.

— Чего грохочешь? — накинулась она на уполномоченного. — Вселены сюда по ордеру.

— А где гражданка Елена Петровна Нововойтова?

— Тут. Да только какая она гражданка? Буржуйка. Генеральская. И к тому живучая подлюка: до девяноста лет дотянула и не подыхает!

— Замолчи, дура! — крикнул уполномоченный.

— Чего молчать! — заверещала баба. — Я что: лишенка? Я бы такую буржуйку своими руками удавила. Вот так: хрясь, и всё!

Вряд ли смысл этого разговора дошел до сознания старика. Даже когда его с рыданием обнимала Елена Петровна Нововойтова, он оставался совершенно равнодушным. И лишь на какой-то миг, видимо, к нему вернулась память. Он прикрыл глаза рукой и... опустил ее, глядя на слезы матери с тупым недоумением.

Генерала Нововойтова всё же оставили в маленьком деревянном домике. Прожил он там недолго. В одно утро он исчез... Вы спросите, Владимир Борисович, куда? В свое одиночество, на берег Москвы-реки. Он продолжал там сидеть на камне, и смотреть на воду с зари до зари. Никому он не мешал и никому он не был нужен. Только мальчишки обрадовались и по-прежнему навещали его. А потом... Да, как-то однорукий барин, не дойдя до камня, упал и не поднялся. Мальчишки кинулись за помощью. Появилась милиция, старика взяли, доставили в МУР, а оттуда — переправили в какой-то старческий дом, под Киевом. А затем — перевезли в такой же приют, на Дону, где-то около Батайска.

— Дальше что? — спросил Кулибин.

— Приют был дальше. Приют! — почти закричал Решков. — И в этот приют — кого? Нет, я не против приютов. Пусть там доживают свои дни... Только не Нововойтов! Приют не для него. Для него... Тут что-то я путаю, Владимир Борисович, не знаю, но нельзя... он, этот однорукий старик, он особенный, иной, другой. Вы можете усмехнуться: особенность его в том, что он помешанный и утративший память о прошлом, больной. Согласен: Нововойтов больной. Но он болел одиночеством, стремился к нему, жил в нем, медленно умирая. Сначала на берегу Москвы-реки, потом — Днепра, а еще потом — Дона. И когда однажды утром донские рыбаки наткнулись на старика Нововойтова — они испугались: до того жутко набегала легкая волна на лежащие на песке худые, посиневшие, уже мертвые пальцы единственной правой руки, чтобы потом — отхлынуть назад, и после тихого раздумья вернуться к бышему барину, генералу, левая рука которого была оторвана где-то в Мазурских болотах.

Автор убежден, что эта беседа Решкова с Кулибиным является как бы прологом к тому, что — и скоро — предопределит судьбу Суходолова, а потом приведет к трагедии

Решкова. Это убеждение и заставляет Автора показать, как — —

ПРОФЕССОР ВОСКРЕСЕНСКИЙ ВОШЕЛ В ДЕЙСТВО

Может быть потому, что Решков боялся заглядывать в свою душу, он прятался в тень чужих судеб и находил болезненно-щемящее наслаждение от прикосновений к чьей-то просыпающейся совести.

Чужая совесть не давала ему покоя. Сам, так ему казалось, свободный от смущений, он со сладострастием следил за терзаниями других, всячески разжигая их внешне пустяковыми разговорами, причем сам себе отдавал отчет, что всё это — похоже на примитивную провокацию, в результате которой предстоит чье-то крушение, гибель, катастрофа.

Для чего ему это было нужно? Не отвечая на этот вопрос, Автор всё же должен заметить, что есть люди, которых радует чужая беда. К числу их, видимо, принадлежал и Решков, в последнее время ставший пристально наблюдать за своим помощником Суходоловым.

В том что Суходолов, совершенно честно примкнувший к революции и уверовавший в нее, идейно шатается, Решков не сомневался. Он совершенно отчетливо видел, что Суходолов лишь по инерции продолжает цепляться за остатки своей веры, как делает это гибнущий человек, инстинктивно пытающийся хоть на мгновение продлить свою жизнь.

Простой бесхитростный Суходолов со своим смятением тянулся к Решкову, к умному человеку, к бывшему студенту, у которого много красивых слов и уменье отвечать на серьезные вопросы.

Суходолов не видел настоящего Решкова, он признавал его близким себе и нужным, готовым не только помочь в трудную минуту, но и указать правильный путь. В этом он очень нуждался. Чем дальше шло «углубление революции», чем беспощаднее, по-якобински, действовали чекисты, выполняя приказы Ленина, тем чаще и чаще задумывался Суходолов о себе, о своем месте в жизни, о будущем. Раньше для него всё было как-то просто. Он мог спокойно сидеть перед Решковым и говорить:«Устроим порядки в России, потом у соседей, у чехов, к примеру, потом у тех, кто подальше, у французов и французских соседей. До порядка во всем мире. И чтоб всюду были органы. Чека чтоб обязательно была. Такова моя теория».

А вот теперь такое он уже сказать не может. А почему, и сам не знает. Нету теории, и вроде бы на открытом месте стоит он и не понимает, в какую сторону двигаться.

— Службу я исполняю, — признавался Суходолов, и вроде за милостыней протягивал Решкову руку. — А вот для чего вся эта служба чекистская? Правды я в ней не вижу, Леонид Николаевич. Прежде правда выглядывала. Ну, там забота о светлом счастье для всех. К той правде потянуло и меня, крестьянского сына. И других. А чем шире мы зашагали к правде, правда и потонула в человеческой крови. Вот это и страшно, Леонид Николаевич. И мне, понимаете, иногда кажется... ну, вот там товарищ Ленин, и другие вожди, ну, те, кого товарищ Ленин хвалит, что они профессиональные революционеры, строители нового мира, что-то не честно делают, зря уничтожают людей для ради какого-то грядущего светлого будущего. Думается мне, Леонид Николаевич, что революция — это не профессия, это дело душевное или сердечное, а главное — правильное. А когда всё это объявляют профессией — тут не то! Тут, Леонид Николаевич, профессионалы всё делают для себя, для себя всего добиваются. Это я вижу кругом, Леонид Николаевич: профессионалам ладно живется, а вот людям... Выходит даже так, что вокруг *профессиональный* обман. Только зачем — не понимаю. Чувствую обман, подготовленный теми, кто сидел где-то там по заграницам, ожидая своего часа, момента, что ли, чтоб обман принести сюда, превратить его в Октябрьскую революцию и начать свободную и счастливую жизнь для профессионалов при помощи чека́ и с разговорами о «новом мире». А кому он, такой «новый мир» нужен? Можете вы ответить, Леонид Николаевич, кому он нужен?

Решков из-под опущенных век со злорадством разглядывал запутавшегося в противоречиях Суходолова.

— Ты спрашиваешь, Семен Семенович, и об обмане, и о профессиональных революционерах, и о новом мире. Ты пробуешь во всём этом разобраться? К тебе скоро попадет дело одного такого профессора... Кэх его? Ах, да: Воскресенский! Профессор богословия. Он уже в подвале. А из подвала куда переселяют — ты сам знаешь! А мне, прямо скажу, Семен Семенович, мне жаль этого чудака. Интересный он и откровенный человек. И без страха. Вчера его доставили ко мне, в мой кабинет. И знаешь почему? По приказу Председателя. «Советую посмотреть на этого Воскресенского, — так сказал мне Председатель, — и тогда вы поймете, что такое настоящий интеллигент-контрреволюцио-

нер» . . . Этот Воскресенский сидел передо мною. Он не мог не знать, что жить ему, самое большее, несколько дней. Пока не придет очередь. А он на эту «очередь» смотрел равнодушно. «Агитацией занимаетесь? — спросил я его. — Подогреваете контрреволюцию?» Он молча и отрицательно кивнул головой. Спокойно, словно не в чека он, а где-то в академии, среди ученых . . . «Значит, вы против революции, против ее целей, против путей, какими идут творцы светлого будущего?» — задал я ему вопрос. А он, этот Воскресенский, понимаешь, Семен Семенович, как-то с сожалением посмотрел на меня и говорит: «Я видел вашу революцию, видел и ее творцов, которые всё разрушают, всё ниспровергают, опрокидывают. Я против такой революции и против таких творцов. Против . . . Всё новое — создается на каком-то фундаменте, на какой-то основе. Таков закон. Будущее строится на плечах прошлого, а вы будущее возводите на костях прошлого. Потому что вы боитесь прошлого. Оно вам мешает. Вот вы и стараетесь убить его. На трупе прошлого, так вы утверждаете, возникнет новый мир. Вы верите этому? Ваше дело. Я — не верю . . .»

— А почему он не верит? — спросил Суходолов.

— Сумасшедший, — презрительно бросил Решков, рассматривая своего помощника. — Ему, видишь ли, кажется, что мы — творцы революции — думаем только о себе, мечтаем о том дне, когда мы станем командовать «великой армией труда» и никто не рискнет ослушаться нашей команды. Он, этот Воскресенский, так прямо и заявил, что творцы революции, ленинцы, это маленькие, потенциальные Тамерланы и Робеспьеры, вообразившие, что их «новый мир» появится сразу, как только старому снесут голову. Как снесут? Не всё ли равно. Тамерлан действовал мечом. Робеспьер — гильотиной. Конечно, добавил этот богослов, двадцатый век шагнул вперед, и сотворившие Октябрь сообразили, что меч и гильотина отжили свое и уже не годятся для «мы свой, мы новый мир построим» и пустили в ход Дзержинского, Лубянку и . . .

Решков замолчал. Наступившая тишина не показалась Суходолову ни неожиданной, ни странной. Он просто не мог представить себе, что его тоску о правде, желание разобраться в сложностях жизни, его доверчивость кто-то может превратить в тяжелую игру, в садистский эксперимент. Именно этим и занимался Решков, искоса поглядывая на плотно сжатые губы Суходолова.

— Ты что-то хочешь спросить?

Суходолов вздрогнул, и словно опасаясь, что кто-то посторонний может подслушать его слова, приглушенно зашептал:

— Вот вы, Леонид Николаевич, говорили о профессоре Воскресенском... о потенциальных Робеспьерах. А может быть Воскресенский прав? Тогда что? А потом... разве не об этом же самом писал Максим Горький в 1917 году в своей газете «Новая жизнь». Ведь он кричал, что Ленин и ленинцы зальют русскую землю кровью русских людей. Выходит, что настоящую правду видел Горький, как теперь видит профессор Воскресенский. И мне страшно, Леонид Николаевич! Значит, надо отказаться от всего, и от того, что Ленин и ленинцы где-то по заграницам разрабатывали, ну, там планы счастья народного... а теперь с трибун говорят, что эти планы «вынашивались» в умах идеалистов и мечтателей, чтобы...

— Подожди, — грубо прервал Суходолова Решков. — Понимаешь, как всё это объяснял профессор? Это не мечтатели, говорил он, это озлобленные реалисты, сознающие, что они — никто. Они оторвались от крестьян и дворян, от рабочих и интеллигентов — и стали *ничейными*. Внешне, говорил этот профессор, они напоминают древнерусских изгоев, с той только разницей, что изгои страдали и мучились тоской по утраченной родной земле, по разрушенным связям со своим сословием, по оставленным могилам предков. Творцы революции, оказавшись в эмиграции, не страдали и не мучились. Они волновались предвкушением будущего. Это будущее, так говорил Воскресенский, творцы революции рисовали по своим прежним наблюдениям, а еще больше по литературе, ярко представляя себе тех, кто некогда жил во дворцах и богатых усадьбах, в почете, среди интересных людей. В творцах революции кипело злобное чувство зависти к перевернутым страницам истории. Не разбираясь в природе этого сложного явления, так говорил Воскресенский, строители «нового мира» свою голую, зоологическую зависть прикрывали проповедью марксизма. Проповедуя марксизм для народа, они составляли меню тех обедов и ужинов, которые они сами будут есть, когда прежний мир будет похоронен под его собственными развалинами. Размахивая знаменами революции, творцы ее во сне видели замки, в которых они станут жить. С внутренним трепетом, говорил Воскресенский, они заглядывали в те дни, когда в их честь, в честь ленинцев, будут кричать ура, когда вокруг них заснуют лакеи, их собственные лакеи. Строители ново-

го мира упивались предвкушением всего этого и ради этого торопились разрушать и убивать. Так действуют враги, ворвавшиеся в чужую страну . . .

Решков откинулся на спинку дивана и будто бы желая прекратить надоевший разговор, бросил:

— Теперь видишь, Семен Семенович, до чего хитро перепевает этот профессор статьи Максима Горького из подлой газеты «Новая жизнь»? Имей это в виду. Через твои-то руки пройдет этот Воскресенский . . .

— Как через мои?

— Обыкновенно, — зевнув, ответил Решков. — В порядке живой очереди тебе придется *оформлять*. Так что не теряйсь, не удивляйсь его равнодушию. Хотя меня самого, я тебе признаюсь, поразила какая-то его душевность, что ли, или душевное спокойствие . . . словно у него, понимаешь, какой-то заговор против чекистской пули. Такая в нем, понимаешь, душевность; говорит он до того ровно и тихо, что даже рука не поднималась сунуть ему в морду. Сложный, одним словом, враг, хитрый, да и зубы заговаривать умеет. Вот он и мне, понимаешь, пытался доказать, что творцы революции когда-то свое увлечение мемуарами или историческими романами объясняли стремлением «познать прошлое, чтобы научиться созидать будущее». А на самом деле, говорил Воскресенский, вот теперь, когда «будущее» приблизилось, из литературы память «строителей нового мира» сохранила лишь то, что касается роскоши придворной жизни или легкомысленных похождений Людовиков и Наполеонов. Ну, вот пришел Октябрь, говорил этот Воскресенский, заграничные профессиональные революционеры приехали, стали обрастать местными ленинцами с маленькими, завистливыми сердцами, но с чудовищным стремлением к власти только для своего блага, только для себя. И они получили эту власть, и тут же сообразили, что для полноты своего счастья — нужна власть абсолютная. Можно ли добиться такой власти? Можно, ответили ленинцы, надо только убрать с пути к ней древнего Адама с его древне-прекрасной Евой. С ними надо расправиться. От Адама и Евы всё началось. Они виноваты в том, что на пути к абсолютной власти высятся какие-то вековечные законы, за которые держатся потомки Адама и Евы. А как разрушить эти законы? Стоит лишь убить мысль об Адаме и Еве. Убить во что бы то ни стало. И тогда исчезнут Синайский скрижали . . . Это так всё говорил Воскресенский, очень ловко пробуя обвинить не только Ленина, но и всех нас, — и меня, и тебя, Семен

Семенович, — в том, что мы отрицаем некое божественное начало в человеке лишь для того, чтобы заставить человека не заглядывать в свою душу и безропотно согласиться: «Да, я — далекий потомок обезьяны, я отказываюсь от божества, я хороню сказку об Адаме и Еве, отрицаю родство с ними» . . . Видишь,— спросил Решков Суходолова, — куда гнёт мракобес, как он старается доказать, что мы, ленинцы, превращаем людей в скотину? Со скотиной легче управиться. Ну, да, он прямо так не говорил, он, понимаешь, отделывался довольно занятным толкованием эволюции, ниспровергая при этом и Дарвина, и Маркса, и Ленина . . . не хочу и вспоминать обо всей гнусности . . .

И Решков сделал вид, что ему действительно осточертел этот Воскресенский. Он даже начал зевать, жмуриться, тереть кулаками глаза, оставляя для них какую-то щёлочку для наблюдения за Суходоловым. Тот сидел в глубокой задумчивости, словно решал сложную задачу. Задача не была решена, и Суходолов, подняв голову, спросил:

— Но разве можно отвергать эволюцию, ну того . . . как его? Дарвина.

Решков опять прищурился, как это делает человек, желающий приглядеться к чему-то очень внимательно, поймать чужое малейшее движение. Перед ним был растерянный, к чему-то тянущийся и чего-то ждущий Суходолов. Может быть даже толчка, самого легкого, после которого остается только падение.

— Понимаешь ли, Семен Семенович, — вяло начал Решков, — эволюция . . . общепризнанные законы. А если поковыряться в этих законах, понимаешь, всё не так просто . . . чем и пользуются такие, ну, как этот Воскресенский. Вот он и передо мною такую соблазнительную речь повел. Вы, говорил он мне, считаете эволюцию человека с обезьяны. Для вас всё просто. А я вот эту простоту ставлю под сомнение. Вы утверждаете: не было Адама и Евы . . . А я, так он говорил мне, допускаю мысль, что сама по себе обезьяна — всего-навсего жалкое подобие того, что некогда было прекрасным Адамом и удивительной Евой. В самом деле, почему не предположить, что обезьяна всего лишь, выражаясь любезным вам языком, *продукт* духовного обнищания и физического вырождения некогда существовавшего человека, которого заменила обезьяна. Но перед обезьяной, спокойно и без волнения рассуждал Воскресенский, в трудно представимом прошлом были Адам и Ева. Были. Об этом надо говорить

торжественными словами мифологии или удивительных детских сказок.

— А что еще? — спросил Суходолов.

— Еще, — тут губы Решкова криво дернулись, и нельзя было догадаться, смеется ли он над пустыми словами обреченного Воскресенского или издевается над своим слушателем. — Еще . . . Ну, этот профессор ударился в лирику, вспомнил свою молодость, когда он студентом любил бродить по земле русской. Вот тогда и довелось, говорил этот Воскресенский, встретиться ему с другим студентом. Тоже бродившим. Как называлась та речка, говорил профессор, на берегу которой они сидели, уже не помню. Ну, конечно, был вечер, костер, задушевные беседы. О многом. И о «Капитале» с «Манифестом». И даже, говорил Воскресенский, шляпу сняли перед Дарвиным. И об обезьяне толковали подробно. Потому — модная тогда была тема: эволюция! И тут мой случайный собеседник, продолжал профессор, и заявляет, что, дескать, всё это очень интересно, но необходимы некоторые поправки, хотя бы потому, что обезьяна — это обнищавшие Адам и Ева. То есть не сами Адам и Ева, а их потомки . . . «Как так?» — это спросил своего знакомого Воскресенский, а тот ему и отвечает: «Обыкновенно. Там, вдали, была Ева со своим Адамом. Кто их создал, как происходил акт творения — дело третьестепенное. Но они были. Были великолепные в своей завершенности, были — повторяющиеся в своих детях, внуках, правнуках. Как долго это продолжалось? Кто знает? Но после, много позже, — говорил тот студент, — что-то нарушилось, стало забываться, и вот уже кто-то начал пригибаться к земле, вытягивать шею, потом, для удобства, подперся одной рукой, потом — второй, и пошла ходить-бегать от дерева к дереву обезьяна. Так умерли, — говорил Воскресенскому случайно им встреченный на берегу какой-то русской реки студент, — так сгинули Адам и Ева» . . . Ну, тут уж я, Семен Семенович, не выдержал, и спрашиваю Воскресенского: «Как это возможно? Ведь это опрокидывает дарвинскую теорию эволюции, признанную . . .» А он меня остановил, знаю, говорит, действительно опрокидывает. Но не забывайте, говорит, что эволюция — это движение. А движение бывает не только вперед, но и вспять. Вы это можете, говорил Воскресенский, назвать деградацией, вырождением, как хотите, но сам процесс движения вряд ли кто станет отрицать. Вот вы любуетесь великолепной, радующей глаза розой. Но перестаньте о ней думать, оставьте ее на произвол судьбы, освободите ее от того, что

делает ее розой, и — кончено: она будет жить, но куст станет дичать. Промелькнет некий исторический период, и вы, говорил мне профессор, возвращаетесь к некогда изумлявшему вас кусту и обнаруживаете всё, что угодно, но только не ту розу. И так во всем, со всем, не смогшем удержаться на вершине, движение назад, *обратная* эволюция, регресс. Никто не ответит, что вызвало одичание Адама и Евы, простите, их потомков, но оно произошло. Потому ли что человек достиг такого развития, взобрался на такую высоту *эволюции,* что дальше пути уже не было . . . или не хотелось идти дальше. Ведь всё достигнуто! Стоит ли подниматься выше? Ведь добрались до такой полноты власти над всем, что . . . упоение властью родило дерзкую мысль разрушить жизнь. Какие силы вмешались, говорил Воскресенский, что остановило самоубийцу? Кто ответит? Но что-то произошло, и человек оказался без поддержки, без чьей-то заботы, и как заброшенная роза — начал постепенно дичать, помогая себе в беге сначала одной, потом второй рукой . . . а затем — оброс шерстью и забыл думать о том, что нужно «в поте лица добывать хлеб свой». Зачем? Проще лазать по деревьям и питаться их плодами. И питался. До каких-то пор, пока чья-то сила не вмешалась и не началось новое . . . началась эволюция от обезьяны . . . от этого жалкого подобия тому, что некогда уже было человеком . . . Эволюция? Да, говорил профессор Воскресенский, а сколько было таких эволюций? И сколько еще будет? Сколько раз повторится древняя история с кустом розы, из одичания вернувшегося к богатству красок и аромата? Были Адам и Ева. Была и обезьяна. Всё это было, но не забудьте: сначала Адам и Ева, потом — обезьяна. И когда вы, так говорил мне Воскресенский, в запущенном саду увидите бедную, жалкую, одичавшую розу — подумайте о жизни . . .

Решков, заметив странно округлившиеся глаза Суходолова, спросил:

— Ты чего?

— Это он . . . тот, — зашептал Суходолов, — вот так он и сказал: «Подумайте о жизни?»

— Да, — и почему-то тоже вполголоса, как будто по секрету, ответил Решков. — Понимаешь: это профессор советовал: «Подумайте о жизни . . . своей и чужой» . . .

Профессор Воскресенский не произносил слов «своей и чужой». Их в самое последнее мгновение выдумал Решков, тут же вздрогнув от мысли, что эти слова станут тем грузом, под тяжестью которого вряд ли устоит Суходолов.

Автору даже кажется, что Решков пожалел этого крестьянского сына и захотел поддержать, спасти его и сохранить для каких-то особых и загадочных целей. Стремление это, вначале взволновавшее Решкова своей теплой искренностью, исчезло так же легко, как и появилось. Опять зашевелилась злобствующая зависть к честным глазам Суходолова, из которых не уходила тоскливая растерянность.

Может быть потому, что Решков на самого себя посмотрел как бы со стороны и в самом себе увидел все свои замыслы, от которых уже нельзя было оторваться, он и сказал Суходолову:

— Так что к тебе, Семен Семенович, в твои руки попадет этот богословский профессор. Тебе и придется ставить *точку*.

Суходолов молча поднялся со стула. Когда за ним закрылась дверь, Решков вышел на балкон и с высоты третьего этажа наблюдал за медленно шагавшим по тротуару человеком с широкими крестьянскими плечами. Потом, когда на перекрестке Суходолов остановился, словно не зная куда идти, Решков вернулся в свою комнату и упал на широкий диван.

Он уже не один раз бросался на этот диван, и всегда ему казалось, что лежа на нем с закрытыми глазами, он ни о чем не думает. Совсем ни о чем. Ощущая пустоту в себе и вокруг себя — он как бы вырывался из реальной действительности, чтобы почувствовать свежий воздух какого-то иного мира, а самого себя увидеть чуть-чуть лучше, чем он был на самом деле. Автор знает, что эти жалкие попытки жить самообманом ни к чему не приводили, и потому дальше изложит — —

СМЯТЕНИЕ РЕШКОВА ПЕРЕД ЗАГАДКАМИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

Решков не любил комнат, в которых он жил. Его отпугивали мягкая мебель, ковры и эти старинные часы в дубовой оправе, украшенной сложной инкрустацией — смесью перламутра, карельской березы и серебра. Часы — от пола до потолка — напоминали саркофаг, внутри которого раскачивался маятник, отсчитывая шаги времени.

Стоило лишь Решкову подумать об этом — он поёживался от сознания, что всё — и комната, и мебель, и дивная вязь инкрустации — это чужое, не ему принадлежащее, случайно и незаконно присвоенное. Да и сам он . . .

Действительно: что такое он сам, Леонид Николаевич Решков? Пробуя разобраться в этом, он не мог не придти к убеждению, что вступи он в революцию обыкновенным Лёнькой, он был бы вполне счастливым человеком. Жизнь его была бы простой и, по-своему, нормальной. Но он превратился в Леонида Николаевича Решкова. Потому что... Да, перед этим была семья полковника, гимназия и студенческие аудиториии университета Святого Владимира.

Всё это приобщило его к несвойственной ему культуре. Культура могла стать благом. И не стала. Что же сохранилось? Привычка думать. А еще что? Страшная способность хранить в памяти чуть ли не каждый свой шаг и любое свое движение.

Обо всем этом он не мог не задумываться. И, задумываясь, поднимал плечи, спрашивая самого себя, почему именно он стал таким?

Действительно, до него, ведь, было много самых обычных детей, которые становились Ломоносовыми.

Эта мысль о Ломоносове была настолько больной, что Решков приказал поставить у себя два громадных книжных шкафа. Полки шкафов скоро заполнились книгами и массивными томами энциклопедий.

— Культура! — однажды сказал Председатель, заглянув к своему помощнику. — Книжное царство! Одобряю! Действительно одобряю, — продолжал Председатель, — а то, ведь, наши соратники — это же... ну... им бы только пить да закусывать, да еще, — тут Председатель гнусно подмигнул, — понимаешь?

Решков ничего не ответил.

Председатель подошел к шкафу, открыл стеклянные створки и залюбовался корешками книг.

— Да у тебя и впрямь библиотека! Смотри... да вот точно за такой же том Плутарха в прошлую субботу к стенке поставили академика... академика... Вот чёрт! Фамилию его сволочную забыл! А он, этот академик, и не понимал, за что его в подвал волокут. Замечательный какой-то академик. Автор, понимаешь, исторических трудов. Смешной...

— Почему смешной? — спросил Решков.

— Да так. Я им заинтересовался. Его доставили ко мне. Понимаешь — ко мне! К *председателю*... А он, понимаешь... сидит передо мною этаким поджарым интеллигентом. Я ему всё объяснил. А он и не думает о том, что его шлёпнут, и защищает Плутарха. Мне смеяться хочется, а он, академик, горячится, в бутылку лезет, знаете, говорит,

Плутарх жил еще до Рождества Христова, то есть две тысячи лет назад, много написал, а своими «Сорока шестью сравнительными жизнеописаниями знаменитых людей» стал вровень с Гомером. Академику, вишь, хотелось убедить меня, что Плутарх своими «Сравнительными жизнеописаниями» показал человечеству многое, в том числе и появление на древнегреческой и древнеримской земле деспотов, тиранов и рабовладельцев. Академик даже палец поучающе поднял: Плутарх, дескать, призывал людей к познанию личности и как бы советовал людям не особенно доверять государству, построенному по замыслу демагогов и диктаторов, к своим целям идущим дорогой террора и слепой жестокости. А Плутарх-то ваш, сказал я академику, это же контрреволюция, а у нас диктатура пролетариата, и вы, значит... А он суетится, толкует, что «Сорок шесть сравнительных жизнеописаний знаменитых людей» — это же перевод с древнегреческого, это книга, в Российской империи впервые вышедшая в 1862 году, при императоре Александре Втором. Это удивительная книга, кипятился академик, это шедевр эллинской культуры. А я его спрашиваю, что ж, вы с этим шедевром кой-кого знакомили, давали почитывать? Академик с радостью подтвердил, что и в теперешней революционной России есть люди, которые вдохновенно обращаются к Плутарху, чтобы поучиться жизни на уроках совсем-совсем далекого прошлого. Значит, спросил я академика, вы использовали эту книгу для борьбы с диктатурой пролетариата и властью партии большевиков? Он и тут ничего не сообразил, и пошел говорить, что «Сравнительные жизнеописания» нужны не только людям, определяющим свое место в государстве, но, к сожалению, и тем, кто захватывает власть в государстве и государство превращает в колонию рабов. К сожалению, болтал академик, по страницам Плутарха деспоты учились управлять и сотнями тысяч свободных римлян и десятками миллионов рабов, причисленных к Римской империи. К сожалению, добавлял академик, идущих по следам этих деспотов было не так уж мало. Вот, к примеру, Бабеф. Есть совершенно точные записи современников Бабефа, подтверждающие, что «Сорок шесть сравнительных жизнеописаний замечательных людей» для него, да и вообще для якобинцев, были увлекательнейшим чтением, якобы помогающим победе революции. Да и Ленин, по словам его ближайших соратников и друзей, вдохновлялся Плутархом и советовал им в «Сравнительных жизнеописаниях» находить полезное для укрепления большевизма.

— Чем закончилась дискуссия с академиком? — спросил Решков.

— Подвалом, — рассмеялся Председатель. — Пошел бы туда и Плутарх, если бы не умер две тысячи лет назад. А ты читал эти «Сравнительные жизнеописания»? Да? Надо будет у тебя эту книжицу взять. И прочитать. Хотя времени у меня маловато, диктатуру пролетариата надо укреплять, так что на «замечательных людей» и досуга нет. Даже фамилию этого академика, видишь, забыл. А, ведь, всему миру известен! Ну, ладно, заболтался я с тобой! Будь здоров.

Председатель ушел... Решков остался в пустоте своих комнат и взглянул на качающийся диск маятника в саркофаге часов. Потом поднял глаза к циферблату. Одиннадцать. Впереди бесконечно длинная ночь. Ее, конечно, можно укоротить, но для этого надо принять хорошую дозу снотворного. Это уже стало привычкой, тяжелой и, подчас, заставляющей думать, что восемь внешне безобидных, скучно желтых горошин достаточны для того, чтобы больше не просыпаться.

Об этом подумал Решков и сейчас, косо посмотрев в сторону письменного стола, в одном из ящиков которого лежали и кольт и слегка желтоватые таблетки. К столу он не подошел. Он открыл балконную дверь, вынес стул, уселся на него и с высоты третьего этажа принялся следить за пустой улицей.

Вдруг и совершенно неожиданно он обнаружил, что следит не за улицей, а за самим собой. Видимо, под влиянием недавнего разговора о «сравнительном жизнеописании замечательных людей», он принялся восстанавливать все последние книги, прочитанные им. Это были не романы и не повести, это были описания «знаменитых»: ученых, проповедников, государственных деятелей, изобретателей, писателей. Думая о них, невольно установил, что большинство этих «знаменитых» — выходцы из народа. Это уже было открытие.

— Я тоже из народа, — прошептал Решков, как бы оправдываясь перед кем-то.

Оправдание не удалось. Он должен был признать, что сам он не из тех, кто попадает в энциклопедии. Он — особенный. И тут же прикусил губу, вспомнив, чей он сын. Возвращение к тому далекому прошлому было болезненным еще и потому, что он, может быть и совершенно случайно, в последние месяцы внимательно изучил несколько трудов

о наследственности. И вот теперь — совершенно невольно — чьими-то выводами, как аршином, измерял свою судьбу.

Человек рождается с определенными свойствами нервной системы. Бесспорность этой истины и дала, видимо, право итальянскому психиатру и криминалисту Цезарю Ломброзо обосновать теорию «врожденного преступника».

Проклятый Ломброзо! Это он виноват в том, что Решков, разглядывая собственную личность, обнаруживал в ней контуры ломброзианского «врожденного преступника». Правда, под влиянием большевистско-философских рассуждений он отверг Ломброзо, в то же самое время пробуя разобраться в том, почему Ленин и его ученики боятся признать силу наследственности. Это и заставило Решкова обратиться к Марксу.

Поиски его смутили. Оказывается, Маркс достаточно много говорил о природных, врожденных свойствах человека, о наследственных задатках, инстинктах, о переходящем от отца или матери типе нервной деятельности. В конце концов, Решков обнаружил у Маркса весьма-таки ломброзианские мысли, вроде того, что человек приходит в мир с заранее заложенными и издалека идущими «задатками и способностями».

И сейчас, и раньше, и в том, пока что отодвинутом будущем, когда Решков уже приблизится к своему крушению, он жил и будет жить с вечным оглядыванием на свою жизнь, признавая естественным собственное свое отчуждение от той культуры, куда мог бы ввести его полковник Мовицкий. Оглядываясь, он как бы видел уже заранее написанный приговор.

И не только самому себе, но и тем, с кем он общается, к кому он примкнул, сам не понимая, зачем это сделано. Утешаться мыслью, что его теперешние друзья и единомышленники, да вот тот же самый Председатель, более страшный, чем Робеспьер, тоже живут в отчуждении — он не мог.

Ну, да, он сам, Леонид Решков, сын проститутки, уличной девки, вобрал в себя и свойства отца, с которым он никогда не встречался, хотя и знал, что это был портовый бандит. Маркс, значит, лишь подтвердил то, о чем так убедительно говорил Ломброзо.

Всё ясно. И вместе с тем — далеко не всё ясно, вынужден был признать Решков, вспомнив, что рядом с ним есть много как будто бы вполне нормальных людей, не обремененных свойствами «врожденного преступника», но творя-

щих преступления. Что это? Влияние среды? Патологическое стремление к власти? Зависть?

Ответить на все эти вопросы у него не было ни сил, ни желания. Он стоял где-то на перепутье, зная, что выбор дальнейшего движения от него не зависит.

Грозный и жалкий, жестокий и чуть ли не со слезами скорби разглядывающий какую-то, бережно хранимую, давнюю фотографию — Решков жил жизнью человека, сознающего свою обреченность.

В этом Автор убежден, и потому воспроизведет — —

МЫСЛИ РЕШКОВА О САМОМ СЕБЕ

Решков часто и томительно задумывался над своей и чужой жизнью. В такие минуты он напоминал обыкновенного человека, запутавшегося в собственных ошибках.

Страшны были не ошибки, а покорность перед ними. Признав это, он с тоскливым недоумением установил, что шагнуть куда-то в другую сторону он не может. Почему? Да потому, ответил он себе, что деление людей на «мы» и «они» для него стало законом. Подчинившись этому закону, он на всех *остальных* смотрел сверху, хотя сам как-то морально сгорбился, и двигался словно в темноте, не зная, что впереди.

Он уже не раз думал о том, что просто-напросто боится жизни, даже не жизни, а ее фальшивого отражения, в котором гибнет всё чистое, яркое и честное.

Мысль была скучной, и однажды, когда она вновь возникла, Решков длинно и вяло зевнул, слегка взвизгнув, как собака, после большой охоты развалившаяся у костра.

Между прочим, Решкову так часто приходило на ум сравнение себя с собакой, что стала появляться и кривая усмешка, вслед за которой мелькала догадка: собака, все-таки, счастливее его; она делает свое дело и потом спокойно спит. Он же — делает не свое дело и не спит. Вместо сна у него — тревожные сновидения, наполненные картинами, даже не картинами, кусками картин, показывающими, до чего всё странно вокруг.

И действительно — странно. Людей заставляют что-то возводить, строить в невероятно короткие сроки, под треск речей, под шелест лозунгов и транспорантов. Люди строят, с тупостью и робостью сирот принимают клятвенные обещания эти невиданно короткие сроки еще более сократить.

Обещания печатаются в газетах. Об этих обещаниях говорят на съездах и пленумах, хотя все понимают, что это — ложь, что человека можно принудить принять любые решения, но заставить его — человека — всё время гореть ровным пламенем сильной электролампы нельзя.

«А вдруг можно?» — спросил себя Решков и ухмыльнулся.

— Горят, ведь! — уже громко произнес он и рассмеялся злым смехом, тут же подумав, что смеется и над собою и над всеми теми, кто молчит и не возражает.

Да, и я, и они, все мы подчиняемся, думал Решков, уже наливаясь гневом против тех, кто вчера и позавчера аплодировал ему, Решкову. Они приняли «дополнительные» обязательства, и станут валиться от усталости, от голода и холода. Голодные и холодные, *они,* по приказу, будут одобрять расстрелы *врагов* народа за саботаж, за шпионаж, за нежелание отвечать вспышкой энтузиазма на объявленные *исторические* решения съезда или пленума.

Так глумясь над *другими,* Решков оглядывался на свое прошлое со стариком полковником, его семьей, с садовником — ставшим приемным отцом для мальчишки Леньки. Прошлого — нет. Многие из того прошлого уничтожены, остальные — будут уничтожены. Во имя цитат и директив. Во имя революции: она не знает пощады. Наступит ли конец этой беспощадности? Решков имел мужество признать: не наступит! Революция — начав трупами — завершится на трупах. На российских или общемировых? Какая разница? Если к тому времени все не сойдут с ума и не станут выть собаками.

Опять возник образ той же собаки. Решков с отвращением представил себе визг осеннего ветра, старую ветлу, ветви которой мотаются из стороны в сторону, и под ветвями — самого себя — стоящего на четвереньках и ноющего звериной тоской.

В этой тоске был страшный и какой-то потный от усталости мир Решкова, мир, из которого уйти нельзя, можно лишь взять его с собою в могилу... Соблазн могилы был очень сильный, но кратковременный. В общем, Решков еще не созрел для расплаты по способу, некогда осуществленному Иудой.

От себя же Автор добавит, что Решков — весьма суровый самообвинитель — в глубине души прятал надежду на возможное помилование. Эту призрачную мечту поддерживал и Кулибин.

А если бы не было этого Кулибина? Решков с облегчением вздохнул, вспомнив, что сегодня — среда, и придет этот корректор, старый чудак-идеалист, вечно читающий какую-то никем еще не написанную книгу.

Потом, когда Кулибин сидел перед отодвинутым стаканом чая, Решков, словно продолжая давешнюю беседу, сказал о том, что страницы не написанной книги будут очень тяжелыми. И добавил:

— Вы многое знаете обо мне, Владимир Борисович. И не отворачиваетесь от меня потому, что вы не вполне верите, что всё это *многое* лежит на моей совести. И зря не верите. Лежит не только то, что вы уже знаете, но и многое другое, о чем вы и представления не имеете. Если бы вы знали всё, тогда . . .

— А зачем мне знать всё? Допустим, Леонид Николаевич, что мне не надо знать всё.

— Странно . . . А вот если я — однажды — ввалюсь в вашу комнату, запру дверь на ключ и заставлю вас выслушать мою исповедь. Всю. Тогда что? Что вы тогда скажете, когда перед вами будет лежать распластанной моя душа? Такая . . . без единой светлой точечки. Ведь это же находка . . . находка к очередным главам той книги, которая . . . А что, если она уже написана? Тогда вам придется дополнять ее, перерабатывать или . . . или прежде написанное сжечь, уничтожить и взяться с вдохновением за новое, потому что прежнее — ерунда! Тут — душа наизнанку, всё вывернуто с предельной обнаженностью. Эту обнаженность вы и возьмете, а от человека — в испуге отвернетесь, и уйдете, удивляясь, что мог быть такой человек . . . или, по-вашему, по писательскому — такой *тип*.

Кулибин и в самом деле отшатнулся, как будто испугавшись уже лежащей перед ним исповеди. На него пристально смотрел Решков.

— Да, — сказал Кулибин. — Всё очень сложно. И если мне суждено будет писать книгу, о которой вы, Леонид Николаевич, говорите, то в этой книге будет горький человек. Нет, не *тип*, как вы пренебрежительно назвали. Горький человек! Вдруг, нет, не вдруг, всегда тревожила его притаившаяся мысль о том, что во мраке моральном обязан тлеть маленький, робкий, чуть приметный огонёк правды.

— Нет, Леонид Николаевич, — продолжал Кулибин, — не проповеди, не программы, не законы, что-то другое заставляет оглянуться назад. А оглянулся . . . Не знаю, может быть я и ошибаюсь, но так оглянувшись человек под-

ходит, приближается к минуте, в которую только и можно произвести суд над всеми своими делами. И самому себе подписать приговор. Не ожидая судей со стороны. Собственный приговор, если только человек найдет в себе силу его произнести, самый справедливый, по настоящему указывающий выход из запутанных путей-дорог. Смешно я говорю, Леонид Николаевич? Может быть. И безнадежно? Тоже может быть. Всё это годится . . . для той, скажем, книги . . . Будущей . . . Только не думайте, что тут вихрь пессимизма Беккета, этакое словотворчество. Нет. Это — не абсурд. Это — жизнь. По той, не произнесенной вами исповеди.

— А ведь и мне, Владимир Борисович, — прервал Решков Кулибина, — тоже пришлось однажды столкнуться с исповедью. Не о самой исповеди я вам расскажу, а об атмосфере, что ли, в которой она была произнесена. Вы имеете представление о Хамовниках? В одном кабаке мне самому пришлось вести *наблюдение*. Ответственная была эта штука! Ну я, понятно, принимал надлежащий вид, соответственно себя держал, обзавелся там кой-какими «друзьями». И вот однажды к моему столику подсел . . . ну, такой, я о нем знал. Он и подсел. Пьяный, конечно, и с разговорчиками. И говорит мне, понимаете, разве тебя, говорит, разгадаешь? Может ты товарищ большевик и вполне сознательный чекист? А может, говорит, только фигуру такую авторитетную строишь, а поковыряйсь в тебе — самый ты что ни на есть белогвардеец, а к тому же и враг нашей любимой партии. Понимаете, Владимир Борисович, говорит он всё это, и смеется так невыносимо скверно и до того подло, что я не выдержал и вроде серьезно предлагаю: «Ты о себе лучше расскажи. И нутро свое выверни». А он словно бы даже протрезвел, и говорит, что ж, говорит, мне вывернуться и перевернуться ничего не стоит. Я, говорит, к тому привык. Я уже ко всему привык, и к тому, что отобрали у меня партийный билет и бывшего комиссара в дерьмо превратили, забыв, что я был в личной охране Ленина. Вот тут я, Владимир Борисович, шутя вроде, попросил показать какие-нибудь документы. Дескать, покажешь и докажешь, так и быть — водки поставлю и консервы выложу, потому — это я ему говорил — люблю обиженных людей, зря, то есть, обиженных. Он и показал. И я убедился, что всё верно он говорит. А он и пошел ломаться. Прямо требовать стал, хочешь, говорит, я тебе одну единственную тайну открою, чтобы ты знал, говорил он мне, с какой ты значительной персоной на данном отрезке времени стыкнулся. И я, знаете, Владимир

Борисович, выставил ему водку... и услышал исповедь. Даже мне жутковато стало от той исповеди. Ее я вам пересказывать не буду. Добавлю только... что... исповедник этот... ну, одним словом, отнесите его конец на мою совесть и впишите, когда придет время, в ту *будущую* книгу.

Что оставалось делать Кулибину? Эпизод с «исповедью» он воспринял, как деталь к тому, что ему уже было известно о Решкове. А дальнейшие беседы и встречи? Они лишь с очевидностью свидетельствовали, что Решков опускается всё ниже и ниже, что своими злобно-циничными признаниями и жуткими подробностями он словно бы пытается отпугнуть от себя Кулибина.

Но время шло, и Кулибина всё больше и больше тянуло к Решкову, как, видимо, невольно поворачивается глаз человека к чьей-то отвратительно гниющей язве. Что это: пустое любопытство или острое желание разгадать, что чувствует, что думает тот, зачем-то и куда-то двигающийся с гнойником, от которого избавления нет?

А Решков, спасаясь от самого себя, всё чаще и чаще прибегал к наркотикам. Кулибин, наконец, не выдержал, и в один из вечеров посоветовал ему обратиться к врачу или, хотя бы, отдохнуть.

Решков ответил отказом. Затем, словно вспомнив что-то, нервно сказал:

— Это, Владимир Борисович, не для меня. Я уже не могу перестать себя мучить. Я, понимаете, не человек. Что-то противное в себе обнаруживаю. До безнадежности противное. А ваш совет... советуете вы потому, что не догадываетесь о главном. А такой, кто догадывался, был. Когда я согласился с ним, и спросил: «Как быть?» он сразу и толково ответил: «А ты взял бы да и повесился на собственных подтяжках». Совет был трезвый, благоразумный и, заметьте, равнодушный. А вы...

— Я не могу быть таким благоразумным, не хочу, понимаете: не хочу! — схватив руку Решкова, воскликнул Кулибин. — Вы же человек! Об этом не забывайте, Леонид Николаевич. Подумайте об этом. Почему прибегать к подтяжкам? Есть другие пути.

— Об этом я тоже размышлял, Владимир Борисович... В один из тех случаев, когда (об этом я вам рассказывал) испуг перед самим собою заставлял меня опускаться на четвереньки и по-звериному вскидывать голову к черному потолку. Нет, я не выл от тоски. Для того, чтобы выть — надо быть хоть немножко человеком. А разве я «хоть немнож-

ко»? Бывало, Владимир Борисович, и такое. Я брал карту Европы и выбирал место, куда я могу унести самого себя. Ну, вот туда, в эти горы. Или туда, к тем фиордам. И я убеждался, что передо мною — ничего нет. Это для других — моря и долины, сложные и интересные пути-дороги, реки и города. А для меня — только какой-то унылый угол, куда я однажды забьюсь, чтобы . . .

— Почему вы всё это говорите, Леонид Николаевич?

— Почему, почему . . . Разве я знаю, — склонив голову, шептал Решков. — Хотя . . . может быть и знаю. Вернее — знаю. Чтобы мне говорить по-другому, надо было бы воскресить очень многих . . . начав с Мовицкого . . . о котором вы обязаны вспомнить в своей, еще не написанной книге. Без Мовицкого — вы меня не поймете. Ничего не поймете. Кстати, я эту вашу, еще не написанную книгу, всегда читаю. Ее нет, я ее, возможно, никогда не увижу, но я ее всегда ношу в своей душе, вынимаю, когда нужно, разглаживаю ее страницы и, закрыв глаза, читаю. Мне дорога эта книга. Она заставляет меня жить своими главами, и хоть я понимаю, что их нет, ничего нет, даже отдельных строчек нет, я всеми силами держусь за эту вашу еще не написанную книгу. В ней — мои мысли о самом себе, и обо всех других. Или наброски мыслей. Эти наброски я сам, по своей воле, могу переделывать, подкрашивать, улучшать и ухудшать, и когда они становятся приемлемыми мне — вот тогда-то я вижу безвыходность и стремительно летящий на меня *конец*.

Дрожа, сгорбившийся и жалко беспомощный, он продолжал говорить, но как будто только для того, чтобы еще больше растравить какую-то старую не заживающую рану. Ковыряясь в ней, он наваливал на себя самые неправдоподобные грехи, упивался своими признаниями, иногда — в паузах — тяжело и дико подхохатывая.

Потом, и как-то вдруг, словно уже не понимая, что делать дальше, он опустил голову на колени Кулибина и притих.

Подождав немного, Кулибин склонился и увидел, что Решков спит, но очень странно: с полузакрытыми глазами и ушедшими в подлобье зрачками.

Зрачки казались мертвыми. Когда же они дернулись и с жуткой медлительностью передвинулись слева направо, Кулибину стало не по себе, и он с материнской нежностью прикоснулся ко лбу Решкова. Тот как будто только и ждал этого, чтобы бессвязно зашептать о Суходолове, о Воскресенском и о какой-то таинственной «точке».

Это — пояснит Автор — Решков в полубреду восстанавливал беседу со своим помощником, тот злобный разговор, которым подталкивался Семен Семенович Суходолов к медленной гибели, начавшейся с того, что можно определить словами — —

ДЕЛО ПРОФЕССОРА ВОСКРЕСЕНСКОГО И ПРЕСТУПЛЕНИЕ СУХОДОЛОВА

Автор рискует высказать предположение, что только после бесед, происходивших с Решковым, Суходолов на всё, окружающее его, взглянул как-то со стороны, почувствовал себя очень одиноким и, главное, человеком, вся жизнь которого оказалась ошибкой.

В таком настроении он и отдал приказ еще раз доставить к нему арестованного, судьба которого уже была решена, и оставалось лишь поставить «точку».

— Так говоришь, ты — профессор богословия? — обратился Суходолов к сидевшему перед ним заключенному.

Тот ничего не ответил. В этом молчании, в общем, ничего странного не было. Наоборот, в чека ценили следователя, умеющего первым вопросом привести допрашиваемого в смущение и растерянность.

Но этот профессор не просто молчал. Он смотрел в глаза Суходолова.

Если бы нечто подобное случилось две-три недели назад, Суходолов нашел бы способ положить конец любопытству врага. Он и сейчас вспомнил все эти способы, но пустить один из них в ход не мог, хотя и улыбнулся той улыбкой, которая приводила в ужас допрашиваемых. На этот раз улыбка не удалась, и Суходолов повторил свой вопрос:

— Значит: профессор богословия? — и добавил: — А как это понимать? Славишь Бога?

И вдруг, словно поскользнувшись на льду, Суходолов раскинул руки и, склонившись над великолепным письменным столом, крикнул:

— Вот что! Пора кончать. Дополнять тебе нечего. Ты уже всё подписал. И тройка тебе уже тоже подписала. Так что вернешься в подвал, а там, завтра или послезавтра, на рассвете, возьмут тебя, выведут куда надо . . . И шлепнут! И тебя и твое *богословие*. Понятно?

В чека всё разрешалось и всё допускалось. Говорить о том, что приговор уже подписан «тройкой» — не имел пра-

ва даже Суходолов. Но он уже не мог остановиться. Он дальше и дальше что-то разъяснял сидящему перед ним профессору богословия, сказал, наконец, и о том, что тот осужден, что участь его решена и что спасения нет.

Чем больше говорил об этом Суходолов, тем настойчивее и настойчивее мучила его самого мысль, что жертвы — никому не нужны и, что главное, ложатся они на его совесть, на плечи Суходолова.

Вот и профессор этот. Он молчит, и спокойно смотрит, и вроде бы соглашается с тем, что выкладывает ему Суходолов, не возражает, и не просит милости.

— А фамилия у вас интересная: Воскресенский! — сказал Суходолов, почему-то переходя на «вы». — Духовно-божественная и вообще пасхальная: Вос-кре-сен-ский . . .

— Да, — подтвердил профессор.

— Только вы зря думаете, что она оправдается, — теперь уже как будто про себя прошептал Суходолов

Суходолову хотелось еще что-то добавить, разъяснить, что приговор будет приведен в исполнение и, значит, «точка». Но вместо всего этого он вдруг придвинул к себе дело профессора, перелистал его, дошел до последней страницы и задумался.

Так, задумавшись, он и взглянул на сидящего у стола старика, и почему-то представил его себе уже трупом среди трупов, ночью бросаемых в кузов грузовика.

Картина, в общем, вырисовывалась совсем обычная и до того примелькавшаяся, что Суходолову захотелось зевнуть. Он и в самом деле поднес было руку ко рту, но вдруг остановился, потрясенный мыслью, что только сейчас и впервой по-настоящему разглядел труп среди трупов на полу залитого кровью подвала.

Опустив руку, Суходолов посмотрел на старика, в глазах которого не было и признака страха.

«А ведь он скоро упадет, — подумал Суходолов, — и кровь его, а может быть и мозги, присохнут к стенкам узкой камеры, оборудованной для расстрелов».

Никогда раньше такие мысли не тревожили Суходолова. И теперь, словно спасаясь от них, он придвинул к себе «дело», и еще раз, и очень внимательно, перечитал последнюю страницу, внизу которой был приговор.

Эту последнюю страницу «дела», в общем-то, пустякового, и приговор, составленный Суходоловым, вчера уже подписали два члена *тройки,* даже не читая «дела». Третья подпись будет его — Суходолова.

Подумав об этом, он подошел к старику со стороны спины и взглянул на затылок, прикрытый седыми волосами.

Потом Суходолов вернулся на свое место, вызвал конвоира и велел увести старика в камеру.

Когда за конвоиром захлопнулась дверь, Суходолов не решил даже, а просто согласился с мелькнувшей мыслью о том, что труп старика не бросят в обитый оцинкованной жестью кузов грузового автомобиля.

Через некоторое время вновь появился конвоир и доложил, что арестованный доставлен в камеру.

— Иди в караулку . . . Надо будет — позову.

Конвоир ушел. Суходолов прищуренными глазами минуту или две смотрел в темное окно, потом взял «дело» профессора богословия Воскресенского и на приговоре, в оставшемся пустом пространстве между последними строчками и подписями *тройки,* добавил фразу о том, что обвиняемый не является социально-опасным элементом, почему *высшая* мера наказания заменяется заключением в концентрационном лагере «до окончания гражданской войны».

Поставив свою, *третью,* подпись, Суходолов даже не задумался над тем, что совершил преступление.

Произошло всё как-то механически, случайно, хотя Автор склонен считать, что в действительность ворвалось сложное, грандиозное событие, вполне отвечающее минуте, когда Суходолову захотелось освободиться от *идеи,* заменив ее самой простой человечностью. А почему не допустить, что в Суходолове вспыхнуло желание хоть раз да сотворить добро наперекор *идее* или, что тоже может быть, сохранить единственный экземпляр из числа тех, кому предназначено поголовное истребление?

Какая из этих догадок ближе к истине, решить невозможно. Остается факт: профессор Воскресенский не был расстрелян в 1920 году, и где-то — в будущем — встретится с уже *бывшим* Суходоловым.

Автор не желает быть ни прокурором, ни адвокатом. Чернить или обелять Суходолова он не собирается. Он покажет *бывшего* Суходолова, превратившегося в Уходолова таким, каким он входил в свою собственную, новую жизнь. Плоха или хороша она, эта жизнь, пусть судит читатель, хотя о самом *крушении* Суходолова Автор задумывался не раз. Иногда эта задумчивость принимала такую форму безыс-

ходной растерянности, что на помощь должен был приходить — —

СОБЕСЕДНИК, РАССУЖДАЮЩИЙ О КРУШЕНИИ

— Очередное мучение? — несколько грубовато спросил Собеседник, кивнув в сторону пишущей машинки с таким видом, словно знал не только то, что уже легло на страницы «Моли», но и что ляжет. — Да что я спрашиваю? Вы запутались, забыв, что ваше «действо» не закончилось где-то там, оно продолжается. Жаль, что забыли! Конечно, раскапывать мусор прошлого, добывать из этого мусора и Решкова и Суходолова, следить за их судьбой интересно. Взлёты и падения. Утверждение и крушение. Мрачная экзотика, начавшаяся с «десяти дней, которые потрясли мир» . . . Да, чтоб не забыть: в одну из наших следующих встреч я документально подтвержу, что были «десять минут, которые могли бы перечеркнуть десять дней». Но об этом — когда-то потом. Сейчас — о ваших терзаниях. Откуда они? Почему? Да потому, что вы сидите взаперти, с вдохновением возитесь над заметками, записками, над своими и чужими воспоминаниями. Вам кажется: картины! А это всего лишь наброски, эскизы, для которых нужна краска жизни сегодняшней, отодвинутой от *той* жизни на громадную дистанцию.

Автор поднял глаза на Собеседника, но тот на это не обратил внимания и продолжал:

— У вас Суходолов рухнет и превратится в Уходолова. Где-то трагически закончится и Решков, понявший, что выхода нет. Я не убеждаю вас, чтоб вы своею авторской милостью что-то изменили и под занавес показали своего главного героя отмывшимся от грязи и улегшимся в привычный, сосновый гроб, тихо опущенный в могилу. Этого делать нельзя и не надо. Потому что настоящее крушение . . . если оно действительно *настоящее* — оно уже в самом себе несет оправдание. Они — *там*, те, теперешние строители «нового мира» — боятся говорить о крушении, в котором *оправдание*. В таком крушении — великий соблазн. Они — *там* — не могут не чувствовать *крушения*, и боятся *соблазна*. Всё это надо парализовать, обезвредить, опорочить. Цель? Навязать людям трусливую мысль, рабскую мысль, что даже подобие «крушения» становится политическим преступлением.

Собеседник заметил вопрошающий взгляд Автора и — как бы предупреждая готовый возникнуть вопрос — продолжал:

— Вы слишком замкнулись в том прошлом, когда жили герои вашей «Моли». И потому не знаете, что о крушении своих собственных героев, героев партийно-исторических, говорят и нынешние советские писатели. Но как говорят? С лживым пафосом соцреализма, осуждая, как бы предупреждая: «Не поддавайтесь соблазну! Будьте твердокаменными в преданности партии». Таких соцреалистических произведений — достаточно. А ведь в них — что-то и от вашего Суходолова... хотя об этом вы и не догадываетесь. Ну, вот, я возьму роман *«Слово о зерне горчичном»*... Название-то, как видите, символическое. До трогательности. Автор романа — соцреалистка Ганина. У Ганиной — герой романа — чекист Петр Леонтьев, неуютно доживающий свой век в дни, когда мы с вами встречаемся вот в этой европейской квартире. У Петра Леонтьева — с точки зрения соцреализма — великое прошлое: при Ленине он был председателем революционного трибунала Сибири. О Леонтьеве и его трибунале в те годы с ужасом шептались. А сам Леонтьев, что он думал о себе и своих делах? Кстати, и ваш Суходолов какое-то время тоже верил в справедливость выполняемой им миссии. Но Суходолов придет к своему концу уже Уходоловым. Петр Леонтьев, герой романа «Слово о зерне горчичном», тоже разглядел, что верить, собственно говоря, не во что. И началась — судя по страницам, написанным Ганиной — позорная гибель Петра Леонтьева, даже не гибель, а этакая преступная, медленная, затяжная болезнь. Для партии, для революции — Петр Леонтьев — конченный человек, отброс. В общем — отрицательный литературный герой. Перерожденец. А ведь был подлинный герой! Сколько на его совести расстрелов? Не ему ли держать голову высоко? А он ее опустил... Писательница Ганина свое произведение назвала романом. А это всего лишь скучная информация, разбавленная примитивными рассуждениями о том, что вот, дескать, был Петр Леонтьев «на страже революции, защитником ленинских идей», а потом — почему-то — утратил веру в революцию и теперь «доживает свои дни в неуютной комнате». Доживает. А вот заглядывает ли он в свою совесть, пересчитывает ли он свои жертвы, мучится ли этими жертвами — об этом ничего не говорит Ганина. Ганина заметила лишь одно: Петр Леонтьев, этот одряхлевший чекист, любит «сливочную помадку». Сливочная помадка — вместо психологии, вместо душевных терзаний!

— Что вы этим хотите сказать? — спросил Автор.

Собеседник оживился, одобрительно взглянул на пищущую машинку и ответил:

— Ваш Суходолов — не информация и не справка. Он действительно рухнул. Он не устоял на идейных ногах. Да и не только он. Уже шатается Решков. У Петра Леонтьева... Вот, кстати, как о нем повествует «Литературная газета» за 4 октября 1967 года в критической статье *«Преодоление»*. Читать эту статью от начала до конца не стоит. Главное в статье — это признание, что от ленинского дела отрекся не какой-то мелкий коммунист из ассенизационного обоза, а фигура гигантских масштабов. Вы имеете представление о революционных трибуналах эпохи Ленина? — спросил Собеседник Автора, и не ожидая ответа, воскликнул: — Конечно, имеете! И вы знаете, что такое председатель ревтрибунала! Робеспьер — щенок перед ним! А так как этих трибуналов было великое множество — уездных, губернских, верховных! — то о размахе большевистского якобинства уже легко судить, как легко и составить себе представление о силе председателей ревтрибуналов. В особенности, если это не председатель, пусть и зловещего, но всё же только, скажем, Вяземского трибунала, а покрупнее. И вот теперь — точнее: в 1967 году «Литературная газета» в статье «Преодоление» вздыхает. По поводу крушения. Нет, нет, не торопитесь рисовать благостную картинку, на которой председатель революционного трибунала, переживший Октябрь, Ленина и Дзержинского, почувствовал угрызения совести и в припадке покаяния полез в петлю, оставив в назидание потомству перечень своих дел. Никуда он не полез и ничего не почувствовал. Он — не такой. А чтоб вы увидели, какой он, я вам прочитаю несколько строк из «Литературной газеты»:

> Петр Андреевич Леонтьев был заместителем председателя революционного трибунала Сибири. В огневые годы гражданской войны Леонтьев стоял на страже революционного дела.
>
> А потом — жизнь Леонтьева пошла по-другому... Не стало порыва, страсти борьбы... Леонтьев растерял самого себя, собственную свою жизнь... Судьба Леонтьева — это история утраты человеком цельности. Жизнь и гибель Леонтьева — история несостоявшегося движения и цельности.

Собеседник усмехнулся.

— Вот вам и панихида, которую отслужила «Литературная газета» по бывшему председателю революционного трибунала не Вяземского уезда, а Сибири, на территории которой можно разместить полторы Австралии. Пролиты слезы. Был, дескать, великий чекист! А чем кончил? Отвернулся от идеи, растерял, видите ли, самого себя и, как гениально

сообщила в своем романе соцреалистка Ганина «пристрастился к сливочной помадке» . . .

«Сладкая помадка вместо драмы, — подумал Автор, — без крушения и без терзаний. Так себе: муха . . . Мухе всё равно: раньше — трупы, теперь — помадка».

Это сравнение заставило Автора вернуться к прошлому и рассказать — —

КАК РЕШКОВ ОКАЗАЛСЯ НА РАСПУТЬЕ И КАК ВОЗНИК АТАМАНЧИК

С тяжелой сосредоточенностью уже сильно охмелевшего, смотрел Решков на полупустую бутылку с водкой. Казалось, он не слышал и не замечал сидящего рядом дряхлеющего корректора, ставшего частым гостем в этой богато обставленной квартире.

И действительно, среди старинной мебели, около солидного шкафа с дорогими книгами, на отлично навощенном паркете — Кулибин выглядел чужим и лишним. В особенности не к месту были его потертый, с обшарпанными рукавами пиджак и грубые ботинки, давно нуждающиеся в ремонте.

Но он был нужен Решкову, как необходима палка слепцу. Для опоры.

Об этом часто думал Решков, стараясь разобраться, почему так дорог ему этот осколок мира, подлежащего уничтожению.

Вот и сейчас, после робкой просьбы Кулибина «Не надо больше пить», Решков совершенно отчетливо представил себе приближение той минуты, когда вокруг него будет пустота.

Это уже было распутье. Растерявшийся Решков не знал, куда двигаться. Без любви и привязанности к самой жизни, он без сожаления перемещался куда-то в сторону, всё дальше и дальше от тех, кого совсем недавно считал своими. Окончательный разрыв еще не произошел, но что он приближается, в этом был уверен Решков.

Вызывало ли это тревогу? Нет, он даже испытывал легкую радость, что между ним и *теми* увеличивается расстояние, которое уже ничто не заполнит.

Чувство *расстояния* и заставило его оторвать взгляд от бутылки и посмотреть на Кулибина.

— Скажите, Владимир Борисович, — спросил Решков, — бывает ли с вами... ну, такое... вот вы оказываетесь в пустоте... в отрешенности от людей, среди которых вы живете... или вынуждены жить?

Кулибин не ответил. По тому, как он задумчиво разглядывал свои руки, было видно, что этот вопрос встревожил его своей загадочностью.

— Ага! — пьяно усмехнувшись воскликнул Решков. — Значит — что же? Значит: живи в своей пустоте. В одиночке. Так, что ли? Остальные... и вы в том числе... вы другие... вы люди не такие... вы...

— Не то вы говорите, — прервал его Кулибин. — Пустота, в которой вы... о которой вы говорите, это — болезнь. И не только ваша. Болезнь многих. Может быть даже всего того общества, которому чья-то воля привила эту болезнь. Она прогрессирует, а люди...

— Вот, вот, — со злостью крикнул Решков. — Люди... они что? Им всё равно? Как же так? Да вот... вот заболевшая собака уходит в степь или в лес и там ищет некую травинку, ищет чудодейственную травинку. Не всегда собака находит то, что ей нужно. И тогда забивается куда-то в чащобу и там, в одиночестве, прощается с жизнью. Это только совсем-совсем комнатная, до конца прирученная и потому жалкая собака умирает на глазах своего хозяина, забыв о таинственной, лечебной траве, в которой спасение.

— Да, — прошептал Кулибин, — я слышал об этом. Один охотник об этом мне говорил.

— Ваш охотник — нормальный, здоровый человек. А я... я болею болезнью пустоты. А болезнь такая, это вы сказали, Владимир Борисович, она прогрессирует. И я это чувствую. Что-то собачье есть во мне... от той нормальной собаки. И потому я ищу какое-то лекарство. Или доктора. Вроде вас. С вашей... Не столь важно, написана она или нет, это ваша книга. В ней — пусть и не существующей — много мыслей и обо мне, и о других, таких же опустошенных людях.

Решков замолчал, потом, словно вспомнив о чем-то важном, торопливо добавил:

— Только не забудьте, Владимир Борисович, в ту книгу вписать, что я — до конца опустошенный! — я ревностно и преданно служу тем, кто уничтожит и вашего хорошего охотника, и вас самих, а под конец... что ж, под конец расправится и со мною. Не забудьте об этом. И о том, что я за всё в ответе.

— Вы до того часто, Леонид Николаевич, поминаете ту, еще не написанную книгу, что я начинаю верить: она должна возникнуть. Заметки, наброски, исписанные клочки бумаги, всё это уже есть. Будет ли книга? А почему ей не быть? Ну, да... Вы терзаете себя сомнениями. Я это вижу давно. Вы хотите нести ответственность за *всё?* Понимаю вас. Не в каких-то философских рассуждениях, а просто по-человечески понимаю. Вы думаете, я вас оправдываю? Нет, я жалею вас. Вы — жертва. Того коммунистического *гуманизма,* во имя которого и происходит то, что происходит. И будет происходить дальше. Нет математики капиталистической и социалистической. Гуманизм — та же самая, единая для всех математика души. Вы открыли новый вид, свой, большевистский вариант гуманизма? Ерунда! Ваш гуманизм выдумал Робеспьер. Эту выдумку подхватил Ленин. Для чего? Для власти, для кровавого эксперимента над страной, над людьми. Вы сами, Леонид Николаевич, казнитесь причастностью к эксперименту. Почему вы не откажетесь от него? Вы не можете отказаться. Яд действует безотказно. Что случится с вами через месяц или через год? Во всяком случае, в тех заметках к еще не написанной книге ответ уже дан. В этом ответе, пусть и горькое, но какое-то оправдание вам. Без оправдания... без оправдания слепые фанатики, такие, как Ленин. Они не испытывают ни мучений, ни страданий, ни сомнений. Со своего пути они убирают личность человека, причем цену этой личности определяют, с равнодушием скотобойца, стоимостью пули. Содержать *личность* в тюрьме они находят излишней роскошью. Ленин себя и своих приверженцев называет профессиональными революционерами. Катехизис ленинцев — усовершенствованный катехизис садиста Нечаева. Начав с убийства одиночек, ленинцы приступили к убийству миллионов. Некогда была заповедь: «Не убий». Они объявили свою заповедь: «Убей». Так что ошибка называть партию Ленина — коммунистической партией. Определение должно быть другое: «Чекистско-коммунистическая партия». Ведь это же сам Ленин объявил закон: каждый хороший коммунист — обязан быть хорошим чекистом. Пора вещи называть своим именем! *

---

* Когда книга была готова, появился первый номер журнала «Новый мир» (Москва, 1969 г.) и в нем, на странице 266, в разделе «Коротко о книгах» вскользь брошено напоминание о ленинце-чекисте Дзержинском. О том, например, что Дзержинский сказал: «У чекистов... чистые руки»...

«Новый мир» не приглашает воспринимать это сатирой... «Новый

— И отключить «чекистско-коммунистическую партию» от гуманизма? — усмехнулся Решков. — Что ж . . . допустим, вы правы. Но неужели вы начисто отвергаете и принесенную Октябрем культуру?

— Культуру? О какой культуре вы говорите?

— О марксистско-ленинской, — не совсем уверенно ответил Решков.

— А вы убеждены, что такая существует?

— Мне хочется быть убежденным, чтобы . . .

— Чтобы, — подхватил Кулибин, — хоть чем-то успокоить свою потревоженную совесть. Вы пробуете — но у вас ничего не получается. И вы знаете, почему не получается. И я знаю. Я не пытаюсь что-то доказывать, я просто свидетельствую: спутаны разные понятия. Одно подменяется другим. Ваша партия, поставляющая «хороших чекистов», совершенно зря толкует о марксистско-ленинской культуре. Такой культуры не может быть. Чекистам вообще не нужна культура. Им нужна ленинская цивилизация. Им нужны пулеметчики, инженеры, надзиратели, коменданты, сотрудники Лубянки, командиры карательных отрядов.

— Нужны, выходит, такие . . . такие, как я . . . как Решковы Леониды Николаевичи.

— Да, — спокойно подтвердил Кулибин. — И они у вас есть и будут в достатке. Обучить пулеметному, шоферскому, чекистскому делу не так уж трудно. Но это не культура. Между прочим, во время Первой мировой войны во французских частях были зуавы. Французское командование явно радовалось, что из этих примитивных, полудиких африканцев весьма скоро получились прекрасно обученные искусству убивать людей из очень сложных машин, называемых скорострельными винтовками и пулеметами. Французов это устраивало, но французы никогда не заикались о том, что зуавы приблизились к культуре. Их приобщили к цивилизации, а цивилизовавшись — они стали жестокими, отличными и, главное, не рассуждающими и хладнокровными убийцами. Цель была достигнута. Кстати, вспомните свой

мир» ничего не говорит о «культе личности», о XX съезде КПСС . . .

«Новый мир» воспроизводит совет Дзержинского действовать так (дальше слова Дзержинского): «Чтобы массы видели, что мы не дорвавшаяся к власти ради личных интересов каста».

Признание замечательное! Но самое же главное (опять слова Дзержинского): «ВЧК — это орган ЦК партии» . . .

Знак равенства поставлен. Всё ясно!

собственный Октябрь. Кто утвердил его и кто привел к власти вашу партию, партию Ленина, или, по ленинскому выражению, «партию профессиональных революционеров»? Вы, конечно, тут же начнете протестовать, скажете, что Дзержинский, Лацис это, всё-таки, не африканцы. Согласен. После такого моего согласия вы добавите, что Россия кинулась в революцию «за землю, за волю, за лучшую долю». Под знаменами Октября. И что знамена эти были в руках Ленина, Дзержинского, Троцкого, Лациса. Тоже согласен. С напоминанием, что от этих знамен отшатнулись бросившиеся к земле, воле и лучшей доле. Вы знаете, что сам Октябрь превращался в абстракцию. Но не превратился! — можете вы воскликнуть, Леонид Николаевич. И я опять с вами соглашусь. И соглашаясь — утверждаю: не Россия создала Октябрь! Она тут ни при чем. Считать Октябрь русским нельзя. Октябрь — дело чужих рук. Дело *цивилизации*. Ленин, Дзержинский, Сталин (это только отдельные имена) быстро поняли, что разбежавшуюся Россию можно вернуть под знамена Октября силой, чуждой России. Ну, там, венгерскими, латышскими, китайскими, чешскими и прочими интернациональными, чекистско-карательными частями, полками, дивизиями, расстреливавшими Россию в розницу и оптом. Да вы и сами знаете, что фундамент Октября заложили китайцы. Венгры и прочие — достраивали его. А китайцы? Откуда они взялись? Вам ли, Леонид Николаевич, объяснять, что во время Первой мировой войны Россия ввезла сотни тысяч китайцев . . . как это делала и Франция со ввозом африканцев. Но Франция приспособила африканцев к искусству убивать немцев. Россия ввезла китайцев для другой цели: для рытья окопов против немцев. Китайцы занимались земляными работами, весьма не сложными, чаще всего обыкновенными лопатами. Китайцев радовала затянувшаяся война: не надо ложиться голодными спать. Пока война — идет казенная пища и серебряные рубли, вручаемые царскими чиновниками. Всё ясно: «Моя работай — твоя плати». Эту психологию китайцев «моя работай — твоя плати» учли деятели Октября, уже готовые было побросать свои знамена. Деятели увидели спасение в китайцах. Они обучили их искусству владеть русской винтовкой образца 1891 года и револьвером наган. «Моя плати, — сказал Октябрь китайцам, — твоя стреляй». И вы двинули против России обученных китайцев, и китайские части стали первыми и отборными вашими отрядами, показавшими последующим чекистским полкам, как надо наводить ужас жестокостью и

хладнокровным убийством. Вот кто привел к победе того, что называется «русским Октябрем», солнцем мирового коммунизма, согревающим «нового человека». Китайцы, Леонид Николаевич, стояли у колыбели вашего «нового человека». Поблагодарите их за это и перестаньте говорить о культуре.

Решков как будто бы собирался возразить Кулибину, но в этот момент раздался телефонный звонок . . .

— Что? — с некоторой тревогой спросил Решков. — Хорошо. Через десять минут буду.

Повесив трубку, Решков сказал:

— Владимир Борисович, не уезжайте. Я вернусь скоро. Подождите. К тому же — и поздно. Мы еще поговорим. А спать . . . ну, вот на этом диване. Хорошо?

И он ушел, необычно крепко пожав руку Кулибину.

Ковры, уют квартиры, часы, в чуткой тишине уверенно зачеркивающие секунды — всё это теперь воспринимал Кулибин как-то по-новому. Вот только что был здесь Решков со своей судьбой, и эта судьба бросала тени на всё, вплоть до тщательно навощенного паркета, на котором, так казалось Кулибину, еще должны храниться чьи-то следы, чужие, посторонние, никакого отношения не имеющие к сегодняшнему дню.

Разрозненные, мельтешащиеся мысли Кулибина были настолько сбивчивы, что он сам, при всем своем желании, не смог бы их восстановить. А когда, видимо в полночь, вернулся Решков, Кулибин не сразу пришел в себя и даже с удивлением взглянул на хозяина.

— Мне пришлось задержаться, Владимир Борисович, — сказал Решков. — Себе я налью водки, а вам . . . выпейте и вы, вот этой безобидной водички, некогда называвшейся «церковным вином».

— Выпью, — улыбнулся Кулибин. — Меня, ведь, тоже надо причислять к тому «некогда».

— Может быть, — согласился Решков. — Даже наверняка: вы из того «некогда» смотрите на меня, и на сегодня. А сегодня . . . Нет, я вам подробно расскажу, Владимир Борисович. Для ваших блокнотов . . . для той . . . ну, той, еще не написанной книги. Вот что случилось недавно, несколько часов назад . . . Вы готовы слушать?

Кулибин кивнул головой.

— Сперва справка, — начал Решков, — о том, что ВЧК была довольна работой Медведева, начальника московского уголовного розыска. В особенности его ценил Петерс. Как-то докладывая Ленину о положении в Москве, да и во всей

стране, Петерс сказал, что если бы можно было бы найти по одному такому, как Медведев, на каждый город бывшей Российской империи, то дело Октября восторжествовало бы в ближайшие месяцы. Вспоминая об этой беседе, Петерс не забывал добавлять, что нужно «найти по одному Медведеву на каждый город». И вот произошло событие. Сегодня. Недавно. Петерс нервно шагал по своему кабинету, пробуя воспроизвести то, что случилось в том самом уголовном розыске, которым руководил Медведев. Но восстановить всю картину события не удалось. Известно было лишь то, что один из лучших агентов, Атаманчик, застрелил помощника Медведева, двоих сотрудников ранил, четвертую пулю послал в Медведева, но промахнулся.

«Вот тебе и хваленый МУР! — выругался Петерс, и открыв дверь своего кабинета, крикнул: — Дежурного!»

Дежурный появился немедленно.

«Уполномоченного по МУРу — ко мне. Понял? — стучал кулаком по столу Петерс. — Сюда . . . В кабинет!»

Дежурного уже не было, но Петерс всё еще продолжал бушевать. Когда же раздался стук в дверь, он, словно забыв о своем распоряжении, со злостью спросил:

«В чем дело?»

Стук прекратился.

«Да входи же!»

В полуоткрытой двери стоял дежурный.

«Что? — спросил Петерс.

«Уполномоченный МУРа прибыл».

«Давай сюда!»

Когда уполномоченный вошел, он увидел своего начальника, углубившегося в чтение каких-то бумаг.

«Явился по вашему распоряжению, товарищ Петерс».

«А, это ты! — Петерс поднял голову. — Садись! Что там такое у вас стряслось? И где твой глаз был?»

Уполномоченный принялся рассказывать. Прежде всего об агенте Атаманчике.

Ну, конечно, Владимир Борисович, уполномоченный не забыл напомнить Петерсу, что Атаманчик и раньше роптал на жестокость допросов и, даже, осмеливался ворчать, что выносятся ненужно дикие приговоры.

«А ты знал об этом? — спросил Петерс уполномоченного. — Ага! Знал! Так почему же твой Атаманчик ходил по земле? Что? Крестьянский сын? Выглядел преданным? Много их таких, которые *выглядят*. Что? Атаманчик скрылся? Ага! Ви-но-ват . . . Теперь «виноват», когда гад выскочил из рук!

Ладно, ладно, — уже более милостиво сказал Петерс, — сиди! и выкладывай подробности».

А подробности, — продолжал Решков, глядя в глаза Кулибина, — примерно, таковы. В подвалах МУРа — полным-полно. Медведев всегда сам проверяет списки арестованных. И крестиком отмечает офицеров. Чтобы самому посмотреть на каждого. Перед ликвидацией. И на этот раз, Владимир Борисович, Медведев не изменил своему *принципу*. Вот и вводят к нему одного. Такой . . . корнет. А Медведев перед ним стоит, нагайкой по голенищам своих сапог хлопает. Ну, тут, конечно, и сотрудники. И Атаманчик. Медведев и спрашивает. вроде бы по-дружески, негромко:

«Офицер?»

А тот в разодранном мундире стоит.

«С рабоче-крестьянской властью не имеете желания беседовать?»

Корнет молчит. Медведев, сунув нагайку под мышку, сделал два шага и вытащил пистолет. Так с пистолетом в руке, он некоторое время любовался окровавленным лицом офицера, а потому придвинулся к нему вплотную и ткнул дулом в подбородок. Офицер всё-равно молчит и глаз не поднимает. Сколько так продолжалось, Владимир Борисович, не знаю. А вот дальше всё пошло быстро.

«Жалеешь, господин офицер, что нету у тебя пистолета?» — спросил Медведев.

«Так точно, жалею», — ответил корнет и впервые посмотрел на Медведева.

Тот прямо задохнулся от неожиданности.

«Повтори еще раз, ваше благородие! И руку к козырьку приложи . . . Как на рапорте полковнику».

Корнет, Владимир Борисович, слово в слово повторил, но руки не поднял.

«Козыряй, белая сволочь!» — крикнул Медведев.

Здесь-то и впутался Атаманчик и тоже закричал:

«Товарищ Медведев! Не надо! Ему руки перебили на допросе! Что вы делаете?»

Не успел Атаманчик закончить говорить, как Медведев всадил пулю в корнетскую голову . . . А дальше, Владимир Борисович, и всё остальное.

— Что остальное? — спросил побледневший Кулибин.

— Ну . . . такое. Атаманчик выхватил маузер и . . . и, надо думать, в маузере было всего только четыре патрона. Паника, понятно, поднялась. Дело ночное. И в панике исчез Атаманчик.

— Всё? — спросил Кулибин.

— Всё. Да, пока всё, — ответил Решков и посмотрел на начавшие светлеть окна, в которые входило обыкновенное, очередное утро. Утро превратится в день. Потом пойдут другие дни, составятся недели. Жизнь, в общем, будет продолжаться, и Решков даже не заметит, как сложно станет думать — —

СУХОДОЛОВ О СЕБЕ, О РЕШКОВЕ, ОБ ИРИНЕ И КСЮШЕ

Сколько уже раз Решков, судорожно ломая пальцы, признавался Суходолову в своей любви к Ирине, дочери полковника Мовицкого. Дошло до того, что Решков однажды показал выцветшую фотографию и прошептал:

— Это она — Ирина. Если бы ее найти, Семен Семенович. Если бы только найти!

— Ну и что? Ну, нашел бы! А дальше что?

Решков опустил голову, наполненную шумом пьяных мыслей. Он о чем-то говорил. Слова и фразы, скачущие, непонятные, кололи Суходолова.

— Подумаешь, — сказал он. — Привязался к бабе и разыгрывает какую-то любовь.

— Что? Разыгрываю? Ах да! Разве тебе понять! У меня Ирина! Для меня она — всё! А у тебя? У тебя Ирины не было и не будет.

— Ты взаправду так думаешь? — дернулся Суходолов.

Вместо ответа Решков взял стакан и поднес его к губам. Суходолов холодными, ненавидящими глазами следил за каждым движением Решкова. Ему хотелось выбить стакан из его руки, сказать, что у него, у Семена Семеновича Суходолова, была Ксюша, мельникова дочка, и что она была для него *всё*.

Но он промолчал, сберёг это в своей душе, для себя, искоса разглядывая уже совсем охмелевшего Решкова, мучительно искавшего фраз, которыми, видимо, можно было что-то доказать или в чем-то оправдаться. Но такие фразы ускользали, прятались, тускнели, и Решков беспомощно прошептал:

— Мне бы след ее найти . . .

«А Ирину он любит», — подумал Суходолов, и тут же вспомнил свою Ксюшу, свою былую радость. Воспоминание

вызвало тяжелое сердцебиение и желание отомстить то ли себе самому, то ли Решкову.

— Слушай, Леонид Николаевич, — почти шепотом произнес Суходолов. — А что бы ты сделал, если бы напал на след Ирины?

Решков вздрогнул и, казалось, сразу протрезвел.

— Что?

Давным-давно накапливающаяся ненависть прорвалась. Суходолов не удержался и спросил:

— Помнишь, Леонид Николаевич, Семыхина? Агента?

— Ну . . .

— Вот Семыхин . . . Когда я впервой узнал от тебя и о Мовицком и об Ирине, я приказал Семыхину разыскать Ирину. Приказал, а для чего, теперь и сам не помню. След Ирины он не нашел, зато обнаружил Ольгу. Ты, ведь, знаешь: она была горничной у Мовицких. Так что Ольга может знать об Ирине.

— Ольга? — растерянно спросил Решков. — Где она? И что?

— Где она, я подробно знаю, Леонид Николаевич. А что она? Тут, понимаешь . . . стала эта Ольга . . . стала, значит, красноармейской потаскухой.

— Что? Ольга?

— Вот тебе и «что». Она самая что ни на есть . . .

— Молчи, Семен Семенович! Вези к Ольге. Пусть укажет след Ирины.

— След она может и не указать, — махнул рукой Суходолов. — Откуда ей знать, куда девалась Ирина? А ехать? Стоит ли? Или тебе интересно заглянуть в минулое? Увидеть, во что превращаются люди? Да только сегодня уже поздно. Видишь — ночь!

Обо всем этом нехотя и вяло говорил Суходолов, а Решков и не догадывался, что в словах того, кого он считал своим другом, скрывалась давно подготавливаемая месть, расчетливая, как выстрел из засады.

У Суходолова нет ничего, что вещественно восстанавливало бы *Ксюшу.*

У Решкова — есть выцветший снимок, на котором *Ирина.*

«Ксюша—Ирина . . . Ирина— Ксюша . . . Ксюша» — снежным бураном завертелись эти два имени. Буран — жизнь. Надо принимать эту жизнь, или отказаться от нее, так, или почти так думал Суходолов, очень ярко представив себе, что

вот тут — в эту минуту — он может сказать одно лишь слово, и Решков возьмет пистолет, чтобы раз и навсегда перечеркнуть себя.

Он даже испугался, что Решков легко уйдет из жизни. Чтобы предотвратить это, Суходолов вяло протянул руку к бутылке с водкой, и Решков, конечно, опять не догадался, что и это — продолжение начатой Суходоловым игры, приведшей к тому, что утром следующего дня они оказались в районе Хамовнических казарм.

Оставив автомобиль в каком-то переулке, дальше они двигались пешком. Проводником был Семыхин.

— Ты уверен? — спросил Суходолов. — Ольга здесь?

— Да, тут. Деваться ей некуда. Пусть обслуживает революцию, — усмехнулся Семыхин. Он хотел было еще что-то добавить, но его остановил Решков:

— А какая она . . . Ольга?

Семыхин обрадовался вопросу.

— Из этой горняшки, товарищ Решков, такую сделали панельную девку, что . . .

— Ну, ты! — толкнул Суходолов Семыхина. — Заткнись!

Семыхин испуганно отшатнулся и торопливо зашагал.

Уже начали попадаться группы конников. Около одной из них остановился Семыхин, о чем-то перекинулся двумя-тремя фразами с командиром взвода, на голове которого была уланская бескозырка, на плечах — английский мундир, на ногах гусарские рейтузы и отличные офицерские кавалерийские сапоги. После этого Семыхин вернулся к Решкову и Суходолову и сказал:

— Она вон там. Видите: красноармейцы рогочут.

— Ольга? — спросил Решков.

— Она. Да и других хватает.

Они подошли к толпе. Красноармейцы по отличным костюмам Решкова и Суходолова сообразили, что перед ними «ответственные товарищи» и расступились.

Решков сразу увидел Ольгу. Ольга его узнала. Потерянно оглядываясь, она вроде бы пересчитывала чужие, смеющиеся над нею глаза. Глаз было много. Глаза издевались над ее загубленной, в грязь затоптанной жизнью.

Начни Решков хохотать, Ольга осталась бы спокойной. Но он рассматривал ее с ужасом. Этого она не смогла перенести.

— Злодей! — по-деревенски завопила Ольга, и в этом истерическом вопле была ее обида за судьбу, превратившую

ее в солдатскую девку, которую брал, кто хотел, торгуясь, дать ли ей полпайки или только четвертушку хлеба. Чаще всего с ней расплачивались четвертушкой, но бывали и такие, что пинали ее, лежащую, носком красноармейского ботинка и спокойно уходили прочь.

— Злодей! Сволочь! — вопила она, выплёскивая всё, самые непотребные слова, которым обучилась с тех пор, как пошла *по рукам.* — Ты меня искал? — уже прямо обращаясь к Решкову, визжала Ольга. — Ага! Ты бы отца своего поискал, да удавил его, — в ярости кинулась Ольга к Решкову.

Хохочущие конники схватили ее за руки.

— Пусти! — кричала она, вырываясь. — Ты чего здесь? Любуешься? Отца своего найди и на него полюбуйсь! А ты... Кто тебя подобрал, и пригрел, и в люди выводил? Помнишь, сволочь, кто выводил тебя в люди? Ага! А ты чем отплатил господину полковнику? А меня... Ты помнишь, что вытворял надо мною твой теперешний охранник Семыхин? Ага! А ты стоял и смотрел. Ага! И папироску курил.

Теперь ее никто не удерживал, да она никуда и не рвалась. Растрепанная, с посиневшим лицом, с тощей, вывалившейся из разодранной, грязной блузки грудью, она сидела на захарканной земле и совсем негромко, вяло бросала тяжелые, как бы язвой покрытые слова.

Какие-то посторонние, только что пришедшие из другого эскадрона, отшатнулись, пропуская Решкова.

— Ты всё свое выложила, — глухо сказал он. — А теперь пойдем.

И они действительно ушли. Хотя ничего такого исключительного не произошло, все с испугом смотрели им вслед и только один Суходолов стоял, опустив голову.

Семыхин не ожидал, что всё закончится так скучно. Стоило из-за этого тащиться сюда? Подумаешь — историческое событие! Полюбовались, значит, как Решков подхватил Ольгу и потащил к автомобилю.

Вспомнив об автомобиле, Семыхин встрепенулся и взглянул на Суходолова.

«Прямо малохольный, — подумал Семыхин. — Да и Решков. Далась им эта девка».

Он со злостью плюнул, хотел было выругаться, но еще раз посмотрев на Суходолова, сообразил, что дело тут, видимо, не в Ольге. Догадка так его встревожила, что он таинственно зашептал:

— Слышь, стоять нечего. Действовать надо!

— Что? — Суходолов повернулся к Семыхину. — Ты свое отдействовал. Можешь смываться!

— Как смываться?

— Ты еще здесь, сволочь! — крикнул Суходолов.

На этом и закончился их разговор. Они, уже порознь, покинули Хамовники и, конечно, не знали, что в это же самое время Решков доставил Ольгу на другой конец Москвы. Там, в домике какого-то многосемейного рабочего, он поселил ее. О чем говорил Решков с Ольгой, как удалось ее успокоить и убедить остаться в полутемной каморке — об этом Автор не находит нужным рассказывать, хотя не умолчит о том, что Ольга, обессилевшая от слез, открыла ему место, где должна — по ее сведениям — находиться Ирина Мовицкая.

Сам по себе внешне незначительный — этот эпизод ускорил развитие последующих событий, для понимания которых нужен рассказ — —

О МОХОВЕ И О ТОМ, ПОЧЕМУ ЕМУ ДОВЕРЯЛ РЕШКОВ

Решков уже давно приметил, что через какие-то определенные интервалы, этак, примерно, раз в неделю, у него появлялась непреоборимая потребность говорить и говорить, говорить бесконечно долго, до полного упадка сил. А как только такая потребность возникала, он уже знал, что пойдет к Мохову, к этому особоуполномоченному, своему помощнику, и там, в его холодной и грязной квартире будет пить водку, разглядывая лицо хозяина, чем-то напоминающее лягушку, будет говорить и говорить, и всё о том, о чем так откровенно никому и никогда не говорил.

То же самое произошло и в этот вечер . . .

Уже опьяневший, Решков щурился и из-под нависших бровей следил за глазами Мохова, словно надеясь открыть в них растерянность и недоумение. Но Мохов привык к этим неожиданным визитам. Ничего особенного в них он не видел, да и признания Решкова воспринимал как-то удивительно спокойно. Может быть потому, что ценил доверие Решкова, а может быть и потому, что боялся Решкова и перед его властью чувствовал себя совсем беззащитным и ничтожным.

Он опять наполнил стаканы водкой и один из них придвинул к Решкову. Тот взял стакан и, держа его в руках,

продолжал сыпать словами, словно торопился рвать себя на куски, каждый кусок разглядывая внимательно и с пристрастием.

— Я, Мохов, люблю сидеть у тебя. Потому что ты верный, как могила. Меня ты не продашь. А почему? Знаю я, Мохов, почему не продашь. Не будет Решкова, не станет и Мохова. Потому и не продаешь. И водкой поишь, и всё внимательно слушаешь, чтоб услышанное навеки в себе похоронить. Разве неправда? — спросил Решков и, махнув рукой, ухмыльнулся. — Ладно. Не отвечай! Ты всё обо мне знаешь. И про старика полковника, которого все любили, а пуще других — дети. Он, этот господин полковник, был совсем слабым, а всем казалось, что жизнь сама его поддерживает, бережет, как память людскую. Это я к тому, что позади было время, когда полковник у Путиловской сопки на японцев в штыки ходил. Но жизнь, понимаешь, его хранила. А вот от меня — не уберегла. Понимаешь?

— Понимаю, — ответил Мохов. — Сознательность понимаю. Вот и меня... За *сознательность* меня в чека *исполнителем* поставили... Вы сами знаете, товарищ Решков, что это такое. В штатном расписании должности «исполнителя» нет. Потому что каждый чекист в любой час готов расстреливать не только того, кого повернут к нему затылком, то есть кого он не знает, но и готов пустить пулю в отца и мать, в брата и сестру. И я, товарищ Решков, доверие оправдал. У меня, знаете, был непрерывный рабочий день. Выпивки и закуски — завались. Вот так, пьяным, и стрелял тех, кого тройки скидывали на мои руки. Сегодня сто, завтра двести. Норму всё время прибавляли, ну и, понятно, в один раз закружилось всё передо мною, и я... Как это стряслось — не соображу! — я с пьяных глаз не в чужой затылок, а в самого себя стрельнул.

— Стрельнул? — спросил Решков и подняв голову посмотрел прямо в глаза Мохова.

Мохов растянул свои тонкие губы в омерзительно пьяной улыбке и ответил:

— Стрельнул.

И вдруг, чего раньше никогда не бывало, перешел на «ты».

— Это дело простое. Так что не бойсь, товарищ Решков. Придет время, может и ты сам в себя стрельнешь. А я — что? Меня, понимаешь, вылечили. Орден дали. И я опять приступил к своей должности. Раз впереди мировая революция — всех стрелять надо.

Всё это говорил Мохов до того пьяным голосом, что Решков даже удивился. Сам уже несколько отрезвившийся, он, как это свойственно алкоголику, способен был насмехаться над угоревшим от излишне проглоченной водки.

— Значит, — прищурившись спросил Решков, — во имя мировой всех подряд щелкать?

— Всех! — охотно согласился Мохов. — И буржуев, и белых, и . . .

— И красных, — подсказал Решков.

— Без исключения, — пьяно мотнув головой, хрипло прошептал Мохов. — Под . . . ряд . . . всех . . . в порррядке . . . живой очереди.

Решков схватил стакан. В нем почти не было водки, но стоило лишь выпить остаток, всё как-то качнулось, и Решков сунул руку в карман и нащупал пистолет, но вытащил его несколько позже, после того, как обвел глазами пустую комнату и стол, на котором крошечным ручейком и чуть заметно двигалась пролитая водка.

Решков долго рассматривал задремавшего Мохова . . . Потом сунул пистолет в карман.

Эпизод? Да, страный эпизод, в общем — случайный и ничего не объясняющий. И потому что он «ничего не объясняющий», Автор и предпринимает попытку разобраться, почему Решков превратил Мохова в наперсника, в доверенное лицо, без которого, так казалось, не мог обходиться.

Конечно было время, когда Автор в недоумении поднимал плечи, мучительно ломая голову над вопросом, почему Леонид Николаевич Решков, которого сам Председатель окрестил «одним из лучших большевистских якобинцев», приблизил к себе Кулибина, этого «бывшего человека», ходом исторических событий отброшенного в сторону.

Потом, хотя и далеко не сразу, Автор понял, что тут загадки нет. Всё стало ясным в тот момент, когда Автор убедился, что за внешне здоровым Решковым стоит другой Решков — исковерканный и озлобленный. Такой Решков уже не мог жить без ненависти и без мести. Месть была ненасытна. Потом Решков почувствовал, что его уже не удовлетворяет расправа с теми, кто оказывается в подвалах Лубянки. Лубянка — это только машина истребления, действующая безотказно, но совершенно равнодушно. Она расправляется с посторонними, чужими людьми, не имеющими никакого отношения ни к Решкову, ни к его озлобленности за свое собственное падение.

Мысль об этом и привела Решкова к той границе, за которой начиналась хладнокровная, расчетливая месть тем, с кем ему, Решкову, суждено было связать свою жизнь.

Так в эту жизнь вошел Кулибин. Когда и почему это случилось, Решков не особенно даже помнил. Сохранилось лишь робкое признание, что с появлением Кулибина возникла возможность хоть на какие-то минуты укрыться ему, Решкову, в сочувствие душевно-светлого человека.

Решков, конечно, сознавал, что Кулибин ничего не может изменить, и всё-таки тянулся к нему, как тянется к солнцу трава, хотя над нею уже занесена коса.

Ему был нужен Кулибин, чтобы перед ним — в порыве самобичевания — в самом себе найти отблеск чего-то человеческого. Точно так же нужно ему было и воспоминание об Ирине, единственное, что сохранилось от той жизни, к которой нет и не может быть возврата.

Но и живой Кулибин и возникающий образ Ирины — уже не могли переиначить судьбу Решкова. Признав это, он ухватился за наркотики, незаметно и всё глубже погружаясь в мрак подсознательных инстинктов, среди которых не последнее место занимала месть тем, кто, собственно, и не был виноват в его моральном падении.

Зачем, казалось бы, нужен ему чекист Мохов? Но приметив, что этот Мохов принимается за любое задание со сладострастием ожесточенности, Решков вызвал его к себе, и после разговора установил, что поступками Мохова руководит не преданность идеям Октября и Ленина, а самое голое человеконенавистничество. Сам Мохов, понятно, об этом не заикался, предпочтя высокопарно доказывать, что лишь служение *новому* миру, миру сияющему и светлому, в котором . . .

Тут Решков, еще не зная для чего всё это, расхохотался и, хлопнув Мохова по плечу, сказал:

— Понимаю! В котором — всё и обо всех и обязательно будут знать. На предмет принятия предупредительных мер. Профилактических. Присмотрелся: в том, вот, Достоевский обнаруживается и собирается писать «Идиота». Достоевского, само собою разумеется, своевременно, без лишнего шума, без огласки, тихо, как паршивое, нарушающее стандарт нашей *новой* жизни существо — из стада прямиком в подвал. Раз и навсегда. Чтоб всё было чисто и гладко. Чтоб всё на полочках, пронумерованное и проверенное. Из стремления к высшему благу не только нашему, но и детей наших.

— А что ж... что ж! — захихикал Мохов, и вот тут Решков по-настоящему, с удивившей его отчетливостью, увидел плоско-растянутые, гнусные, прямо лягушачьи губы Мохова, и вспомнил, что того, за глаза, называли «жабой».

«И впрямь жаба», — с отвращением подумал Решков. Но чувство гадливости скоро исчезло, сменилось спокойным любопытством врача, в конце концов догадавшегося, что перед ним не просто жаба, а жаба, наполненная ядом ненависти.

Это открытие не прошло бесследно. Вначале маленькое, пустяковое, оно, постепенно, расползалось и своей безграничностью поработило Решкова. Стоило, например, ему вспомнить о Мохове, и он видел не его самого, а омерзительно растянутые губы. В конце концов, эти губы стали преследовать Решкова во сне, чудиться в темноте комнаты в тот момент, когда он откидывался в задумчивости на спинку кресла или дивана.

В один из дней, когда в особенности тяжело болела голова, ему вспомнились советы Кулибина полечиться или отдохнуть.

«От чего лечиться? — задал себе вопрос Решков, и тут же мрачно ответил: — от *этого* не лечатся».

Дальше, как бы признав собственное бессилие, Решков опустил голову и прошептал:

— Жаба... — еще раз повторив : — жаба, — он тут же и без связи со своими мыслями, представил себе изломанную судьбу Суходолова и стал наливаться яростью против самого себя, против всех, кто виноват в том, что он, Леонид Николаевич Решков, очутился в моральном тупике.

Из этого тупика ему не суждено вырваться. Ну и что ж, решил он однажды, с удивительной откровенностью взглянув на самого себя, как на психически больного, весьма ловко маскирующегося под личину человека с обычными и понятными колебаниями и сомнениями.

Но согласиться с тем, что он безнадежно болен, Решков всё-таки не мог. Он — и довольно часто — поднимал пласты своих переживаний и мыслей, кидался от хорошего Решкова к плохому, так и не находя границ, где кончается один и начинается другой. Весьма вероятно, что сознание невозможности разобраться в самом себе помогло Решкову постичь глубину ненависти Мохова к природе, наградившей его лицом *жабы* с синеватыми, расплющенными губами.

Потом, уже много позже, совершенно случайно заметив, что Мохов тревожно прищуренными глазами рассматривал самого себя в зеркале, Решков велел поставить в своем кабинете громадное, чуть ли не во всю стену, трюмо. В тот день, когда зеркало уже находилось в кабинете, Решков вызвал к себе Мохова, усадил его так, что тот, против своей воли, нет-нет да и встречался с собственным изображением в холодном стекле. Затем он стал приглашать Мохова уже не по делу, а просто поболтать.

— Садись! — восклицал Решков, протягивая руку. — О пустяках потолкуем. Надо, ведь, и отдохнуть!

Мохов, улыбаясь, садился, не подозревая, что звали его сюда для очередного и дикого эксперимента: Решков, начав шутливый разговор, нарочно поднимался из кресла и сделав несколько шагов, останавливался. Мохову приходилось поворачиваться и невольно натыкаться глазами на своего зеркального двойника.

Это была казнь для Мохова. Его муки увеличивались еще и потому, что Решков, подолгу стоя посреди кабинета, с оживлением рассказывал о своих встречах с интересными людьми. Чаще всего это были выдуманные истории, но в них обязательно жили и двигались люди с умными глазами и с благородным выражением лица.

Это была пытка словом. Когда она достигала предела, Решков любезно прощался со своим гостем и потом, когда тот исчезал за захлопнувшейся дверью, выходил на балкон и сверху следил за Моховым, шагающим по улице. В этот момент Мохов, так думал Решков, во всех случайных прохожих видит своих врагов.

Мир развалился на две части. Где-то рядом существовал еще и особый мирок, без которого нельзя себе представить ленинский Октябрь. В нем, в этот третьем, маленьком мирке, происходили события, имеющие отношение к судьбам героев «Моли».

Кой-кому эти события могут показаться случайными и не особенно интересными, но с таким взглядом Автор не соглашается и потому воспроизведет сохранившиеся заметки о том, как произошла — —

РАСПРАВА ОШАЛКИНА С «ЦАРИЦЕЙ ТАМАРОЙ»

— Да не хнычь ты там, — крикнул Ошалкин. — Я, ведь, знаю, с чего ваш скулёж идет! Хотите помянуть — так по-

мяните. В полный голос. Чего там! Ну — была. А теперь . . .

В углу мрачного подвала, еле-еле освещаемого керосиновой лампочкой, замолчали. Потом, в тишину, вплелся молодой, упругий тенорок. Тенорок повел, а за ним пошла, поплыла разухабисто грустная песня, иногда снижающаяся до трагического шепота.

Ошалкин сидел с закрытыми глазами.

Что же, не жилося,
Мурка, между нами?
Нехватало форсов, барахла?

Задумчивая, нервная пауза была короткая. Она, казалось, робко посторонилась, и в образовавшуюся пустоту ворвался тот же самый тенорок и опять повел за собой остальных.

Что тебя заставило связаться с лягашами
И пойти работать в губчека

Они пели обычную блатную песню тех времен. Родилась она, говорят, в гуще одесских портовых закоулков и словно вихрем была переброшена в самые далекие уголки России. Пели ее всюду, но здесь, в Москве, вблизи Сухаревки и в эту ночь, — она звучала отпеванием.

Приглушенные голоса не таяли. Они вились вокруг керосиновой лампочки, плели таинственный узор и, в конце концов, создали звуковую картину — смесь реальности, иллюзий и болезненного бреда.

Ошалкин, грозный Ошалкин, при имени которого поеживались чекисты и муровцы, сидел без движения. Не поднимая головы со сцепленных рук, он вспоминал всё случившееся в эти две недели, с того самого дня, когда получил *агентуру,* что о каждом его предстоящем *деле* знает оперативный отдел чека.

Ошалкин не сразу поверил этому. Только когда чекисты взяли его Ольгу, спрятанную в месте, о котором было известно лишь одной единственной Тамаре, за красоту получившей кличку «Царица Тамара», только тогда он убедился, что та переметнулась к врагу и стала работать на губчека.

Ошалкин еще ниже склонил голову. Что ж. Отходную поют «Царице Тамаре». Тот же самый тенорок ведет и играет молодым голосом:

Мы тебя любили —
Нежную такую . . .

Каждый был пройтись с тобой непрочь . . .
Многих уводила
Ты в омут за собою —
В голубую ветренную ночь . . .

Два дня назад всё было решено. После тяжелой бессонницы, с полным сознанием, что Ольга потеряна навсегда, Ошалкин подкрался к дверям Тамары и постучал условным стуком. Никто не ответил.

Ошалкин подумал, что Тамара *сорвала когти* и теперь прячется, может быть, в том же самом московском уголовном розыске.

Скрипнув зубами, он уже повернулся, чтобы уйти, в душе поклявшись «открыть» Тамару и посчитаться за всё. Но тут чуткое его ухо уловило едва слышное движение.

Ошалкин остановился. Прекратился и шорох за дверью.

— Перестань темнить! — сказал Ошалкин. — По делу пришел.

Ошалкин переступил порог и почему-то подумал, что с этого порога всё уже двинется по-иному, как-то удивительно быстро. Да и самого себя он почувствовал каким-то совсем другим, не таким, каким был до этой минуты.

Иным увидела его и Тамара. Слегка отодвинувшись и вроде бы приготовившись к чему-то неожиданному, она с деланным презрением воскликнула:

— А на тебя и глядеть страшно! Словно из могилы тебя, после трехдневного там пребывания, выволокли на показ. Такой ты . . . Уйди лучше! О шкуре своей подумай. Пока есть время.

Спокойно, будто шел обыкновенный полушутливый блатной разговор, он с ухмылкой ответил:

— Мне что думать? Шкуру мою портили и финкой, дырявили и пулей. Даже сравнительно часто. А что время еще есть . . . ну . . . времени может как раз и нет.

Тамара побледнела. Казалось, она не знала, куда девать свои руки. Потирая их, она отступила шага на два, поближе к маленькой двери в другую комнату.

— Да ты не спеши, — всё так же ухмыляясь бросил Ошалкин. — Погоди. Для разговора начистоту. А потом попрощаемся.

Он еще и еще говорил и внимательно следил за тем, как мертвенной синевой заливается красивое лицо Тамары. Потом он замолчал. Тамара стояла без движения.

— Выходит, не думаешь толковать со мною? — спросил Ошалкин. — Ну?

— Уйди, — дрожащими губами прошептала она. — О чем теперь толковать? Вижу, решил ты кончать со мной. Раз не уходишь, действуй . . . вот тут . . . принимайся, — теперь уже вроде без памяти шептала Тамара, вскинув голову как будто для того, чтоб легче было полоснуть ножом по ее горлу.

Разыгрывала ли Тамара опасную роль или в самом деле ей уже было всё равно, трудно сказать. Но ее рывок к гибели смутил Ошалкина: ему уже перехотелось делать то, ради чего он сюда пришел. Весьма возможно, еще немного постояв, он и захлопнул бы за собой дверь. Это, видимо, почувствовала Тамара и допустила непоправимую ошибку, вновь вообразив себя былой «Царицей Тамарой», способной выйти победительницей из любой схватки. Это не просто Тамара, это «Царица Тамара» взметнула изогнутые брови, из-под которых насмешкой блестели глаза.

— Чему радуешься? — растерянно спросил Ошалкин.

— Да по пустякам. Твою Ольгу вспомнила.

— Аах! — выдохнул Ошалкин. — Над ней смеешься? Она же ни к чему не причастна. И обо мне ничего не знает. А ты . . . ты — смеешься! Над Ольгой? Ах, ты . . . Теперь всё! Идем, или . . .

Что «или», он не пояснил. Он просто сунул руку в карман. По карману было заметно, что там, кроме кулака, есть и еще что-то.

— Идем! — хрипло приказал он.

— Зачем?

— Надо.

— Не пойду.

— Ты думаешь, я побоюсь шума? — спросил Ошалкин. — Так вот что: бояться мне уже поздно. Ну . . .

Тамара кинулась к маленькой двери, но добежать не успела и, конечно, не видела, как Ошалкин втиснул маузер в карман и спокойно вышел на улицу.

Так Ошалкин воспроизводил всё случившееся два дня назад, вслушиваясь, в теперь уже тоскливо замиравшую, песню:

Так тебя *смарали* —
Шухерную тыну . . .
Здравствуй, моя Мурка, и прощай . . .
Ты зашухерила

Всю нашу малину,
А теперь маслину получай . . .

Песня была окончена. Но молодому тенорку, видать, жаль было расстаться с нею, и он — для себя — с большой душевностью и тоской — вдруг ворвался в наступившую тишину:

А мы тебя любили —
Нежную такую . . .
Каждый был пройтись с тобой непрочь.
Многих уводила
Ты в омут за собою —
В голубую ветренную ночь . . .

Ошалкин вспомнил *ту* ночь. Тамара лежала у дверей небольшой комнатки, а он . . . он стоял в темном дворе какого-то заброшенного дома и смотрел на глубокий январский снег.

Восстанавливались почему-то самые пустяковые тогдашние мелочи. И негаданно всплывшая расхожая мысль о том, что в такую погоду даже худой хозяин собаку не выгонит под открытое небо. И многое другое, незначительное и скучное, такое серенькое вспоминалось, что стыдно становилось за самого себя, за то, что вот он, Ошалкин, на охоту за которым без удовольствия выходили чекисты и муровцы — испугался наводчицы.

Наводчицу он прикончил, но сразу вернуться в свой шалман не хотел, и долго дрожал на январском ветру, как собака, которую не худой хозяин, а он сам — Ошалкин — самого себя кинул в ту подворотню. И там думал, что неуютность подворотни от сквозняка, рвавшегося из незастекленной оконной проймы. От этой проймы он отодвинулся, втиснулся в тихий и черный уголок, и только когда спиной почувствовал отвратительную тяжесть ставшего мокрым пиджака, сознался, что первый раз в жизни выстрелил с некоторым опозданием.

Ошалкин, конечно, фигура не долговечная. И не потому, что он сам себя обвинил за сделанный с опозданием выстрел. И не потому, что стоял растерянным на сквозном ветру одной из московских подворотен.

Тут Автор, по необходимости, должен оторваться от года 1919-го и перескочить в нэп, когда Решков и Мохов — вдруг и таинственно — исчезли на продолжительное время.

Мохов, понятно, мог бы совсем пропасть, и этого не заметил бы Кулибин. Но Решков? Куда девался Решков — об

этом он задумывался и грустно качал головой. Он ему был близок, этот Решков. Без Решкова — часть души Кулибина оказалась незаселенной, пустующей и холодной.

Об этом как-то записал Кулибин на толстых страницах, вырванных из бухгалтерских книг, предназначенных для сухих цифр по счетам «Дебет» и «Кредит».

Кулибин, перечитывая свои заметки, шептал: «Вот и всё».

Но оказалось — не всё. Оказалось, что Решков вернулся. Откуда? .. Из Парижа. И не только вернулся, но даже привез с собою несколько бутылок отличного старого французского вина.

В эту встречу — душевную и теплую (был нэп) — Кулибину стала ясна — —

ОШИБКА ОШАЛКИНА, УПУСТИВШЕГО ДЕСЯТЬ МИНУТ, МОГУЩИХ ПЕРЕЧЕРКНУТЬ «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР»

— Пейте, — приглашал Решков. — Это хорошее вино. Я его привез из Парижа. Вы огорчались, что я пропал? Видите: не пропал. Я ездил туда с Моховым. Вы поднимаете брови и готовы спросить: зачем? Конечно, не за вином ездили. С деликатной миссией мы отправились в Париж. Как бы это позвучнее сказать? .. Ну, да, чтобы там найти священные для Октября реликвии: партийный билет Владимира Ильича Ленина, некоторые его записные книжки, документы с подписью Ленина. Об этих ускользнувших реликвиях я вам — полунамеками — как-то говорил. А сегодня . . . Знаете, я живу с предчувствием. что скоро и навсегда с вами расстанусь. Так что сегодня я вам расскажу поподробнее. Если не расскажу теперь, то, может быть, никогда не расскажу. А всё это так необходимо для вашей, еще не написанной, книги.

— Да и будет ли она написана? — задумчиво прошептал Кулибин. — Если вам кажется что будет, то . . .

— Да, мне кажется, — возразил Решков. — И знаете, почему кажется? Это о вас Мохов такого мнения. Вы, — я повторю слова Мохова, — вы, Владимир Борисович, беспартийная сволочь. Вы переживете всё и всех. И живите! Делайте вашу книгу. И меня не забудьте. Не в добрых словах и

не в молитве. Молитвы мне не помогут. Ну, тут уж я смеюсь. А вы живите . . . И поэтому . . .

Они чокнулись.

— Слушайте, — отставляя бокал, сказал Решков. — Вы должны помнить и о чекисте Атаманчике, и о многих других, и о знаменитом мстителе. Помните — Ошалкин? Его в двадцатом году расстреляли. Когда расстреливали царскую семью — этим Вождь не любовался. Когда расстреливали Ошалкина в подвале Лубянки — Вождь наблюдал через специально проделанное отверстие. Чувствуете разницу? Так вот — Ошалкин. В архивах чека — он под кличкой «Мститель». «Мститель» начался с мести за свою девушку, за Ольгу, выданную в руки чека известной на всю Москву блатной красавицей Тамарой, «Царицей Тамарой». Что с нею сталось, вы знаете. Но откуда вам знать, сколькими жизнями своих лучших агентов расплатилась чека за Ольгу? Ошалкин был неуловим. Он появлялся, как молния, и исчезал, оставляя после себя трупы и трупы. Лубянка дрожала перед Ошалкиным, как, в свое время, дрожала перед тамбовским Антоновым. Петерс, после захода солнца, не рисковал высунуться на улицу. И вот однажды, где-то в самом начале 1919 года, все отделения чека и все отборные части МУРа жили в напряжении: Ошалкин свирепствовал. Агенты чека и сотрудники МУРа, не успев появиться на каком-то углу Садового кольца. валились мертвыми. Так начал «священную войну» Ошалкин. Он проиграл эту войну. Но в этой войне, как и в любой другой, великолепно провел свою роль Его Величество Случай. Утверждают, ведь, что Наполеон важнейшую для своей судьбы битву упустил из-за банального насморка. Наполеон, видите ли, десять минут отмахивался от маршалов, на их просьбу двинуть в бой резервы гвардии отвечая визгливым чиханием в батистовые платочки, вышитые графиней Валевской. А вот в той войне, войне Ошалкина, Его Величество Случай, подбрасывал Ошалкину десять минут, могущих перечеркнуть «Десять дней, которые потрясли мир». Эпизод? Предположим. Но развивайсь по законам логики, о нем, об этом эпизоде, говорил бы весь мир, и этот эпизод вписали бы в историю России . . . как вписали Ивана Сусанина. Нет, нет! — воскликнул Решков. — Я согласен с вами, Владимир Борисович, что аналогия «Сусанин—Ошалкин» несколько неудачная. Но, без шуток, воспользуйся Ошалкин «десятью минутами», и в каком-то будущем могла бы появиться опера

«Ошалкин», отодвигая в тень устаревшего «Ивана Сусанина».

— Да! С чего я начал? С этого французского вина, которым вас угощаю. Вино — из Парижа. Но не за вином я ездил туда с Моховым. По другому и важному делу, связанному с той войной Ошалкина. С проигранной им войной. Ошалкин, как я говорил, закончил свою карьеру в подвале Лубянки, в 1920 году. А вот военные трофеи, попавшие в руки Ошалкина, очутились в Париже. Почему? Ошалкин их передал своему младшему брату, хорошему пареньку, не имевшему никакого отношения к бандитским делам. Мне даже кажется, — добавил Решков, — что этот мальчик, так же как и девушка Ольга, не подозревал, чем занимается старший Ошалкин. Младший — любил старшего, и выполнил данную клятву: никому и никогда не передавать документы с подписями Ленина, партийный билет Ленина и еще какие-то бумаги, захваченные «старшим» во время «священной войны» января-февраля 1919 года. Все — или почти все — «ленинские реликвии» перекочевали в Париж, куда я ездил и откуда привез вот это вино.

Кулибин внимательно следил за скачущей, не особенно связной, речью Решкова. Отрывочная и запутанная — воспринималась она занятной импровизацией, строчками, выхваченными из увлекательной новеллы.

— Я слушаю вас, Леонид Николаевич, — сказал Кулибин, — и теряюсь. Иногда мне кажется, что я вас отлично понимаю, потом . . . Простите: это не мистификация? Не простое желание посмотреть на человека, оглушенного перечнем маловероятных событий, чтобы затем улыбнуться над наивным слушателем?

Решков, видимо, не расслышал или не понял, о чем его спрашивают. Скользнув взглядом по лицу Кулибина, он продолжал говорить, совсем не интересуясь своим гостем. Казалось даже, что он беседует с самим собой.

— Ну, да, — каким-то отсутствующим голосом продолжал Решков, — вспоминается тот . . . который подвернулся однажды . . . и рассказывал мне, что он был в личной охране Ленина. Да. Он не нужен был мне, этот воняющий самогонным перегаром сукин сын, противный как блевотина на пороге. Я всё же мигнул ему, садись, значит, рядом. Было это в кабачке. Он сел, а я ему: «Пей, сколько хочешь». И опять подмигнул. Подмигнул, и рассмеялся. А смеялся . . . чтобы самому спрятаться за чужим падением, за чужой бедой. «Пей, — говорил я ему, — сколько хочешь пей». Хоть

и совсем ясно было, что ему не водка нужна, а обыкновенный, самый простой, кусок хлеба. Хлеба я ему не дал. А у пьяного — я узнал всё, всё выведал, все самомалейшие детали того *эпизода* с Лениным узнал. Ну, а потом . . . что ж потом? Да, пьяницу того ликвидировали. А сам я . . . У меня после того не раз наступали минуты сожаления о своей не сложившейся жизни, что ли, а может быть — и тоска о том, почему меня забывают ликвидировать? Ведь я тоже многое знаю. Многое, — повторил Решков, взглянув на Кулибина обыкновенными, зрячими глазами. — Понимаете, Владимир Борисович, многое знаю. И чтоб оно не пропало, я и тороплюсь рассказать вам, Владимир Борисович, для вашей, еще не написанной, книги. Мне самому . . . Вот вы уйдете, а я лягу . . . Такое бывает . . . Лягу, закрою глаза, и сам себя успокаиваю, что меня уже *нет*. А сердце бьется. Знаете, как у того, кто затаился и чувствует: идут по его следу. И что самое страшное: чувствует, чувствует этот с бьющимся сердцем, что не кто-то идет по его следу, а он сам крадется по следам своей жизни, чтобы, в конце концов, схватиться холодеющими пальцами за пистолет. Часто, очень часто я лежал так, с закрытыми глазами, ожидая воображаемого прихода самого себя. Я принимался считать от единицы. Когда доходил до тысячи, думал, что вроде бы уже пора. И никто не появлялся. Ожидание прихода было таким нудным, что я не выдерживал, опускался на четвереньки и поднимал лицо к чужому и совсем черному потолку, который люди почему-то называют небом.

Решков остановился и в недоумении спросил:

— К чему это я? Ах, да. Чтобы для вас, Владимир Борисович, восстановить тот *эпизод* января или февраля 1919 года, который мог бы повернуть историю России в другую сторону. Мог бы. Понимаете: мог бы! Этот поворот был в руках бандита Ошалкина. Какая проза, вы можете воскликнуть, и спросить, для чего она в сладеньком потоке легенд? Для сдирания сусального золота с октябрьского иконостаса, в центре которого Ленин? Новая религия. «Приидите поклонимся и припадем . . .» Кто против? Представьте себе: бандит Ошалкин. Почему? Потому, что муровские опричники схватили и уничтожили его девушку Ольгу. Любовь? Об этом могли бы рассказать Шекспир или Достоевский. Я — что? Я вам подбрасываю материал, заметку нужную для вашей будущей книги, эпизод, в который легко вплести блоковскую снежную вьюгу и «революцьённый держите шаг». «Революцьённый шаг» — лирика . . . или мифология.

А тут ... По снежным улицам Москвы двигался автомобиль, окруженный конвоем преданных, испытанных чекистов, китайцев, латышей, среди которых был и тот ... о котором я вам только что говорил. Ну, тот — потом голодный, которому я вместо хлеба наливал водку, чтобы услышать его исповедь ... Да ... В автомобиле сидел Ленин. Владимир Ильич. Он улыбался, предвкушая бурю аплодисментов после речи, которую через полчаса произнесет на каком-то историческом заседании. Но в эти минуты ни Ленин, ни его ученики, ни его конвой не знали, что где-то рядом, на соседних улицах, бушует Ошалкин. Ночь, московская снежная ночь висела над столицей. Ночь — только для чекистских отрядов и муровских патрулей. Москва, ведь, на военном положении. С шести вечера — обычная Москва обязана сидеть по своим темным, без света, углам. Для Ошалкина — законы не писаны! Он — не нуждается в пропусках. Он ведет войну. А на войне — как на войне: всё решает пуля. У Ошалкина радостно вздрагивает сердце: вон он — вдали — окруженный конвоем автомобиль. Свист. Сигнал. И отряд Ошалкина бросается наперерез, останавливает машину. Охранников — как ветром сдуло. В автомобиле несколько трясущихся, охваченных ужасом, человек. Выглядят они жалко. А где-то в стороне, в переулке, горячая стрельба. Там действуют ошалкинские ребята, загнавшие в темный двор чекистско-муровский отряд.

Ошалкину надо торопиться. «Ну, ну, поворачивайсь! — командует он. — Выгружай карманы!» На особенно жалкого и растерявшегося человечка направлена винтовка. Вот-вот раздастся выстрел. Ошалкин пренебрежительно бросает: «Погоди, не стреляй! Пошуруй в карманах» ... Шуровать не пришлось. Трясущийся человечек в бородке сам и торопливо вытаскивает из карманов всё, там находившееся: бумажник, записные книжки, какой-то сверток и ... и браунинг. Ошалкин смеется: «Эй, фрайеры, гляди — пистолет мне дают на память». Но в смехе Ошалкина растерянность: он не привык, чтоб ему добром отдавали оружие. Ошалкину скучно. Настоящее дело там, вдали, где стрельба. Там его люди расправляются с кем надо. И Ошалкин, презрительно ткнув кулаком в заросшую бородкой физиономию, выкинул хозяина браунинга из автомобиля. Бородка, дрожа от страха, лежала на грязном московском снегу и не видела, что автомобиль уже понес Ошалкина туда, в сторону выстрелов. Автомобиль попал на место в тот момент, когда бледно-снежную ночь потряс взрыв гранаты. В наступившей вслед

за этим тишине Ошалкину оставалось лишь спросить: «Закончили базар?» «Вчистую, — равнодушно ответил Барин и протянул пачку папирос. — Закуривай, трофейные». «На сегодня довольно», — сказал Ошалкин. Сказал, и ошибся. Потому что ровно через полчаса, сидя в притоне, узнал, что автомобиль, теперь принадлежащий Ошалкину, недавно принадлежал Ленину. В руках Ошалкина были партийный билет Ленина, разные его документы, записки и браунинг Ленина. Вот тут-то все поняли, что в их руках был действительно Ленин. Ошалкин схватился за голову, потом кинулся с пистолетом на того, кто приставил винтовку к бороде Ленина. «Почему не стрелял, гад ползучий?! — орал Ошалкин. «Да ты ж сам не велел! » — отбивался обвиняемый. Ошалкин сунул пистолет в карман, «Вира! Назад! Еще поймаем!» И автомобиль понесся опять в январскую московскую ночь, но поймать Ленина так и не удалось. Ему, со спутниками, посчастливилось добраться до какого-то дома и укрыться, недоумевая, куда девались охранники-чекисты. А тех словно ураган разнес по темным дворам: там они долго дрожали от страха, трусливым шёпотом проклиная мороз. Потом, убедившись в собственной безопасности, повыползали из убежищ и тронулись прочь от еще где-то щелкавших выстрелов.

Оправившиеся чекисты добрались, наконец, до ВЧК и доложили о невероятном событии: крупный отряд белогвардейцев напал на Владимира Ильича Ленина; силы были неравные; пришлось отступить.

Чекисты, правда. не объяснили, как мог появиться в центре Москвы крупный отряд белогвардейцев, высказав лишь предположение, что Ленин убит.

«Убит?!» — раздался вопрос.

«А вы что думаете!? — удивилась охрана Ленина. — Мы сами еле спаслись».

Решков замолчал. Потом тряхнул головой, словно стараясь избавиться от какой-то надоедливой мысли, и добавил:

— Вот вам, Владимир Борисович, эпизод . . . который мог стать поворотным пунктом в истории России. Что? Эпизод трудно втиснуть в рамки логики? Верно. Но эпизод был, он показал подлинное лицо героя и вождя Октября и . . . и преданность тех, кто служит Октябрю. Так что не сбрасывайте со счетов этот эпизод. Если хотите понять психологию *того* времени. А в книге, которая, возможно, будет вами написана, не забудьте . . . для историков, что ли, или для со-

бирателей исторических случаев: есть, ведь, и такие коллекционеры! — не забудьте отметить, что Младший Ошалкин, наивный подросток, сохранил все эти «ленинские реликвии», потом — уже став взрослым — перебрался в чужие страны и туда привез «реликвии», вплоть до партийного билета Владимира Ильича, который сам же Владимир Ильич, посеревший от страха, дрожащими руками, вместе с браунингом, передал Ошалкину-Старшему.

Что еще? Да, за этими реликвиями я с Моховым и совершил поездку в страну действительно хорошего вина. А вернувшись — доложил: реликвии существуют, но в чьих руках — ответа пока нет . . .

Поймав вопросительный взгляд Кулибина, Решков добавил:

— Всё, Владимир Борисович, как на сцене. Такой-то акт закончился. Такие-то герои выбыли из игры. Отсуетились, пошли снимать парики и смывать грим. Потом — завалятся в буфет, будут пить пиво или водку и скулить: скучно, Вася, тоска, Вася, изолгались мы, а впереди — следующая пьеса, опять парики и грим, и продолжение лжи . . . Но так только в театре. Герои в жизни играют роль однажды. И сыграв — уже навсегда уходят. Не забегая в буфет.

Решков говорил еще и еще, но уже вялыми, безразличными словами.

Сказав об этом, Автор должен сознаться, что появляющийся у авторского стола Собеседник как-то бросил ехидное замечание:

— Ну, вот, вы показали Решкова без грима и парика. Остается посоветовать вам более плотно втиснуть его в сюжет «Моли» . . .

Бессюжетность, по мнению Собеседника, мешает понять психологию людей и событий совершенно определенных дней. Но Собеседник был гостем тактичным, в общем приятным и полезным. И потому — —

АВТОР ПРОБУЕТ РАЗГАДАТЬ РЕШКОВА

Собеседник изучал жизнь . . . «Вы исследуете жизнь, — говорил ему Автор, — я — живу. В этом между нами разница. Я видел многое и перечувствовал это многое, и я в праве решать, как об этом рассказывать. Мне довелось, — говорил Автор, — побывать в местах, где дикая коза спокойно отдавала свое молоко козленку и на меня смотрела ласково не-

доумевающими глазами. Я снял свою заношенную шапку и поклонился. Коза мне кивнула головой. Может быть, она сгоняла муху, не знаю, но я нарочно думал, что это не так. Муха здесь ни при чем. Я хотел верить этому. Но мне нужно было уходить. Очень далеко идти, — говорил Автор, — хотя в назначенное место я не мог попасть. Но всё-таки двигался. Меня встречали и провожали деревья, молодые и старые. Были и совсем отжившие своё. Некоторые из них успокоились на земле. Другие, недавно упавшие, всё еще цеплялись за соседей, спасая остаток своих дней. Я тоже, — говорил Автор, — цеплялся за остаток своих дней, оглядываясь на недавно минувшее, когда знамена Белой армии были в мужественных руках, когда Тамбовская губерния полыхала Антоновщиной, когда крестьянские восстания умели рассчитываться с карательными полками и дивизиями, бросаемыми на Россию Лениным, Дзержинским, Троцким. Теперь что ж, — говорил Автор, — теперь всё притихло, съёжилось, затаилось, словно отдыхая перед повторением пройденного. Повторение пройденного тлеет в тайниках жизни, объевшейся диктатурой, грубой ложью обещаний и искусством, облачившимся в довольно-таки знакомую ливрею крепостного лакея».

Так воспринимая жизнь, Автору уже легко было — при поддержке своих записей и воспоминаний — восстановить образ Решкова, как-то кособочно думающего о том, что его жизнь — сплошная ошибка. Ощущение этой ошибки особенно сильно мучило Решкова в те минуты, когда он памятью возвращался к своему прошлому, в котором были и университет, и прочитанные книги, и уют квартиры полковника Мовицкого, и улыбка Ирины.

С чем он вошел в свое сегодня? С пустой душой. Он даже сравнил себя с таким нищим, которому почему-то никто и никогда не подаст куска хлеба.

Весьма возможно, что ощущение безнадежности и заставило его однажды заглянуть в древний собор, превращенный в антирелигиозный музей. Он всё и внимательно осмотрел, провел там почти целый день, но на улицу вышел еще более, чем прежде, придавленным и недоумевающим.

Потом, попав в какой-то парк, он сел на скамью, бессильно бросив руки на колени. Да, конечно, он еще молод, но почему он чувствует себя дряхлым, ненужным, пережившим самого себя и лишним?

Решков вздрогнул, восстановив теперь уже давнюю картину, вернувшую его к годам крестьянского восстания в

Тамбовской губернии, о котором сам Ленин говорил, что оно — для коммунизма — пострашнее всех фронтов гражданской войны. Именно поэтому Ленин с Дзержинским и приняли решение, чтобы самые лучшие отборные чекистские части были брошены на Антонова. У Ленина и Дзержинского другого выхода не было.

Вспомнив об этом, Решкову легко было представить себе тамбовскую крестьянку, озлобленное существо, взбесившееся от ненависти. Эта тамбовка, уже после разгрома крестьянского восстания в Тамбовской губернии, сделала то, что до нее никому не удавалось: она взорвала присланный из Москвы Особый Отдел, который должен был завершить «очистку» Тамбовщины от кулаков. Особый Отдел, разместившийся в лучшем кулацком доме села Отрепьевки, в первую же ночь взлетел на воздух.

Кулачку поймали. Она выдержала все допросы и не выдала ни одного из своих сообщников. Да, она созналась, но и полуживой, в беспамятстве твердила: «Я все сама, сволочи, всё сама . . . одна, вот этими руками» . . . И потому, что этому никто не верил, ее и не «пустили в расход» на месте, а доставили на Лубянку.

Когда и здесь допросы ни к чему не привели, террористкой заинтересовался Председатель.

Среди сопровождавших Председателя были Мохов, Суходолов и он сам, Леонид Николаевич Решков.

Когда они вошли в камеру, Решков думал увидеть подавленную, жалкую кулачку, у которой не было ничего другого, как только молить о пощаде. Но она, стоило лишь открыться двери, сорвалась с места и кинулась к Председателю.

— Гады! — завопила она. — Ставьте меня к стенке! Без задержки!

Конвоиры схватили ее за руки и оттащили в сторону.

— Пусти! — приказал Председатель. — Пускай баба выскажется.

Конвоиры выполнили распоряжение. Тамбовка упала на пол.

— Продолжай, — сказал Председатель. — Помитингуй!

Не поднимаясь с пола, она вздернула голову и закричала:

— Мне митинговать нечего! Это вы там, на митингах, открещиваетесь от загубленных мастеровых на Урале или наших мужиков тамбовских. Ну, тех, знаешь, антоновцев, которые в вашей правде не видели *свою* правду . . . или тех

поручиков и гимназистов в белых погонах, что стояли поперек вашей дороги. Это вы митингуете о будущем счастье. А ты пойми: для матери и для батьки счастье не в том будущем, что обещают каратели, а вот тут, здесь, в теперешних, настоящих, живых детях, которых вы ставите к стенке. А по какому праву? У тебя есть мать? Есть, спрашиваю, мать? К ней ты пойди, перед ней устрой митинг и расскажи, как ты меня, тамбовскую мать троих уже поставленных к стенке сынов — меня тоже поставишь.

Тамбовка вдруг и до странности неожиданно замолчала. Словно израсходовав все свои силы, она медленно опускала голову и, наконец, прижалась к полу, как прижимается деревенская старуха к земле могилы дорогого покойника.

Председатель повернулся и направился к двери. Следом двинулись и остальные. Когда за ними с железным равнодушием щелкнул ключ, Решкову показалось, что с этой минуты тяжесть вины за всё творимое ляжет только на его совесть.

Это уже было новое, тревожное и, как казалось Решкову, явно мешающее жить сознание. Он пытался спрятаться за спины тех, кто приветствовал «музыку революции», но скоро догадался, что революции не нужны ни Печорины, ни Алеши Карамазовы.

Сам себя Решков не рискнул сравнивать с Печориным. Он просто отнес себя к жалким статистам, изображающим *массу* в современной и совершенно зря поставленной драме.

Драма началась не сегодня и закончится не завтра.

Мысль об этом заставляла Решкова определить свое место в драме, оценить каждый свой шаг и поступок. Оценка была до того бесстрастно жестокая, словно кто-то, со стороны пришедший, ковырялся в его душе, и так неосторожно, что хотелось стонать от боли.

Он не стонал. Криво усмехаясь, он убеждал самого себя, что в его душе ковыряется не кто-то, а он сам — Леонид Николаевич Решков, тот Решков, у которого нет желания сделать шаг куда-то в сторону. И не потому, что боязно, просто так, от лени или от потери любопытства. А может быть и потому, что душа его вконец ослепла и не могла видеть ни прошлого, ни будущего.

О настоящем он не хотел думать. Он отказывался от него, в испуге отодвигался и даже внушал самому себе, что настоящего у него нет. Так-таки совсем нет, и удивляться тут нечему.

«Настоящего ни у кого нет, — со злостью думал он. — Все мы топчемся меж тем, что было и что будет, и не замечаем, как и куда бежит время своей и чужой жизни».

Иногда злость сменялась тоской, очень напоминающей просьбу к кому-то в чем-то разобраться и что-то понять.

— Вот и я, — шептал он, — что я имею?

Действительно, у него ничего не было. Согнувшись под тяжестью *свободы* от всего, он шел в темноту своего будущего.

Тут Автор с полным основанием может сказать, что за этим движением Решкова следил его друг, Владимир Борисович Кулибин. Он записывал любую мелочь, иногда повторялся, но обнаружив повторение — не смущался: ему казалось, что он — хирург, готовящийся к сложной операции, которая позволит рассмотреть всё, происходящее в душе Решкова. Но Кулибин упускал из виду, что хирург равнодушен и далек от любви к тому, кто лежит на операционном столе.

Кулибин и жалел и любил своего истерзанного, безнадежно больного друга, теперь откровенно прибегающего к наркотикам: водка ему уже не помогала.

В один из дней, когда Решков заговорил о мучающих его предчувствиях, Кулибин воскликнул:

— Зачем вы, Леонид Николаевич, так упрямо думаете о какой-то бездне!?

— А вы знаете, Владимир Борисович, — ответил Решков, — она странная, эта бездна. Она не внизу, а где-то там, над моей головой. Остальное тоже странное. Вот я откидываюсь на спинку дивана, засыпаю, или только кажется мне, что сплю, но перед моими глазами плывут картины. Не только те, что повторяют мое прошлое, но и те, которые показывают, что должно случиться со мною. Вот и сейчас . . . вот я закрываю глаза, Владимир Борисович, и всё исчезает. И эта уютная квартира. И диван. И кому-то и когда-то принадлежавший богатый книжный шкаф с книгами, тоже кому-то и когда-то принадлежавшими. Исчезаете и вы, Владимир Борисович, — теперь уже глухо шептал Решков, — тухнет свет электрических ламп. Наступает зимняя ночь, и я вижу снежинки, растерянно вышмыгивающие из темноты, чтобы добраться вон туда, к очень далекому огню неизвестно кем и для чего зажженного костра. Я иду к этому костру. Иду, спотыкаясь. И я никогда не приду . . .

С искаженным лицом Решков упал на диван.

— Что с вами? — спросил Кулибин, и услышал просьбу пойти в соседнюю комнату, взять там со столика... Что «взять» — Кулибин знал, а когда вернулся, Решков сидел с уже завернутым рукавом рубахи.

Передав в дрожащие пальцы Решкова шприц, Кулибин опустил голову.

Да и что ему было делать, этому деликатному Владимиру Борисовичу Кулибину? Доброжелательный, чуткий, но бессильный, он не только не мог спасти Решкова, но даже и поддержать его, чтоб на какое-то время отодвинуть неизбежность крушения.

Отметив это, Автор считает нужным перейти к рассказу о том, что говорил — —

СОБЕСЕДНИК О ПАРТБИЛЕТЕ И БРАУНИНГЕ ЛЕНИНА

— Записанные вами на страницах «Моли» терзания, ну, там, Кулибина, что ли, — сказал Собеседник, — они, не скрою, интересны. Как *информация*. Не забыли вы и прямо-таки детективный пассаж с каким-то билетиком Ленина, попавшим в руки бандита Ошалкина.

— Позвольте, — запротестовал Автор. — Нет, я не обижаюсь, что вы пустили в оборот словечко «информация». Пусть «информация». Но какая связь «информации» о Кулибине или Решкове с «информацией» о Ленине и его партийном билете?

— Диалектическая, — улыбнулся Собеседник. — О термине не будем спорить... К тому же, — Собеседник пренебрежительно дернул губами, — дело не в партбилете. Дело в обстоятельствах, при которых этот билет был отдан самим Лениным. А обстоятельства эти, о них говорится в «Моли», они, ведь, разрушают культ героя Октября. Героя — нет! Есть мышь, дрожавшая перед Ошалкиным, мышенок — трепетными лапками преподносящий великолепный браунинг. Кому? Московскому бандиту на улицах Москвы, убранной знаменами Октября. Но ведь «светило мировой революции» двигалось под охраной отборнейших китайско-латышских чекистов? Они-то куда девались? Понимаете теперь?

— Что тут понимать? Разбежались. С Ошалкиным не пошутишь! Об этом и говорится в «Моли». И, заметьте, говорится *впервые* о том, что случилось... какой конфуз случился с Лениным. Вы это можете воспринять некоторым

преувеличением, стремлением пощекотать нервы читателя приемчиком мастеров детективного рассказа, в самых неожиданных местах подкидывающих... ну, такое... для читателя или зрителя просто невозможное! Вроде Ленина, оказавшегося в руках банды. Но этот *эпизод* взят мною из записок тех, давних лет, так что...

— Так что, — подхватил Собеседник, — в ваших руках уникум? До вас никто, никогда и ничего не сказал об этом ленинском эпизоде? Вы первый, кто разрушит это пятидесятилетнее молчание! Так я вас огорчу: у вас хотят отнять право первенства. Кто? *Они.* Те, кто пятьдесят лет не заикался о московском бандите, перед которым, брошенный «рыцарями революции», в грязи ползал Ленин. Они, теперь, — позвольте мне предположить такое! — узнав, что хранимый вами уникум будет пущен в ход (надо же ослабить сенсацию!) — о том же самом, впервые за пятидесятилетнюю историю ленинизма, кое-что сказали в опубликованном очерке «Покушение». «Покушение» не разрушает вашу версию с партийным билетом Ленина, с его документами и браунингом. Разница лишь в том, что у вас герой нападения на Ленина Ошалкин, у них — Кошельков. И еще: вы говорите о январе или феврале 1919 года. Они — точно: февраль 1919 года. Во всем остальном, да, есть кой-какие расхождения, но в общем всё совпадает. Убедить вас в этом? Вот отрывок из этого *«Покушения»:*

> Нападение произошло недалеко от здания районного Совдепа... Малейшая попытка к сопротивлению могла кончится трагически — смертью Владимира Ильича. Бандиты забрали документы и оружие. Кто-то из них передернул затвор винтовки... «Брось, ни к чему!»
>
> Взревел мотор, и машина мгновенно исчезла в пелене снега...
>
> Никто из бандитов не знал, что ограбленный — председатель Совета народных комиссаров. Это обстоятельство спасло Владимиру Ильичу жизнь...
>
> Просматривая отобранные документы, Кошельков внезапно приказал развернуть машину.
>
> — Почему? — удивился Ефимыч...
>
> — Знаешь, кто был в машине? Ленин!
>
> Кошелькова трясло, как в лихорадке...
>
> — Зря остановил, — с сожалением протянул Сережка Барин. — Я ведь уже на мушку взял...
>
> — Откуда знать-то! — огрызнулся Кошельков и забарабанил рукояткой маузера по спине Клинкина. — Не спи, Ефимыч!
>
> Тот развернул машину...
>
> — Быстрей, быстрей! — подгонял Кошельков. — Газуй, фраер!

Собеседник посмотрел на Автора и весьма деликатно полюбопытствовал:

— Ну, как? Соответствует? Кстати — справка: это из очерка «Покушение», опубликованного в одиннадцатом номере еженедельника «Литературная Россия» за 1967 год. Захотите — сами прочитаете полностью. Добавлю лишь, что — судя по очерку — через час после покушения все отделы ВЧК и МУРа были на ногах. Москва превратилась в десять участков фронта, на которых кипела «священная война». Следы этой войны — на любых улицах Москвы: трупы чекистов. Но силы всё-таки были не равные: отборные части ВЧК-МУРа и банда Кошелькова. Ряды банды редели и... вот что сказал очерк «Покушение» в заключение:

> К марту 1919 года все участники нападения на Ленина, за исключением Кошелькова и Барина, уже были задержаны. Но эти двое по-прежнему оставались на свободе...
>
> Кошельков словно играл в прятки со смертью. Но играл уже без прежней изобретательности и находчивости, только оттягивая время, а может быть и на что-то надеялся.

Он зашуршал бумажками, этот беспокойный Собеседник, любитель упрекать Автора в слепом пристрастии лишь к событиям давним.

— Вы, вот, — говорил Собеседник, — восстанавливаете время ушедшее, удивляете читателя яркостью типов, живших, во многих случаях скверно живших и тридцать, и сорок, и пятьдесят лет назад. Не забываете и экзотику — чекистскую и бандитскую. Вот, дескать, как *было*. А я вам могу доказать, что ничего не изменилось. 1967 год — это торжества по поводу пятидесятилетия Октября. А вы как-то сторонкой и близоруко прошли мимо *торжеств*, замкнулись в своей уютной европейской комнатке и аккуратненьким, интеллигентско-старушечьим почерком записывали, простите, *былое и думы*. У вас есть романтические страницы, на одной из которых даже поют тоскливую песенку. А знаете ли вы... Нет, вы этого не знаете, что такие или почти такие песенки поют и теперь, и что теперь банды играют со смертью, как играли они при Ленине, и все эти пятьдесят лет строительства нового мира по программам того или иного съезда партии.

Собеседнику явно хотелось болтать. Чтобы скрыть это, он принялся ковыряться в каких-то вырезках, что-то искал и попутно язвил:

— Их идеи, их намерения перестроить жизнь похожи на лозунги, написанные самолетом в синеве неба. Лозунги — были. Вы их сами видели. Лозунгам в синеве неба, как, впро-

чем, и в жизни, нечего делать. Но творцы *нового* боятся это признать. Они шьют пропагандные мундиры, убранные позументами цитат Маркса, Ленина и прочих, очередных вождей, и думают в эти мундиры впихнуть людей. Кой-кто делает вид, что радуется мундирам, другие — уходят в себя, третьи — отсиживают сроки за отказ от коммунизма, четвертые — приспосабливаются, а какие-то двадцатые-тридцатые из тех, кому предсказано «жить в коммунизме», создают самые обычные банды. Ах, да, нашел, — оживился Собеседник, — вот очерк из «Комсомольской правды» за 13 августа 1967 года — «Трое из разведки». О том, как доблестный коммунист Владимир Ляндэ послушался совета партийной организации: «Иди в милицию. Там нужны отважные люди» и превратился в милицейского лейтенанта. Чем всё это закончилось? Слушайте отрывок, завершающий очерк *«Трое из разведки»:*

> В Ростове-на-Дону участились случаи бандитизма. Бандиты нападали на людей и, угрожая оружием, грабили... Ликвидировать шайку поручили оперативной группе, возглавлял которую лейтенант Лянде...
>
> Главарь банды, некий Репринцев, скрылся. Долго не знали, где находится этот матерый бандит. И вдруг известие: Репринцев появился в городе. В тот же вечер группа оперативных работников окружила дом, где находился главарь шайки... Загремели выстрелы. Лянде бросился вперед. И погиб на посту, как солдат.

— Так что не особенно обольщайтесь, — сказал Собеседник, — разными там решениями съездов, в которых черным по белому записано: «Все советские люди — верные строители коммунизма». Это тот же самый лозунг, нарисованный самолетом в голубом небе во время первомайских или октябрьских праздников, когда вожди, втиснувшись на Мавзолей, самодовольно улыбаются при взгляде на покорно бредущую *массу* Москвы. Эту массу выводили демонстрировать и в тот год, когда в той же самой Москве бандит Ошалкин даже не отбирал, а просто принимал из дрожащих рук Ленина и партийный билет, и браунинг, и документы. Нынче партийные билеты, — усмехнулся Собеседник, — среди московских бандитов котируются низко. Значительно выше — пистолеты, и совсем высоко — золото и бриллианты. Погодите, погодите, — запротестовал Собеседник, увидев поднятые брови Автора, — да, вот. Нашел. Очерк *«Сотрудник МУРа»,* в «Известиях». Дата: 19 ноября 1967 года. Герой очерка — майор милиции Владимир Чельцов, к пятидесятилетию Октября награжденный Орденом Красного знамени.

МУР, как вы знаете, Московский уголовный розыск. А теперь — строчки из очерка:

Об агентах МУРа рассказывали легенды. Сейчас, когда наша жизнь благоустроеннее, легенд таких складывается меньше. Но... мы частенько склонны считать бандита примитивным душегубом. Ох, не так всё это! К сожалению, и сейчас наш мощный сыскной аппарат не всегда сразу нападает на след преступника. Тут идет извечный поединок изощренности преступника с умом сыщика и следователя...

Представьте ситуацию, которую застали работники милиции, когда им сообщили, что ограблен Щербаковский комбинат... И дело повисло. Нераскрытое преступление... Но, в конце концов, раскрыли... Изобличили Константина Комарова и его шайку из одиннадцати человек... Но раскрытию этого преступления помог случай...

— Вот вам «московская экзотика» 1967 года... Шайка в одиннадцать голов. В общем — примитивная, хотя и поймать ее удалось только потому, что «помог случай». Если хотите, — сказал Собеседник, — могу продолжать чтение. Не возражаете? Отлично, тогда о московских бандах, которые «Известиями» называются «интеллигентными бандами». Читаю:

В один прекрасный день к скупочному пункту недалеко от Семеновской площади с разных направлений пришли четверо. Вошли в магазин. Вынули пистолеты. Один уверенно подошел к кассе, взял всю выручку. Так же спокойно и деловито четверо покинули магазин. Пока приёмщики опомнились, подняли тревогу, налетчиков и след простыл...

— Как видите, — вздохнул Собеседник, — и «день прекрасный» и прекрасная работа налетчиков. В Москве. Где Мавзолей и прочее. Теперь — переходим к эпизоду следующему.

На квартиру врача-стоматолога Грозовского пришли трое молодых людей... Спросили, где деньги и золото...

Вскоре таким же манером была ограблена квартира известного артиста...

Весь МУР был поднят на ноги. Шутка ли: по городу ползут слухи.

И вот опять... в Московском уголовном розыске раздается звонок. Только что четверо неизвестных пытались ограбить сберкассу.

— Занятная информация? — спросил Собеседник.

— В общем, да, — согласился Автор, — хотя не особенно ясна связь...

— Диалектическая связь? — с оживлением подхватил Собеседник. — Помилуйте! Она же налицо. В ногу со временем всё развивается. По ходу строительства коммунизма. «Известия» говорят не о далеком прошлом, не об Октябрьских днях или, там, эпохи «военного коммунизма», а о вре-

мени нынешнем, о годе тысяча девятьсот шестьдесят седьмом, в который вошло то самое поколение, что владеет дарованным партией правом «жить в коммунизме». А московские «интеллигентные банды» врываются в квартиры советской элиты, советских богачей, забирают у них *золото*. Ай как нехорошо. Скверно, одним словом. Но тут я пропускаю часть очерка, чтобы сказать: МУР узнал фамилию одного из бандитов. Лапшов. Потом появилась и фотокарточка Лапшова. Карточка есть, а сам Лапшов — неуловим. А раз неуловим — тогда за дело взялся муровский Шерлок Холмс — майор Владимир Чельцов, кому, собственно, и посвящен этот очерк в «Известиях».

> Владимир Чельцов ходил как одержимый по улицам Москвы. Он понимал, что это безнадежное занятие. Шансов встретить Лапшова в огромном городе — практически никаких. Но он ходил и ходил...
>
> — Надо искать, — повторял наставник Чельцова Александр Сергеевич Сальников. — Мы не можем упустить бандитов...

Тут Автор опять должен заметить, что нежданно-негаданно появляющийся Собеседник любил резонерствовать. Он и теперь просил учесть, что состоялись торжества по случаю пятидесятилетия Октября, что пятьдесят партийных лет — это и завершение строительства социализма и начавшаяся прекрасная эпоха коммунизма, а вообще — прошло полвека советской власти — и Советский Союз заселен *новыми* людьми, массами, живущими любовью к партии и исповедующими — всеми без исключения — одно единственное мировоззрение, записанное в третьем варианте партийной программы, кстати сказать, разработанной Никитой Сергеевичем Хрущевым.

— Я мог бы, — доверительно шептал Собеседник Автору, — привести десятки цитат, ленинских, сталинских, хрущевских и так далее, убедительно доказавших миру, что «все советские люди беспредельно преданы делу коммунизма». Но для цитат у меня нет времени. Возвращаюсь к очерку «Сотрудник МУРа», рассказывающему о событиях 1967 года не где-то в глухомани, а в столице, в Москве, в 1967 году пышно праздновавшей пятидесятилетие Октября. Торжества — торжествами, но вот этот очерк «Сотрудник МУРа» не только смеется, гогочет над марксизмом-ленинизмом, над тем, что каждый советский человек живет единым мировоззрением и что все советские люди преданы делу коммунизма. Кстати, вы не забыли, что в этом очерке идет разговор об «интеллигентных бандах» и что за ними — в Москве — охотится майор Чельцов? Не забыли?

Однажды около магазина на улице Горького Чельцов заметил странную пару. Она шла в легком платье, а он — в плаще, подняв воротник. Был уже вечер, а он — в темных очках... Чельцов зашел сбоку, вынул фотографию. Толкнул своих двух ребят...

— Он, беру...

Около вестибюля гостиницы Чельцов мгновенно схватил Лапшова под подбородок, скрутил руку бандита, потянувшуюся за пистолетом... еще через несколько дней была арестована вся шайка.

— Дальше, остальное, — усмехнувшись, сказал Собеседник, — как в кино. Крупным планом: агент МУРа Чельцов и «интеллектуальный» бандит Десятков — помощник Лапшова. А в общем — читаю очерк:

...Лапшов был главарем банды... Десятников занимал пост начальника штаба банды, потому что он, по образованию, инженер. Он тщательнейшим образом готовил каждый налёт. И вот теперь сидит перед майором Владимиром Чельцовым.

— Вам помог случай, — цедит Десятков, — а то бы вам, со всем вашим аппаратом и техникой, не догнать меня, как Ахиллес не догонит черепаху. Впрочем, пардон, я забыл, где я...

— Вы полагаете, — говорит Чельцов, — Зенон всё-таки прав? Может быть, в этом самая ваша большая ошибка? Вы забыли...

— Пардон, — брови Десяткова ползут вверх, — я в МУРе или в институте философии? Вам, случайно, ничего не говорит такая фамилия — Эйнштейн?

— Что ж, давайте о квантовой механике поговорим. Но не лучше ли к делам земным перейти. Где действуют, увы, помимо ньютоновских и уголовные законы...

....Бандит с высшим образованием заговорил...

— Диалектика? — спросил напоследок Собеседник, и ушел, оставив на столе «Известия».

«Документ к диалектике Октября», — подумал Автор, разглядывая газетную страницу. Потом он ее отодвинул и принялся за свои давние записки и заметки, чтобы показать — —

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ КУЛИБИНА, РЕШКОВА И СУХОДОЛОВА

Бывали минуты, когда Кулибин, потрясенный откровенностью Решкова, спрашивал:

— Зачем вы так?

— Не знаю, — обычно отвечал Решков, но однажды, словно не выдержав, придвинулся к Кулибину и зашептал:

— Знаю! Потому что уже давно понял: лишний я всем и никому не нужный. Как бельмо на глазу.

Кулибину показалось, что Решков пьян. Нет, не пьян, должен был признать Кулибин, и тут же обратил внимание на глаза Решкова, блуждающие и как будто не могущие остановиться на чем-то определенном. Безвольные, они неуверенно кидались из стороны в сторону, словно старались поспеть за степным ветром, тоже неизвестно куда спешащим.

Ему до боли стало жалко этого большого, растерявшегося перед жизнью человека.

— Попробуйте, Леонид Николаевич. Хотя ... что-то изменить вы не сможете, но сами, сами неужели не можете измениться?

— Разве я об этом не думал? — ответил Решков. — Думал. Много раз. И пришел к выводу: не в то окошечко я заглянул. По ошибке, быть может. Да только с тех пор пошло всё шиворот-навыворот. Вот такой случай. Он вам может сгодиться. Для вынесения приговора мне, по моим же собственным признаниям ... признаниям добровольным, не добытым Лубянкой.

— А если уже довольно признаний, Леонид Николаевич? Тогда что?

Решков растерялся. Потом схватил руку Кулибина, и как будто боясь, что тот убежит, стал приглушенно говорить о своем детстве, о полковнике Мовицком и его дочери Ирине, говорить обо всем, ничего не утаивая, до мельчайшей подробности и так выразительно, словно читал кем-то составленные мемуары.

— Неужели всё это правда? — вздрогнув, спросил Кулибин.

— Правда, — равнодушно подтвердил Решков. — Это правда обо мне, Владимир Борисович. От нее нельзя отгородиться какими-то «смягчающими вину обстоятельствами». Их нет, Владимир Борисович, нет их — этих *обстоятельств*. Жутко признаться, но не обстоятельства создали меня. Я — создавал обстоятельства. Помните Суходолова? Это он себя, меня, всю нашу партию назвал «молью». Философ или социолог ту же самую мысль Суходолова выразил бы каким-то другим, глубоким и значительным словом. Суходолов — не философ! Крестьянский сын, тамбовец, сущность всего определил понятной ему *молью*. Убедительно? Очень! Хотя бы потому, что моль неприметно, постепенно губит всё. Вплоть до жизни растения. Образ символический? Да, и потому, что он совсем обычный, он и возник перед Суходоло-

вым . . . в этот критический момент. Он уже наступил, этот *критический* момент. Я уверен в этом. Убежден в том, что у Суходолова накапливаются силы. Он выпрямляется. Начинает трезво смотреть на жизнь и оценивать свое место в этой жизни. Что случится с Суходоловым завтра, через месяц или год? Но он уже перестает быть «молью». Героизм? Подвиг? Измена? Вряд ли одним из этих слов можно что-то определить и объяснить. Да и зачем? Ясно, что Суходолов двинулся к чему-то иному. Перед этим его движением я преклоняюсь, хотя . . . хотя потом, позже, когда — трудно сказать? — когда он уйдет, начнется охота за Суходоловым. И в этой охоте я приму участие. А когда его схватят, то . . . Вы, конечно, Владимир Борисович, с удивлением слушаете и даже недоумеваете: что дает мне право рассуждать о какой-то измене Суходолова, о будущей охоте? Права у меня нет, но что Суходолов уже «не наш» — утверждаю. Станут ли с ним рассуждать, когда его, потом, поймают? Нет, его уничтожат с таким же равнодушием, как до него уничтожались миллионы. Кто его уничтожит? *Моль*. Запомните это, Владимир Борисович. Для вашей книги. Книга должна быть. Она нужна. На ее страницах необходимо сохранить действительность . . . чтобы жизнь не ушла куда-то за ширмы, в густую тень, где так вольготно размножается *моль*.

— А если моль сумеет загнать жизнь за ширмы? — задал вопрос Кулибин. — Тогда что?

— Тогда и вы, и дети ваши, и дети детей ваших будут жить за ширмами. *Моль* продолжит свою ложь до бесконечности. *Моль* стремится существовать только для себя, плодиться дальше и по партийно-наследственным законам воспроизводить подобное себе. С разговорами, что это и есть настоящее счастье. Для вас всех. Для ваших потомков. От этой лжи *моль* никогда не откажется. Да и невозможно от нее отказаться. Ложь требует постоянной пищи, то есть новой лжи. Каждый раз новой, очередной, генеральной, соответственно утвержденной.

— Но вы! — воскликнул Кулибин. — Вы, ведь, всё это видите? Что же вы?

Решков развел руками и пристально посмотрел в глаза Кулибина, словно в них-то и хотел прочитать ответ. Но в чужих глазах была лишь растерянность и тревога.

— Вы спрашиваете: «Что же я?» Разве тут можно объяснить, Владимир Борисович. Вот Суходолов — тот сам себе что-то объяснил и, быть может, понял себя. А я не понимаю себя. И никогда не пойму. Вот вы меня понимаете, Влади-

мир Борисович! Я уверен в этом. В вашей будущей книге вы растолкуете меня, пофилософствуете насчет судьбы и натуры Леонида Николаевича Решкова. Может быть даже со слезой скажете, что эта *моль,* то есть Решков, иногда пыталась глубокомысленно порассуждать вообще. И о том, что всё, создаваемое *молью* некогда предстанет перед судом истории. И что приговор будет обвинительный . . .

— Если *обвинительный,* — перебил Кулибин, — тогда почему же . . .

— Не будьте ребенком, Владимир Борисович, — почти крикнул Решков, и тут же, спохватившись, протянул руку. — Извините. Но ваше «почему же?» — наивно. Любой бандит знает, что впереди — суровый приговор, и не расстается с пистолетом или финкой. По-вашему — тут действует закон обреченности? Или успокоительно-сладкий гипноз, под влиянием которого *неизбежность* перестает казаться реальной? Не буду спорить. Да и спорить не о чем: вы правы! В самом деле: не расстается с властью *моль,* прикрываясь «диктатурой пролетариата» и учением Маркса-Ленина с выведенными из этого учения «заповедями» коммунистической морали. «Заповеди» загипнотизировали *моль,* и вот уже сама «диктатура пролетариата» ей кажется реальной, на веки вечные действующей и всё оправдывающей. А то, что эта мораль и диктатура весьма эластично петляют по требованиям очередной «генеральной линии» — какое это имеет значение? Впереди — цель: вселенский коммунизм. Ура! А люди? Люди — статистика. Трупами людей утрамбуется мостовая к «чертогам» коммунизма, трупы лягут в фундамент величественных дворцов Всемирного Центрального Комитета КППК . . .

— ВЦК — КППК? — спросил Кулибин. — Что-то модное?

— Всемирный Центральный Комитет Коммунистических Партий Пяти Континентов, который и объявит, что строительство нового мира закончено. Нет, нет, он не будет пуст — этот *новый* мир. Над ним будут вожди, помощники вождей, помощники помощников, всё, как положено. Только человек там будет особенный. Даже не человек, так себе — живое существо, с руками и ногами, вполне реальное, зарегистрированное, прописанное по определенному месту жительства. Но *личности в* этом *новом* мире не будет. Она исчезнет. Это сейчас какие-то там идеалисты рассуждают про личность, про психологию. Болтовня всё это! Надо рассуждать диалектически: нет нужды в *разных* людях с разными

мыслями, привязанностями, настроениями. Ведь уже и сейчас официально объявлено, что каждый советский человек обязан жить одним единственным, для всех одинаковым, коммунистическим мировоззрением. Это сегодня! О какой же личности может идти разговор потом, когда появятся сияющие чертоги? Вместо личности — будет номер. В тщательно хранимой в соответствующем отделе кадров анкете будет записано всё: и рост номера, и силёнка, и когда родился, и когда намечено номеру умереть. Это и будет тот настоящий, хороший новый мир, в котором всё учтено и скреплено казенной печатью.

Пальцы рук Решкова сплелись в дергающийся конвульсиями клубок.

— Это невозможно, Леонид Николаевич, — пытаясь успокоить своего друга, произнес Кулибин. — Это . . . Разве может быть такое? Нет. Просто потому нет, что всякий живой смотрит на жизнь по-своему, видит страшное и смешное, правдивое и насквозь лживое. Человек, пока он человек, не допустит, чтобы подобное сбылось. Против этого всем своим существом восстанет живой человек. Это только мертвым всё равно: глаза их потухли. А живой человек . . .

— Живой человек? *Моль* сотворит величайшее чудо: создаст *нового* человека, но с глазами невидящими! — крикнул Решков и сорвавшись с места, исчез в спальной.

«Опять шприц», — вздохнул Кулибин и совсем просто подумал о том, как покорно несчастен Решков, неизвестно зачем возвращающийся в эту уютную и с таким вкусом обставленную квартиру .

— Что? — спросил вернувшийся Решков, и словно разгадав недавние мысли Кулибина, добавил: — Всё очень странно. Вот перед вами книжные шкафы с собранием умных книг, а где-то . . . люди мыкаются неприкаянными, отвыкают от свободы, кочуют из общежития в общежитие . . . В детских приютах заливаются слезами подкидыши, которые так и не узнают, которые из строителей нового мира — их отцы . . . А знаете что, Владимир Борисович? Мне кажется, что человек всё-таки перешагнет *сегодня,* и понесет дальше свою вечную радость, найдет землю, по которой можно ходить без спроса, дом, а не общежитие, семью с матерью, около которой будет возиться дитя, не приписанное к пионерскому отряду. Без этого — суета и бессмыслица. А что в этой суете и бессмыслице и я повинен, скажите об этом в вашей книге, и объясните меня самого. Если сможете . . .

Нечего удивляться, что Кулибина не покидало тихое сожаление о незадавшейся жизни Решкова, а у Решкова сложилось убеждение, что глаза Кулибина, этого стареющего и доброго человека, способны проникать в чужую душу и разгадывать прячущиеся в ней самые сокровенные движения.

Решковv даже казалось, что Кулибин способен предугадывать и то, чему надлежит случиться. Во всяком случае, Решков хотел верить, что старик, в конце концов, напишет книгу, и объяснит в ней, как и почему он, Решков Леонид Николаевич, придет к своему последнему, трагическому акту.

Всё это случится не скоро. когда-то. Но произойдет обязательно. Спасения нет.

Задумываясь над этим, он иногда вспоминал попавшую в подвал Лубянки «пророчицу», сумасшедшую седую женщину, истерически выкрикивавшую свои предсказания перед собравшимися на Смоленском рынке толпами. Пророчества эти подхватывались народом, разносились по Москве, повторялись в поездах, уходивших к северу и югу.

«Пророчица» — по ее словам — видела не только то, что творится сейчас, но и то, что произойдет потом, позже, через много лет, когда уже сгниёт Ленин.

«Расстрелять», — был приговор «тройки».

Перед расстрелом, Решков приказал доставить «пророчицу» к себе в кабинет.

Хотя Решков ожидал ее, она появилась как-то вдруг и до того незаметно, что Решков вздрогнул. Потом, справившись с трудно объяснимым волнением, он внимательно посмотрел на еще молодое, но с безумными глазами и очень красивое лицо.

Решков не сразу нашелся, о чем спросить. Может быть даже потому, что с плеча «пророчицы» сползла разорванная кофта, обнажив грудь со следами тяжелых синяков.

— Вот ты какая! — сказал, наконец, Решков. — Вперед всё видишь и всё знаешь. И какая будет жизнь. И когда кому положена смерть. Да?

— Да, — прикрывая избитую грудь ответила «пророчица», и скороговоркой зашептала: — знаю. Вот и ты носишь в своем кармане *день*, на который правильно, как в аптеке, положена смерть. В твоем кармане твой *день*, — торопливо бросала слова «пророчица», — ну-ка, сунь руку в карман! Ага, боишься! И зря боишься! Не ты сам себе расчет сдела-

ешь. Ты должен ждать, когда к твоему *дню* подойдет твой друг, и сделает то, что тебе самому не по силам!

Он слушал этот бред и, странно, воспринимал его как предсказание, как его же собственные мысли, но перехваченные этой полоумной женщиной.

— Так что ты там о жизни говорила? — спросил он.

— О жизни? — повторила она вопрос. — Что ж. Жизнь она не вечная. И ты об этом не забывай. И помни, что в ту самую минуту, как ты родился, ты уже начал медленно умирать. А когда мать учила тебя делать первый шаг — это уже был первый шаг навстречу смерти. Ну, а смерть — она разная. Бывает хорошая, бывает и скверная. Твоя смерть — будет скверной.

— Какой? — шутя спросил Решков, и тут же почувствовал легкое сердцебиение. — Какой?

— Я знаю — какой, — чуть слышно сказала «пророчица», — да только зачем тебе знать?

Об этом эпизоде с «пророчицей» ничего не было известно Кулибину. А сам Решков вряд ли смог бы ответить на вопрос, почему он скрыл эту историю от своего друга?

Скрыл — и всё. Может быть даже из боязни признаться, что в Кулибине есть нечто общее с той странной женщиной, навсегда унесшей тайну своих предсказаний.

Совсем по-другому велись разговоры о «пророчице» с Суходоловым. К нему Решков — трудно было догадаться: шутя или серьезно — обращался с вопросом:

— Ты о моей смерти думаешь? Она будет скверная. Ну, такая, что придет ко мне друг и сделает расчет. Накаркала сумасшедшая баба! Та, *пророчица*. Ерунда всё это, да только... Верю я, Суходолов, той *ерунде*. Почему? Всех своих друзей я знаю. Ну, вот, ты. Из моих — вроде единственный. А другой... Да ты знаешь: Кулибин. Его ни к чему такому не приспособишь. А ты, ты Суходолов, на меня руку не поднимешь. Хотя следовало бы, потому что...

— Брось, Леонид Николаевич, чего ты меня расстраиваешь? Да и себя.

— Ты, Суходолов, как бы это... Будто не знакомый ты мне, — произнес Решков с сожалением, и тут же спохватился: — Нет! Очень знакомый. Ты слепой и глухой. А слепого и глухого, понимаешь, вот как легко толкнуть в пропасть. И будет слепой и глухой лететь в ту пропасть, и не догадается, что пихнул его человек, нарочно приведший к обрыву.

Решков как будто бы на что-то намекал и до предела обнажался, но Суходолов ни о чем не догадывался. Решкову

даже показалось, что если бы он и прямо признался, что это он, Леонид Николаевич Решков, ведет Суходолова к пропасти, тот ничему не поверил бы.

Между прочим, Автору известно, что Решков на другого своего друга, на Кулибина, смотрел как на судью, как на олицетворение справедливости. Но грехи Решкова были столь велики, что некоторые из них он прятал от судьи, жалко надеясь на какое-то, пусть и литературное снисхождение.

Суходолов. За Суходоловым тоже много тяжких грехов, но Кулибин отпускал их, видя в них искреннее заблуждение, *честный* грех, принятый на себя этим крестьянским сыном под влиянием иллюзий, казавшихся ему исторической истиной.

Автору даже кажется, что такое отношение Кулибина к Суходолову раздражало Решкова и, о чем, конечно, не подозревал Кулибин, ускоряло развитие событий, которым суждено будет вырвать Суходолова из его привычной жизни.

Кулибин и Суходолов стали полюсами, которые влекли к себе, пусть и по разным причинам, Решкова . . . Сложность этих причин была настолько глубокой и тягостной, что Решков, подчас, не выдерживал и бросался в захламленную квартиру Мохова, своего помощника. Там он на время забывал Кулибина и Суходолова, отдыхал от них в примитивном издевательстве над Моховым, над этим нравственным и физическим уродом, прозванным «жабой».

С ним Решков не церемонился.

— Жизнь, — говорил он Мохову, — это не справка пусть и первоклассно поставленного аппарата чека. Аппарат знает каждый шаг человека, все его встречи, всех его знакомых. Только одного не знает чека — души человека, не может заглянуть в нее. Тебя это радует, Мохов?

Мохов улыбался и нерешительно поднимал плечи.

— А вот меня, — продолжал Решков, — меня . . . как бы это объяснить? Мне думается, что если бы *аппарат* располагал такой возможностью, я был бы избавлен от тяжести жить дальше, и видеть таких, как я сам, и таких, как ты.

— Рискованные вы вещи говорите, Леонид Николаевич.

— Почему рискованные?! — удивился Решков. — Меня ты не выведешь на чистую воду. В этом я уверен. Больше чем в себе.

— Во мне вы уверены, — согласился Мохов, — это точно. А вот уверены ли вы в себе, Леонид Николаевич? Что если вдруг накатится на вас такая слабость и . . . и . . . вы сами пойдете и сами себя выведете на *чистую* воду?

— Я думал об этом, — кивнул головой Решков. — Нет. Сам я не пойду. Я, Мохов, как-то присох к *ним*. И от *них* я сам не отдерусь. Это — первое. А второе: не стану раскрывать себя перед *ними*. Не потому, что боюсь. Просто — противно. Они ничего не поймут. Они — гады — обрадуются: пришел дурак каяться и признаваться, сам лезет под пулю. Так, ничего не поняв, *они* потащат меня в подвал и станут руки потирать, и смеяться, ага, попался! И в заслугу себе, понимаешь — в заслугу *себе* — поставят, что они меня *разоблачили*. Если б они поняли, почему я пришел выкладывать перед ними свою душу, я бы завтра тронулся. Не поймут! И потому буду жить, чем жил до сих пор. А тебе, *товарищу* Мохову, и дальше о многом стану говорить, хоть и знаю, что ты . . . Ты только не обижайсь, Мохов, хоть и знаю, что ты меня не *сплавишь* по уважительной причине. Погоди! Не поднимай руки! Не сплавишь, потому что ты знаешь: только мне известно кто ты есть и как поднялся над людьми. Ты мой лучший охранник! Ты бережешь меня. Боишься, чтоб я не пропал. Потому — начни я пропадать, твое дело выплывет, — криво улыбнулся Решков и добавил: — А пока я жив . . . Наливай водки!

Мохов наполнил стаканы водкой, и сам, молча, первым выпил.

— Так-то оно лучше, — насмешливо буркнул Решков, а когда Мохов отодвинул пустой стакан, серьезно повторил: — Да, так-то оно лучше.

— Что лучше?

— Да всё. Ну, хоть то, Мохов, что гарантию имеешь: пока я жив, и ты живешь. Пока я жив — никто не узнает, как ты с мандатом Особого Отдела по Тамбовщине шнырял, как по кулацким подлавкам *для себя* царские золотые пятерки и десятки *шуровал*, как . . .

— Да что вы, Леонид Николаевич! Это же . . . это . . . у нетрудового элемента, у врагов. Это верно. И действительно по поручению и по мандату с серпом и молотом. Я свой долг перед Октябрем исполнял. Врагов этих самых, Леонид Николаевич, я в расход вывел невесть сколько. Кулаков то есть. И вообще.

Мохов потянулся к водке. Решков стакан отодвинул. Рука Мохова вопросительно повисла в воздухе.

— Ну . . . мне зачем ты врешь? А Матыкина — ты забыл? — совсем просто спросил Решков.

— Матыкин? Да . . . Покривил, понимаете, в те дни, — приглушенно, дрожащими губами продолжая старую ложь, зашептал Мохов. — А что было делать? Мне, то есть, вот такому в то время, о котором вы знаете, Леонид Николаевич. В то время, Леонид Николаевич, может, у меня для самого себя лишней пули не оказалось.

— И опять ты брешешь! — качнул головой Решков.

— Брешу, — согласился Мохов и поежился, словно холодная капля упала за его воротник. — Верно: брешу. А зачем брешу перед вами — и сам не знаю. Пуль у меня было в достатке. Только боялся я . . .

— Догадываюсь, — теперь уже прямо глумясь, ответил Решков. — Боялся ты одного. Боялся *удавки*, веревки ты боялся, петли. Да и как тебе было не бояться? После Матыкина.

— Матыкина, Леонид Николаевич, кулаки прикончили . . . когда мы конфискованные ценности перевозили. Документами доказано, Леонид Николаевич, как убили конвоира, а мне — чудом удалось спастись.

— Чудом? Вот и опять брешешь. Конвоира ты сам пристрелил, да только не совсем. Выжил он. А его показания . . . Не бойсь, не бойсь, они в моих руках! Ну и сволочь же ты, Мохов! Ты в сговоре был с этим конвоиром. Вот, дескать, какие ценности везем. Въедем вон в тот лес, спишем в расход Матыкина, а бриллианты и еще что в мешке — всё наше. На двоих. Так дело было? Ну, скажи? Не вихляй!

— Так, — прошептал Мохов. — Конвоира, значит . . .

— Делиться не захотел? Раздумал? С конвоиром у тебя, потом, был расчет короткий. Ну, а как ты с Матыкиным распорядился? Может, после Матыкина и стал бояться *удавки?*

— В точку попали, Леонид Николаевич. Удавки пугаюсь! Потому что *я* сам удавил вот такой *удавкой* Петра Матыкина, такого богатея из Отрепьевки. Его, понимаете, нарядили в подводу. Вези, приказали. Он и повез, меня и конвоира. Для доставки в Особый Отдел того мешка с ценностями. Матыкин, понимаете, ничего не знал, куда и что везет. А дело зимнее, двадцатый год, по Тамбовщине антоновцы гуляют. Ну, и едем, в санках. И, конечно, разговоры разговариваем.

Матыкин про дела мужицкие, крестьянские. Про контрибуции, про несправедливость. Так себе, спокойно обо всем выкладывает, и табачком *месаксуди* меня угощает. Он, значит, месаксуди мне правой рукой протягивает, левой — коньми правит, а кони у него — дай Бог на Пасху! — ходко идут. Тут я и мигнул конвоиру, без шума чтоб было, без выстрелов. А я, значит, Матыкина удавкой. Потом . . . Потом свернули мы с конвоиром в лес, где погуще, вывалили Матыкина в сугроб и . . . и после этого я расправился с конвоиром, и кинул его в снег. И остался один. С матыкинскими коньками, и с тем мешком. Всё вроде было в порядке, да напоролся на антоновцев, на бэнду кулацкую. Пришлось мне уже самому сигать с саней и без ничего и пешки спасаться. Вот как она обернулась, удавка, то есть, и остальное прочее.

— Занятная история, — съязвил Решков. — Прямо как у писателей-народников, ну, тех, что «Конокрадов» или «В овраге» сочиняли. Трогательный сюжетец. Его бы тебе им и подкинуть. А мне . . .

— Вам я сущую правду выложил, Леонид Николаевич, самого себя наизнанку вывернул, а вы . . .

— Что я? Ты хочешь, чтоб я поверил, что после всего того ты «перевоспитался» и верно служишь *идеям?*

— А может и в самом деле так? — прохрипел Мохов и поднял руки, словно выставляя свидетелей.

— И опять ты брешешь, — равнодушно произнес Решков.

Потом, покинув моховскую берлогу и очутившись в своей уютной, но такой равнодушно чужой квартире, Решков опускался в глубокое кресло. Оно было очень удобное и мягкое, это кресло. Оно как бы приглашало отдохнуть и успокоиться. Но стоило лишь Решкову почувствовать тепло плюша, он начинал думать о себе и о тех трех, с судьбой которых так близко соприкасалась его судьба.

Кулибина он любил. Суходолову — с ненавистью — завидовал. Мохова — презирал.

И ни от одного из троих не отворачивался . . . Без них, так казалось Автору, и Решков не был бы Решковым, причем Автор склоняется к мысли, что сам Решков в своих столь противоречивых чувствах разбирался с основательностью незаурядного психолога, не боящегося заглядывать в тайники не только чужой, но и собственной души.

А что это именно так, покажет дальнейшее, в которое входит — —

ВСТРЕЧА СУХОДОЛОВА С ВОСКРЕСЕНСКИМ, ПРОЛЕТАРКОЙ МЕШКОВОЙ И АГЕНТОМ СТУПИЦЕЙ

Она очень любила советскую власть, сама себя уважала за свою преданность партии, а выступая на собраниях коммунальных жильцов или появляясь в милиции с очередным доносом, говорила гордо: «Пролетарка Мешкова».

Пролетарка Мешкова слыла сознательной и очень бдительной. Обо всем, что происходило в районе Каланчевской площади, она знала в подробностях и потому пользовалась уважением и покровительством начальника отделения милиции. Сама Мешкова слышала, как этот начальник сказал милиционерам: «Учтите: товарищ Мешкова — непримиримая пролетарка».

В этом не было никакого преувеличения. Она была действительно «непримиримой» и в особенности ненавидела интеллигентов. Считая всех их «врагами народа», она следила за ними и никому спуску не давала. От этого страдал даже вечно голодный и оборванный старик с явно подозрительной фамилией *Воскресенский*.

Когда же пролетарка Мешкова дозналась, что Воскресенский сидел в концентрационном лагере, ее возмущению не было предела.

— Выпустили! Это проверить надо: а вдруг блат какой? А если действительно выпустили, так это же совсем зря, — горячилась Мешкова, подбивая жильцов коммунальной квартиры послать в органы коллективную просьбу о выселении старика из занимаемой им темной каморки.

В коммунальном муравейнике шептались, конечно, о том, что Воскресенского надо выкинуть. С этим все были согласны. Ну, а дальше что? Начальство считает Мешкову «непримиримой пролеткой». Начальство, само собой разумеется, отдаст каморку не кому другому, а только ей.

Такая перспектива была не по душе коммунальному миру. К тому же все искоса посматривали на активистку, умудрившуюся даже в битком набитой квартире развернуть очень сложную, темную и бесспорно выгодную деятельность.

Зависть привела к тому, что коммунальные жильцы стали рассуждать трезво и на провокационные уговоры Мешковой отвечали дипломатичным пожиманием плеч.

Обо всем этом, конечно, не знал Воскресенский. Он продолжал ютиться в темной каморке, хотя не мог не заметить, что в последнее время его встречают и провожают откровенно злые глаза. Потом, и очень скоро, жильцы свою социальную отчужденность от *бывшего* превратили в закон, запретив Воскресенскому пользоваться общекоммунальной уборной. Когда старику в дурные осенние дни приходилось спускаться вниз и шагать по грязи двора, почти всё население квартиры прилипало к замызганным стеклам окон и со злорадством смотрело на *бывшего,* в худом пальто, истертой солдатской папахе и разбитых красноармейских ботинках бредущего под дождем в дальний угол, откуда всегда неслась вонь запущенной выгребной ямы.

В один из таких осенних дней, и совершенно случайно, в этот двор заглянул Суходолов. Он уже хотел было повернуться и выйти на улицу, но остановился, что-то знакомое почувствовав в фигуре старика, топчущегося у выгребной ямы. Потом он узнал его: то был Воскресенский.

Суходолов не вдруг подошел к старику. Сначала он издали разглядывал его, и чем больше всматривался, тем яснее и яснее восстанавливались те, теперь уже такие далекие дни.

Так произошла встреча Суходолова с его собственным прошлым. Он не сомневался, что перед ним тот самый старик, которого надо было вывести в *расход,* и которого он, Суходолов, неизвестно почему, спас от подвала.

Старик сильно изменился, Худой, обветшалый — он походил на свою тень.

«А всё-таки жив», — подумал Суходолов, испытывая мягкое, почти нежное чувство жалости к обиженному судьбой человеку.

Потом, когда Воскресенский оторвался от выгребной ямы, Суходолов остановил его и спросил:

— Не узнаете знакомого?

Старик поднял большие, равнодушные глаза и тихо ответил:

— У меня, братец, знакомых нет. Давно нет. В одиночку доживаю.

— А кормишься где? — спросил Суходолов и пожалел о своем вопросе.

Действительно, голова старика была похожа на череп, на который с трудом натянули тонкую кожу. Когда старик говорил, вместе с губами двигалось всё его лицо, похожее на маску. За шевелящейся маской наблюдал Суходолов и,

видимо, понял бы слова Воскресенского, если бы в этот момент не появилась Мешкова. По ее решительным движениям и кое-как накинутому на плечи платку можно было догадаться, что мчалась она сюда с намерением устроить хороший скандал.

Увидев Суходолова, она смутилась, вспомнив, что тот однажды был в милиции и что перед ним почтительно стоял начальник отделения.

«Тот самый Суходолов», — с тревогой подумала она, хотя в точности не знала, кто он. Но что Суходолов «личность ответственная» — в этом она не сомневалась, и потому принялась разыгрывать привычную роль «пролетарки Мешковой.

— Да что вы, товарищ Суходолов, с ним толкуете! Он же *бывший,* присосался к нашей коммунальной квартире и никаким чёртом его не выселишь... Кубатуру занимает! А чем живет — не поймешь! Отбросами, что ли, питается. Таких бы ликвидировать, как классово вредных, а его подержали-подержали в концентрационном лагере и по блату выпустили. А зачем нам такие!

Она еще долго говорила, искоса и со злобой посматривая на Воскресенского. Потом льстиво обратилась к Суходолову:

— Вы бы, товарищ Суходолов, помогли нам. Освободили бы нас от классового интеллигента и буржуазного прихвостня.

— Заткнись, стерва! — Суходолов шагнул к Мешковой. — Забудь про старика! Не то...

Мешкова застыла на месте. Когда же Суходолов прохрипел «ну!», она опрометью кинулась в свою коммунальную квартиру, из окон которой за всем происходившим у выгребной ямы с большим вниманием наблюдали любопытные глаза.

Попав в свою закутку (бывшая гостиная фанерой была разделена на три отдельные жилплощади), Мешкова тут же вызвала компаньонку по спекуляции.

— Что стряслось? — заволновалась Толстая Варвара.

Мешкова излагала события, не стесняясь всё искажать и преувеличивать. Когда дошло до громадного пистолета, который, якобы, Суходолов собирался пустить в ход, Мешкова подвела свою наперсницу к форточке.

— Видишь? Видишь? — шептала Мешкова на ухо Толстой Варваре. — Гляди!

Тискаясь у форточки, им удалось заметить, что Суходолов взял старика под руку и вместе с ним направился к под-

воротне. Наблюдения на этом закончились, и потому они не знали, конечно, что Суходолов вывел Воскресенского на площадь и через десять-пятнадцать минут уже сидел с ним в небольшой пивнушке. На столе, у которого они расположились, скоро появился чай и хлеб с колбасой.

— Ешьте, пожалуйста, — сказал Суходолов.

Старик сначала погрел руки на горячем стакане. Потом поднял глаза на Суходолова и совсем обыкновенно признался:

— Я забыл о тепле. Живу, понимаете, в холоде.

— В холоде? — спросил Суходолов.

— В холоде, — подтвердил старик. — Это очень тяжело.

Суходолов вздрогнул. От испуга или удивления, он и сам не знал, и стараясь преодолеть дрожь, пробовал разобраться, почему старик говорит о «холоде», а не о «голоде». И вдруг пришла мысль, что холод страшнее голода. И не тот холод нетопленной комнаты, а другой какой-то, особенный холод, злой холод, жестокий и черствый холод.

Суходолов посмотрел на старика, осторожно пережевывающего маленькие кусочки колбасы и хлеба. Заметив, что стакан уже пуст, Суходолов наполнил его чаем и сказал:

— Пейте! Пейте, профессор.

— Что? Такого слова я уже давно не слышал. *Профессор.* Даже странно, — зашептал старик и отломил кусочек хлеба.

— Почему? — Суходолов сделал попытку говорить весело. — Да это же совсем просто. Мы, ведь, с вами, вроде бы где-то и когда-то познакомились.

Старик перестал жевать, и, словно извиняясь за чужую ошибку, начал оправдываться:

— Нет, тут какое-то недоразумение. Я вас совершенно не знаю. Вы, полагаю, принимаете меня за кого-то другого, обманувшись сходством, какими-то внешними признаками. Нет! — воскликнул Воскресенский, отодвинув от себя чай и положив на тарелку кусок хлеба. — Нет! Вы ошиблись. Понимаете: знакомых у меня уже давно нет. И я вам скажу правду: меня хотели казнить . . . ну, как они говорят: расстрелять! Но раздумали, в концентрационный лагерь отослали. И опять, должно быть, раздумали. Вот и всё. Так что я лучше уйду. Извините.

Старик еще дальше отодвинул от себя тарелку с хлебом, и Суходолову стало ясно, что этот, случайно встреченный им, бывший профессор действительно его не узнает.

— Пейте чай. Я это по-честному. Безо всякого . . .

— Спасибо, — уже натянув на голову солдатскую папаху, сказал старик. — Спасибо. Я пойду . . .

«Да куда вы пойдете!» — хотелось крикнуть Суходолову. Но он сдержался, и после тяжелого раздумья, произнес:

— Что ж. Идите. Может быть даже лучше, что не признали вы меня знакомым и не вспомнили, где мы познакомились. Только . . . хотелось бы мне что-то такое . . . вы, вот, сами говорили, что в *холоде* живете, так мне бы и хотелось сказать что-то *теплое,* человечье. Да только слов подходящих у меня нет. Не имеется у меня таких слов. И всё. Жалость к вам есть. Настоящая жалость, ну, как к отцу, что ли . . . Отец у меня тоже старик . . . А я сам . . . ждет меня конец бешеной собаки. К бешеному концу дело у меня идет, — говорил Суходолов и казалось ему, что слова падают, как свинец. — Так что всё правильно. Правильно и то, что не знаком я вам, потому что я дерьмо и падаль . . .

Старик слушал, и в то же самое время копошился пальцами под подбородком, пытаясь застегнуть рваное пальто на единственную верхнюю пуговицу.

Потому ли, что с пуговицей удалось справиться, или потому, что Суходолов замолчал, старик строго сказал:

— Так не бывает. В каждом и обязательно есть что-то человеческое.

По шевелящимся губам Суходолова можно было догадаться, что он повторяет стариковские слова. Слова были немудрящие, но Суходолову почудилось, что после них в нем самом вздрогнул остаток этого самого человеческого. «Человеческое», надо думать, и заставило Суходолова посмотреть в глаза старика и напомнить:

— О человеке в человеке вы говорите потому . . . потому самому, что вы — профессор богословия.

— Вы даже это знаете? — без удивления спросил Воскресенский и протянул руку. — Прощайте.

Суходолов, пожимая стариковскую руку, представил себе те далекие дни. «Это я, Суходолов, сохранил его для жизни», — мелькнула радостная мысль. Радость не исчезла и после того, как он подумал, что, конечно, старик лишний на этой земле и доживает свои последние дни . . . «До чего было бы хорошо, — сам себе сказал Суходолов, — если б его можно было похоронить в правильной могиле, в могиле и под крестом» . . . «А почему бы так и не похоронить, — это тоже сам себе сказал Суходолов, и добавил: — Похороню» . . .

Когда старика уже не было в пивной, к столику Суходолова подсел Ступица. Как будто прицеливаясь, он разглядывал задумавшегося Суходолова, и когда тот опустил голову на грудь, спросил:

— Ты, товарищ Суходолов, даже не примечаешь, что я возле тебя кручусь уже с полчаса?

Суходолов скосил глаза и далеко не вдруг сообразил, что рваный пиджак и рыжеватые космы на голове подсевшего — это комуфляж, маскировка, под которой прячется второсортный агент Ступица, работающий «втемную» не по особо важным, но весьма нужным для чека заданиям.

Еще раз окинув Ступицу взглядом, Суходолов презрительно бросил:

— Чего тебя примечать! Вот тут только что был человек. Ушел. Мне хотелось с ним посидеть. Не для разговору, а так, понимаешь, как . . . с человеком. А человек — ушел.

— А я — не человек, что ли? — обиделся Ступица.

— Ты? — Суходолов внимательно и словно бы впервые рассмотрев Ступицу, равнодушно сказал: — Ты? Падаль.

Ступица хотел было всё это повернуть в шутку, но заметив, как наливается кровью лицо Суходолова, пересел за другой столик.

Подробно изложенный эпизод со встречей Суходолова с Воскресенским, потом — с пролетаркой Мешковой и второстепенным агентом Ступицей Автору кажется не случайным, наоборот — имеющим большое значение для развития дальнейших событий. Хотя бы потому, например, что в те самые дни, когда Суходолов наткнулся на профессора Воскресенского, Решков был приглашен на обед к Председателю. За обедом, и, в особенности, после обеда, в кабинете, толковали о разных делах и весьма откровенно.

— Знаете, — в конце концов сказал Решков, — верить даже самым преданным нельзя, а народу . . .

— Что народу! — дернул бородкой Председатель. — Народом надо управлять! Ведь вы же сами, Леонид Николаевич, как-то приводили мудрые слова одного из французских королей: «Пусть ненавидят, но боятся» . . . Главное — чтоб боялись. К чему-чему, а к страху мы этот самый «народ-богоносец» приучили!

Решков не стал спорить. К тому же он сам — и с давних пор — чувствовал себя как бы приросшим к Председателю.

— Мы, — шутя признался Решков, — вроде сиамских близнецов.

На это признание Председатель ответил дружеским похлопыванием по плечу.

«Сиамские близнецы» жили, на удивление, по-разному. Это «по-разному» и заставило Решкова не сказать Председателю, что один из вернейших и преданнейших, то есть Суходолов, потерян для Октября. Промолчал Решков и о том, что это он довел Суходолова до мысли оглянуться на свое прошлое, поковыряться в своей душе и как бы под увеличительным стеклом совести посмотреть на себя, на своего отца, на мельникову дочку Ксюшу, и сказать:

— Спасибо, Леонид Николаевич. Правильно и верно вы рассуждаете. Нельзя жить без оглядки. Так что я поеду к отцу.

— Надолго? — спросил Решков, хотя был убежден, что поездка эта — для Суходолова — уже навсегда.

Об этом тоже не говорил Решков, хотя и вспомнил свою квартиру, свой письменный стол, на котором лежал календарь. Календарь показывал 22 января 1922 года . . . 22 января 1922 года Решков перечеркнул красным карандашом.

Это несколько нервное перечеркивание календарного листка позволяет Автору начать — —

РАССКАЗ О НОЧНОЙ БЕСЕДЕ СУХОДОЛОВА С ОТЦОМ

В поезде, а потом сидя в санях, Суходолов пытался разобраться в том, какая же, всё-таки, сила заставила его тронуться сюда, на Тамбовщину. Ну, да, она родная — Тамбовщина. Но о ней он не любил вспоминать. Может быть даже и потому, что сознавал: Тамбовщина тоже хочет забыть о своем сыне, в 1920 году начальником Особого Отдела носившимся по тамбовским деревням и селам и кровью тушившим крестьянский пожар восстания.

Так было *тогда.* С тех пор прошло два года. Что *теперь?*

«Что теперь? — спросил себя Суходолов, идя по прячущейся в сумерки улице своего родного села. — И зачем я здесь?»

Он даже остановился, потрясенный простотой вопросов. Но вместо ответа припомнился Решков, с тяжелой настойчивостью расспрашивавший его, Суходолова, о его молодости, об урожайных полях Тамбовщины и о песнях, которые пелись на тамбовской земле. Решков поднимал брови, удивлялся, как это можно забыть родной дом, не взглянуть на

старика отца. Когда же Суходолов признался, что страшно смотреть в глаза отцу, Решков вроде бы всё понял, и сказал:

— Отец же он тебе. Какой отец не простит сыну? А потом... у тебя, Семен Семенович, там девушка была? Ты мне говорил о ней. Как ее? Ах, да: Ксюша. Имя-то какое: Ксюша!

— Ксюша, — прошептал Суходолов, и только теперь заметил, что стоит на деревенской улице.

Подняв глаза к небу, он увидел звезды. Свои звезды. Над тамбовской землей.

— Вот я и дома, — глубоко вздохнув, громко произнес Суходолов и зашагал мимо темных домов.

Дома он узнавал, хотя многие из них стояли без окон и дверей. Вывороченные рамы, разбитые калитки, валяющиеся кой-где обломки еще недавно таких добротных мужицких сундуков — всё это было последним памятником прошлому.

Чем дальше он шел, тем двигался всё неувереннее, а перед воротами отцовского дома и вовсе остановился, с тоской думая, что всё это — ни к чему, зря придуманная затея. Не правильнее ли повернуться, уйти на станцию, дождаться первого поезда и уехать.

Куда? Не всё ли равно! Лишь бы уехать, спастись от того, что спрятанным спокойно лежало в глуби памяти, а вот теперь начинает шевелиться, чтобы подняться и показать ему знакомые, близкие лица, но теперь уже с мертвыми глазами.

Суходолов, весьма возможно, и ушел бы, если бы вдруг из-за двери избы не раздался голос:

— Да кто там топчется? Заходи, что ли...

Суходолов протянул руку и открыл дверь. У стола, при слабом свете крошечной керосиновой лампочки, сидел отец.

— Да ты кто? — спросил старик. — Давай поближе. Разглядеть не могу. А по голосу — не угадываю.

— Это я, отец...

— Семен!? Ты?

— Я, отец. Видишь, приехал. Чтоб помог ты мне. Чтобы слово такое сказал, от которого полегчало бы мне.

Как слепой, посмотрел старик и сурово сказал:

— Нету у меня для тебя слова.

— Да как же так? Ведь отец ты?

— Уйди, Семен, — простонал старик. — Спорить мне с тобой не об чем. Что было — то было. Не вороши минулое. Уйди!

— Батя, — Суходолов протянул руки. — Отец. Ну посмотри. Видишь, душой я совсем изломанный. Не гони! Ведь отец ты мне!

Старик опустил голову. Молчал он так томительно долго, что Суходолов не выдержал.

— Отец. Помилуй. Вот я у тебя... Думал, услышу доброе слово, отпустишь, думал, ты грех мой. Простишь. И таким прощенным я пойду искать себе могилу.

Старик поднял подслеповатые глаза, и Суходолову показалось, что сейчас они затянутся пленкой и навсегда потухнут.

— Семен, — чуть слышно прошептал отец, и Суходолов увидел, как по щеке старика скользнула слеза. — Семен. Ты сын мне, а вот как мне за тебя перед моим Богом ответ держать? Что я Ему скажу? А за тебя, Семен, я бы на крест пошел, чтоб милость к тебе была.

Суходолову стало страшно, но каким-то особым, облегчающим страхом.

— Видишь, Семен, — доносились тихие слова, — какой стороной жизнь повернулась? Чувствуешь, к какому берегу тебя прибило? А начиналось всё как? Ты по лугам тамбовским мальчонкой шнырял, и вырос тут, и — может помнишь? — с мельниковой дочкой Ксюшей семью затевал строить. А потом что? Эх, ты! От жизни отвернулся. От людей. А ты знаешь что с нею, с Ксюшей, сталось? Не знаешь! Так я тебе скажу. Когда тут красные с Антоновым, с нашими мужиками расправлялись, ты тут главным по Особому Отделу состоял. Об том мне известно. И об том, что ты Ксюшу искал, тоже знаю. Да только не нашел ты ее. А почему — я тебе открою. По большой причине ты не нашел ее. Был у тебя помощник Мохов. А при Мохове такой чекист Семыхин верховодил. Семыхина может помнишь? Так вот, они у меня на постое стояли, вместе с комиссаром. Они, значит, днем свирепствовали над мужиками, над антоновцами, а вечерами самогонку лакали и, охмелевши, друг перед дружкой похвалялись, кто и чего стоит. А я сижу в пристройке, и что в горнице творится — мне всё слышно. Мохов и говорит комиссару, конечно, впереди будущее мировое торжество. Да только, говорит, за это за самое торжество... за это торжество, говорит Мохов, у меня, дорогой товарищ комиссар, полный трудовой стаж и руки по самые плечи в крови. Так что на торжестве мирового господства, говорит Мохов, вы меня с узкого края праздничного стола показывать будете. А комиссар, значит, ему похвалу шьет, дейст-

вительно, подтверждает, ты того заслужил. Не зря тебе и орден дали. А Мохов пьяный-распьяный как засмеется и с визгом спрашивает, объясни, спрашивает, как кровь-то с рук смывать будем? Комиссар тоже смеется, чего, дескать смывать, кровь для ради победы коммунизма. А, ведь, правильно, опять смеется Мохов, и говорит, значит, кровь под стать знаменам — она красная, кровь рабоче-крестьянская да плюс к тому и отцов-братьев родных и вон той девушки одной. Ладная да складная, говорит Мохов, была такая девушка. Ксюша, говорит, по имени. Ксюша своего батьку-мельника грудкой прикрывала, своими руками от меня отрывала, а я вот, говорит Мохов, вот я, дорогой товарищ комиссар, и приказываю ему, смотри на него, вот этому Семыхину: «А ну-ка, Семыхин, стрельни!» А Семыхин — в эту самую Ксюшину грудку да из нагана . . .

— Семыхин? — склонившись к отцу, спросил Суходолов.

— Он самый. Он тоже тогда вот в этой горнице сидел, где мы сейчас. Он самый Семыхин и пистолет вытащил, и так играючи пистолетом, объяснял, как, значит, пулею достал Ксюшу, — ответил старик и скользнул мутными глазами по стенам избы. Потом, словно впервые увидев перед собою сына, тяжело вздохнул:

— Эх, Семен, Семен.

Суходолов кинулся к отцу, и теперь они, прижавшиеся друг к другу и лицом схожие, казались крепко уставшими, присевшими передохнуть после трудного пути или вспомнить что-то очень нужное. Суходолов, действительно, начал рассказывать про то, уже давнее время, когда он был главным по Особому отделу. Картина наплывала на картину. Одна страшнее другой.

— Перед моими глазами, отец, — говорил Суходолов, — вроде бы стоит один мужик. Наш, тамбовский. Уже после Антоновщины. Понимаешь, батя, вот этого мужика, Акима, забрали как кулака и противника власти. И ко мне доставили. Аким никак не мог понять, за что его арестовали и за что расстреливать будут. «Ты пойми, — говорил мне Аким, — я человек конченный. Мне шестой десяток завтра закругляется, а ты мне шьешь дело, контрреволюцию и вообще антисоветскую вылазку. Ты хочешь меня к стенке поставить, так ты опоздал: тебе надо было чуток пораньше счет со мною сводить. А ты теперь вздумал. Когда у меня ни винтовки, ни пулемета, ничего. Безоружного вы меня взяли и ребра мне на радостях поломали. С таким-то вот ты и горазд на расправу. Это когда у вас всё — а у нас ничего».

Обнявшись, они так и сидели и не обращали внимания, что в лампочке уже к концу подходил керосин, а в окно заглядывало утро. Суходолов всё говорил и говорил. Самому себе или отцу?

— Вот этого Акима я забыть не в силах, батя, — признавался Суходолов. — Вот и сейчас вижу этого тамбовца, всего в крови, изуродованного и взаправду конченого. Да только и конченый, он шевелил черными губами и даже подмигивал выбитым глазом. Просто не верилось, что такой еще может говорить. А он не молчал . . . «Ты, вот, — говорил он мне, — со своей партией заставляешь народ жить по-вашему, по коммунизму, по программе, по какой-то категории. А народу всё это ни к чему. Народу желательно жить сегодня, и сегодня сидеть за столом и жевать свой хлеб, пить свой квас, пахать свою землю. Ты сокрушаешь наше *сегодня* и для вашего *завтра* отбираешь хлеб, землю, волю и жизнь. И приказываешь: работай на партию, молись на партию, забудь себя — для ради программы, для устава, по которому будут жить *потом,* когда никого из нас не будет на свете. А мы так не хотим. Я тебе даже скажу, — говорил этот Аким, — что если б ваш Маркс нынче сидел вот тут, рядом с тобой за этим столом, и послушал бы, о чем я толкую, он бы тебя самого уничтожил, а меня . . . по-твоему я — «кулацкое отродье» . . . меня бы он разгадал до конца. Потому что Маркс жил по-человечески, дай Бог каждому, и деток плодил, и счет рублям знал, и дочек замуж выдавал, и аккуратно бороду подстригал, и книжки про людей писал. Про людское дело. Про какое? Да про то самое что ни на есть простое, про то, про мое, чтоб я жевал свой хлеб, чтоб около меня были и сыны мои и внуки. Вот это и есть справедливая жизнь. А вы к чему Маркса приспособили? По учению Маркса — даешь коммунизм! Под знаменами Маркса — по мужикам «пли!» Для торжества идей Маркса — кровь, кровь, кровь . . .»

Признавшись, что всё-таки был расстрелян этот тамбовец по его, суходоловскому приказу, Суходолов сказал:

— Вот, батя, в эту самую минуту, вроде бы я слушаю прилетающие из давности слова мертвого теперь человека, слушаю, и не могу перестать слушать. Понимаешь, батя, о чем он еще говорил? О том, значит, что в Царствие Небесное можно верить или не верить, это дело такое, а вот тут заставляют в царствие коммунизма верить. Да еще без разговора и сомнения, придет оно или не придет. Сказано: придет! А сколько можно ждать? Сплошные победы и дости-

жения? Ура партии и правительству? А за что? «Действительно, — говорил Аким, — достижения у вас имеются. В расстрелах. Да только об этих достижениях вы не объявляете, сами где-то втихомолку подсчитываете *миллионы*. Вот и меня, — говорил Аким, — ты в расход выведешь. В какой, спрашиваю, меня *миллион* впишешь? Молчишь? Или, может, скажешь, что этот очередной *миллион* называется строительством? Без думки о том, что в таком строительстве гибнет живая жизнь».

Уже перед самым рассветом собрался Суходолов покинуть отцовский дом. Поднявшись со скамьи, он хотел было поцеловать полуслепые стариковские глаза. Да не осмелился и тихо сказал:

— Так, отец, я слушал Акима. А вот теперь летят ко мне его слова. От слов этих невмоготу мне и хочется крикнуть: «Перестань!» Да кричать-то некому: Акима нет в живых, в какой его *миллион* вписали, не знаю, и потому больно мне, что взаправду уничтожали жизнь. И не только Акимову и Ксюшину, да и мою. А жизнь могла быть другой. За ту жизнь и шевелится во мне совесть и холодно мне. Прощай, отец. Холодно мне.

Он пошел к двери, и почувствовал, что на его спине выступил пот, собрался каплей и ледяной каплей покатился меж лопаток вниз.

— Семен . . . Сеня.

Шепот отца услышал Суходолов, но не остановился и не вернулся. Правильно ли он поступил, он не знал, хотя был уверен, что случился нужный, последний и справедливый разговор и что за захлопнувшейся с жалобным скрипом дверью остался мир, в котором ему уже нет места.

Тут Автор, совершенно не настаивая на бесспорности своих доводов, склоняется к мысли, что вдруг родившееся у Суходолова ощущение утраты места в обычном мире — пусть и по другим мотивам — волновало и Решкова.

Решков, конечно, не мог знать о подробностях встречи Суходолова с отцом, об их ночной беседе и о том как, в конце концов, Суходолов — вслед за жалобным скрипом крестьянской двери — очутился на деревенской улице, потом шел по тяжелой снежной дороге чуть ли не весь день, чтобы добраться до железнодорожной станции.

На станции — опять была ночь — к задумавшемуся Суходолову с разных сторон осторожно двигались два местных чекиста. Они приняли в расчет широкие плечи Суходолова и его суровое лицо, опасно похожее на лица крепких там-

бовских крестьян. Чекисты были готовы к *операции.* Операция не состоялась.

— Не бойсь! — сказал Суходолов. — Давайте знакомиться.

На приглашение к знакомству они ответили поднятыми пистолетами.

— Правильно, — похвалил Суходолов, и протянул даже не удостоверение, а *мандат,* на котором была и подпись Ленина.

— Мы столько о вас слышали, товарищ Суходолов, — слегка волнуясь и перебивая друг друга, говорили чекисты. — А познакомиться и увидеть вас пришлось при таких обстоятельствах.

Потом они сидели в ОТЧК — отделении транспортной чрезвычайной комиссии. До красна раскаленная «буржуйка» и густой махорочный дым напомнили Суходолову о былых кратковременных привалах карательных отрядов в тамбовских деревнях. Сходство усиливалось и готовым к действию пулеметом и висящими у дверей гранатами.

Суходолов поморщился, узнав, что выбраться отсюда можно будет только днем.

— До утра никакого движения? — спросил он.

Начальник ОТЧК помялся и нерешительно объяснил, что ночью ходят лишь маршрутные, особого назначения, составы.

— С *живым* грузом, — добавил он. — Место назначения — Тульский Централ. Идут без остановки на нашей станции. Скоро такой маршрутный и пройдет. Из Козлова. Так что, если хотите, на минутку задержим. Только вам придется ехать в теплушке, с конвоем, в духоте.

Поезд, сорок товарных вагонов которого были набиты козловскими мужиками и бабами, вывез Суходолова с Тамбовщины.

Бабьи вопли, долетавшие до теплушки и вызывавшие у конвоя смех и дружную ругань, Суходолову казались плачем над его полуслепым отцом, оставшимся доживать свои дни в мире, из которого он, Семен Семенович Суходолов, сам себя выключил.

Жалел ли он об этом? Автор не осмеливается сказать «да» и воздерживается от категорического «нет».

Автора больше привлекает убеждение, что пусть и далеко отличное от суходоловского «выключения» — своеобразное «выключение» из привычного мира испытывал и Леонид Николаевич Решков.

Сложность этих двух «выключений» — в будущем — отразится на судьбах некоторых героев «Моли», почему Автор находит нужным рассказать о том — —

КАК РЕШКОВ И СУХОДОЛОВ, КАЖДЫЙ ПО-СВОЕМУ, ПОДОШЛИ К ОЦЕНКЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Решков всё чаще испытывал тревогу перед приближением тех часов, когда приходилось оставаться наедине с самим собой. Постепенно, раз от разу усиливаясь, эта тревога превратилась, наконец, в физически ощущаемую тесноту загадочно мрачной и странной камеры, лишенной окон и двери. Мысль о такой камере вызывала душевные спазмы.

Психиатр, конечно, это объяснил бы просто, поставил бы диагноз: «боязнь одиночества», и посоветовал бы тот или иной курс лечения. Врач, видимо, был бы прав. Но Автору кажется, что «случай Решкова» нельзя втиснуть в рамки, пусть и медицинских, но однозначных решений.

Как наркоман живет томительным ожиданием получить дозу морфия, так и Леонид Николаевич Решков — внешне безукоризненный помощник Председателя — стремился в созданную воображением *камеру*, чтобы мучиться в ней и в полубреду стонать над маленькой фотографией, с которой время еще не успело стереть изображение полковника Мовицкого и его дочери.

Была одна из суббот февраля 1922 года.

— Что ж, — часов в семь вечера сказал Председатель, — поработали. Давайте завтра устроим передышку. Да?

Решков ответил «да», и минут через десять, уже сидя в старом фордике, рассматривал зимнее московское небо, потом — пустые московские улицы и, наконец, дом, у которого остановился автомобиль.

— Завтра подавать машину? — спросил шофер.

— Завтра? Нет! Завтра — передышка.

— Есть передышка! — повторил шофер и радостно крикнул: — Газуй, старая!

Решков медленно и тяжело шагал по ступенькам лестницы. На площадке второго этажа он остановился и в недоумении поднял плечи. Так, с поднятыми плечами, он очутился на третьем этаже. Он как будто бы не сразу сообразил, что стоит перед дверью своей квартиры.

Комнаты встретили его привычной теплотой уюта, блеском паркета и благородной строгостью книжного шкафа.

На всё это Решков не обратил внимания и грузно опустился на диван. Он был обжитой, этот диван, и обращаясь к нему, Решков сказал:

— Вот и передышка, — и тут же поднялся, подошел к буфету и вернулся к столу с бутылкой коньяка. — А это вот и утешение.

Когда была выпита шестая или седьмая рюмка, Решков должен был сознаться, что обман самого себя не удался. Мелькнувшая мысль, что у него — у Леонида Николаевича — нет и не может быть надежды на утешение, заставила нахмуриться. А вот у других, подумал он со злостью, она есть, хотя бы в сожалении, что они опоздали родиться, что им надо было появиться на свет Божий лет семьдесят или сто назад, в императорской России, под трехцветным флагом, когда можно было с кем-то спорить, не соглашаться, можно было, наконец, попасть в тюрьму и, подобно Чернышевскому в Петропавловской крепости, получать бумагу, чернила, перья и *право* писать повести, драмы и романы.

Вспомнив о Петропавловской крепости и Чернышевском, Решков отвернулся от стола и направился к книжному шкафу. Стеклянная дверца открылась легко. Решков взял *«Воспоминания Авдотьи Панаевой»*.

Решков и раньше недоумевал, почему эти «Воспоминания» — явная насмешка над ленинской политикой — были изданы «Академией» в самом начале революции. Потом недоумение сменилось догадкой, что умный Корней Чуковский облопошил цензурных простаков, ввел их в заблуждение своим блестящим предисловием к «Воспоминаниям», и книга — с маркой «Академия» — нашла своего читателя.

«Воспоминания Авдотьи Панаевой» как-то подсунул Решкову Мохов, ехидно посоветовав познакомиться с ними, чтобы судить «о проклятом прошлом».

Книгу Решков тогда же и прочитал. А в эту субботу, открыв ее на странице четыреста сорок шестой, он равнодушно скользнул по рассказу о том, как Чернышевский, сидя в Петропавловской крепости, писал роман «Что делать?». Затем, листая дальше «Воспоминания Авдотьи Панаевой», Решков остановился на таких строчках:

> ...Редакция «Современника» с нетерпением ждала рукопись Чернышевского. Наконец, она была получена из Петропавловской крепости, со множеством печатей, доказывавших ее долгое странствование по разным цензурам. Сам Некрасов повез рукопись в типографию Вульфа... Но не прошло и четверти

часа, как Некрасов вернулся и, войдя ко мне в комнату, поразил меня потерянным выражением лица...

— Со мной случилось большое несчастье, — сказал он. — Я обронил рукопись!

Некрасов был в отчаянии. Он говорил:

— И чёрт понес меня сегодня выехать на дрожках, а не в карете. Близёхонько до типографии, а не мог довезти до типографии толстую рукопись!

Я поторопила Некрасова написать объявление в газеты о потере рукописи. В «Ведомостях Санкт-Петербургской полиции» номера 29, 30 и 31 в 1863 году были напечатаны объявления: «3 февраля на углу Литейной и Бассейной обронен сверток рукописи с обозначением «Что делать?»

Решков не стал читать дальше «Воспоминания Авдотьи Панаевой» ... Ну, конечно, после объявления в «Ведомостях Санкт-Петербургской полиции» за 1863 год рукопись была доставлена в квартиру Авдотьи Панаевой и роман Чернышевского «Что делать?» появился в журнале «Современник».

Что ж, подумал Решков, правы те, другие, тоскующие, что они родились с опозданием. Ему сожалеть не о чем. Для него дата рождения не имеет значения: в любое время, в любой обстановке он остался бы таким, каким он был и сейчас. Но, ведь, и у него была возможность стать иным? Была. Он ею не воспользовался, и перед ним — жизнь в развалинах. Под развалинами — прекрасная культура, в которую его, бывшего Леньку, сына портовой девки, потом студента Леонида Николаевича Решкова, вводил господин полковник Мовицкий.

Решков был настолько честен перед самим собою, что это введение в теперь уже погребенную культуру признал не барской прихотью или благодеянием. Господин полковник распахнул перед ним дверь своего дома, искренне и со щедростью душевно богатого человека принял в свою семью, поставил рядом со своим сыном Павлом и дочерью Ириной.

Развалины... Прищуренными глазами рассматривает их Решков, ковыряется в тайниках своей совести и шатается под грузом взваливаемых на себя преступлений. Их очень много. От них он не отрекается, хотя и сознает, что в припадке нравственного самоистязания принимает на себя ответственность и за чужие грехи. Ему всё равно. Цели у него нет.

«А была ли она когда-нибудь?» — спросил он себя, рассматривая лежащую на столе старую фотографию. С фотографии смотрели выцветшие от времени изображения полковника и его дочери.

Губы Решкова вздрогнули. Если бы он не был сегодняшним Леонидом Николаевичем Решковым, он, вероятно, разрыдался бы над этим снимком. Но слез у него нет. Откуда им взяться? С сухими, равнодушными глазами идет он своим путем, шагает тупо, без желания остановиться, что-то перерешить или хотя бы отложить на потом.

Его ничто не привязывает ни к жизни, ни к людям. Он чувствует себя перекати-полем, оторвавшимся от слабого корешка, кормившего и державшего на месте. Перекати-поле будет мчаться. Куда?

Решков растерянно оглянулся вокруг, словно выбирая направление, но тут же сообразил, что это ошибка, что ничего и никогда он не будет ни определять, ни решать.

«А если так, — сказал себе Решков, — значит . . .»

Фраза осталась не законченной, последние слова не были произнесены. Но сдаваться он всё же не хотел. Иллюзия самолично выбираемого пути была обольстительной.

«А вот возьму и всё переиначу», — продолжал обманывать себя Решков, с радостной растерянностью наблюдая, что к нему несутся мысли, чем-то напоминающие древние, торжественные и великие проповеди.

— Да, да, — шептал Решков, и соломинка превращалась в стальную опору, готовую не только принять на себя, но и выдержать всю тяжесть жизни.

Решкову может быть удалось бы что-то додумать до конца, что-то решить и освободиться от душевного страдания, если бы вдруг он не вспомнил, что недавно возникавшие отрывки проповедей — это то самое, что было принесено человечеству давным-давно, наивной верой людей в какие-то заповеди, верой в какого-то Христа.

Мысль о Христе сразу же сменилась мыслью о Кресте, на котором Тот был распят.

«О чем это я? — растерянно подумал Решков. — Я в чем-то запутался. Во всем этом надо разобраться».

Но разобраться ему так и не удалось: в дверь стучали.

— Кто там? — спросил Решков.

— Дежурный оперативной части.

Решков открыл дверь и принял конверт с пометкой: «Срочно. Лично. Секретно».

Когда дежурный ушел, часы пробили полночь.

«Вот тебе и воскресная передышка», — прочитав распоряжение, подумал Решков.

Приказ Председателя явиться точно в девять часов утра его не удивил, хотя совсем недавно сам же Председатель

говорил о «передышке». Значит, что-то важное стряслось. Строя догадки Решков остановился, в конце концов, на наиболее вероятном предположении, что поступили новые материалы по делу заговорщиков, с которыми был связан белогвардеец Феликс Вольский, ускользнувший из рук чекистов.

Решков был далек от истины. Это легко объяснить тем, что он совсем забыл о Суходолове, так и не вернувшемся из поездки в одно из сел Тамбовщины. Не знал, конечно, Решков и о том, что Председатель изучил донесение двух опытных агентов, случайно установивших, что Суходолов в Москве, но в чека не явился. «Он, — осторожно писали агенты, — вроде бы перешел на нелегальное положение».

С этим нелегальным, подделавшимся под рабочего в поношенном пальто и кепке, и столкнулись агенты, но остановить Суходолова не рискнули. «О чем и сообщаем, — заканчивали свое донесение агенты. — А где сейчас Суходолов — не знаем».

Догадайсь, что вызывают его по «Делу Суходолова», Решков, понятно, мог бы самому себе сказать с удовлетворением: «Ты, Леонид Николаевич, свой «суходоловский вариант» довел до конца».

Но он об этом не догадывался и, конечно, не мог знать, что теперь уже «нелегальный» Суходолов, пробираясь по одному из переулков в районе Каланчевской площади, заметил Воскресенского, прижавшегося к стене углового дома.

Суходолов долго рассматривал эту жалкую, видимо уже давно мерзнущую на холодном ветру фигуру. Всё: и потрепанное пальто, и разбитые красноармейские ботинки, и мёртвенная желтизна щек — такое, в общем всё обычное — встревожило Суходолова. Сам себя поставивший «вне закона», он увидел чужую окончательную обреченность и вздрогнул от жалости.

Понять это очень трудно. В самом деле, кто заглянет в душу Суходолова и кто объяснит, почему он подошел к старику и спросил:

— Значит, выгнала-таки вас из каморки пролетарка Мешкова?

Воскресенский с трудом поднял остывшие глаза и узнал Суходолова.

— Пришлось уйти. А вот куда идти — не знаю. И стою тут. Словно задачу решаю.

— И давно стоите?

Воскресенский переступил с ноги на ногу. Из его рваных красноармейских ботинок потекла грязная жижа.

— Да говорите хоть что-нибудь! — крикнул Суходолов, широко открытыми глазами следя, как, подобно живым червям, из ботинок Воскресенского выползает грязь. — Отвечайте: когда вас выкинула пролетарка Мешкова?

Продолжая топтаться на месте, старик посмотрел вокруг себя, потом скользнул взглядом по серому небу и убедившись, что всё осталось прежним, сказал:

— Со вчерашнего дня. Я сам ушел. Они все хотели.

— Кто хотел? Мешкова?

— Все. Чужой я им. Даже кажется: я сам себе чужой.

В груди Суходолова что-то оборвалось. Не выдержав, он обнял старика и прошептал:

— Ты мне не чужой.

Воскресенский с удивлением рассматривал Суходолова, вдруг ставшего до странности близким своими широкими плечами и простым лицом. Всё, и плечи его и лицо, Воскресенский воспринимал как что-то радостное, уверенное, позволяющее думать настоящими мыслями и говорить правдивыми словами.

— Я вам не чужой? — спросил он.

— Вы мой . . . совсем, совсем родной, — торопливо ответил Суходолов, — близкий. У меня на Тамбовщине отец. Как бы это сказать? Что-то такое легло между мною и отцом. Окончательно. *Правда* легла между нами, и правда навсегда отгородила меня от отца. Назад мне пути нет. И потому вы для меня, как отец.

О многом еще говорил Суходолов, о таком большом и тяжелом, что теперь уже не Воскресенский казался потерянным и конченным человеком. Он как будто окреп, глаза его наполнились такой глубокой мыслью, что, — это уже подумал Суходолов, — стоит лишь Воскресенскому начать рассказывать — всё мутное и спорное сразу же прояснится.

Боясь упустить возможность большого и нужного разговора, Суходолов привел Воскресенского в покинутую им темную и холодную каморку той коммунальной квартиры, в которой верховодила пролетарка Мешкова.

На шорох выглянула Мешкова, но заметив Суходолова, тут же и без звука шмыгнула в свою закуту.

В каморке, кроме сбитого из старых досок топчана, ничего не было.

— Тут где-то коптилка, — сказал Воскресенский.

Суходолов нашел коптилку, поправил фитилек и зажег его. При свете тусклого огонька он увидел на лице Воскресенского глубокие и очень спокойные морщины.

— Я всё понял, — разглядывая эти морщины, говорил Суходолов, — разобрался. В самом себе. Я, знаете, я, ведь, за *ними* сознательно пошел. С верой. Так, как идет слепой за поводырем. Куда поводырь — туда и я. Что поводырь скажет, то я исполнял. А потом... не сразу... мои глаза слепые открывались и открывались, и увидел я, что поводырь мой сплошь в сифилисе. Сволочь, одним словом, поводырь, и вел он меня и всех таких, как я, слепых, против отца, брата, против сына. И я шел. И не год, и не два. Долго шел. Вот это и страшно. Страшно, что у других глаза не открываются. А откроются ли когда — не знаю. Вот в чем страх.

Пока обо всем этом говорил Суходолов, фитилек коптилки обгорел, и теперь уже трудно было разобрать, куда смотрит старик.

— Как же дальше быть? И куда повернется дело? — спросил Суходолов.

Старик печально качнул головой.

— Неужто так и дальше? Против того, чем жив человек?

— Я не говорю о вас, — тихо ответил Воскресенский. — О тех говорю, которые остались такими, каким вы были, Они уничтожают прошлое. Рушат всё. И детей своих будут воспитывать в ненависти к прошлому, и это прошлое станут топить в человеческой крови. Что с них возьмешь? Правда, потом, несколько позже, они непоследовательно и глупо возьмутся за лозунги любить *прошлое*. Будут лживо восхищаться древнерусским зодчеством, прошлой литературой, вспомнят церковку князя Суздальского, начнут требовать уважения к Юрию Долгорукому и Александру Невскому, примутся рассуждать о необходимости беречь «исторические памятники» и народные традиции, хранить бережно то, что так легко и просто сберегало, любило, возводило то самое *прошлое,* которое они с беспощадностью уничтожали. И вот что получится: призывая уважать, любить всё это — они будут сознавать, что никто словам их не верит, что все их проповеди — это же вывернутая наизнанку та же самая, начатая ими, ненависть к прошлому, без которой они дальше и не могут жить. Когда я сегодня смотрю на ваших комсомольцев и пионеров, по вашей воле ставших точной копией вас же самих, этих комсомольцев я не обвиняю. Они тут ни при чем. Среда и время формируют человека.

Среда — это те, с кем вы были. А время? Ленинское. Среда и время создали вас и детей ваших. И если они, эти дети, будут продолжать ваше дело, и воспитывать своих детей для продолжения беспощадности, что ж, свою историческую миссию вы завершите с исключительной талантливостью.

— Выходит: надежды нет? — спросил Суходолов. — Закруглилось, значит, как в приговоре *тройки*.

— А вы, — тут старик потер свои худые руки, словно смывая с них грязь, — вы что же думаете? Своим детям вы оставили постыдную историю. Руины. Нет, нет! — воскликнул старик. — Я говорю не о руинах на месте древних святынь. Я говорю о руинах душевных, моральных. Собор, при желании, можно как-то восстановить. В год . . . В три года . . . В пять лет . . . Душу человеческую — восстановить трудно. Для этого нужен честный труд многих, очень многих и, главное, честных поколений.

— Не доживем?

— Не доживем, — покорно согласился Воскресенский. — Поздно мечтать об этом.

Может быть потому, что старик глубоко вздохнул, коптилка — еле-еле мигавшая — погасла.

В темной каморке наступила тишина.

Эта тишина, считает нужным отметить Автор, заставила пролетарку Мешкову не спать до рассвета. Ей, конечно, не терпелось приложить ухо к худой дверке каморки и узнать, о чем это большой и ответственный товарищ Суходолов может говорить с классово-чуждой личностью?

Но пролетарка Мешкова была «идейной и сознательной». На риск она не пошла. Даже когда около шести часов утра послышались удаляющиеся шаги Суходолова, она еще долго и терпеливо сидела, и только убедившись, что Суходолов больше не вернется, зажгла огарок свечи и со свечой заглянула в темную, безоконную каморку старика.

Старик лежал на топчане, лицом вверх, с открытыми глазами. Глаза были большие, живые и до того чистые, что пролетарке Мешковой захотелось плюнуть в них и сказать старику такое подлое слово, от которого бы он задохнулся.

С этой целью она и шагнула к лежащему, но сразу же в страхе отшатнулась, заметив в стариковских зрачках колеблющееся отражение огонька свечи.

Пятясь, она вышла из каморки, и только попав к себе, в свою закуту, взвизгнула:

— У, гнида проклятая!

Автор об этой злобе пролетарки Мешковой считает нужным напомнить хотя б ы потому, что через несколько часов, а точнее: в девять утра *того* воскресенья, с такой же *идейной* злобой говорил Председатель о Суходолове, изменнике и предателе, который должен быть найден, доставлен в подвал Лубянки и уничтожен.

Решкову и всем присутствовавшим на этом *особом* заседании в кабинете Председателя, было ясно: Суходолов списан в *расход*.

Когда заседание окончилось и все поднялись с мест, Председатель кивнул Решкову:

— Ты останься. Поговорим.

Громадный кабинет опустел.

— Садись! — приказал Председатель и дернул бородкой. — Видишь ли, тебе надо взяться за операцию. К тому же, — Председатель усмехнулся, — Суходолов в дружках у тебя состоял, так что и счет у тебя с ним отдельный. Действуй осторожно. Самого Суходолова, как только нападешь на след, сразу не трогай. Ликвидировать его будем потом. Ну, да ты знаешь: где-то около нас, вот тут рядом где-то, сидит информатор Суходолова. Информатор, понимаешь, для нас опаснее самого Суходолова. Да что тебе объяснять! — Председатель стукнул кулаком по столу. — Главное — раскрыть информатора! Отсюда и цель операции: любой ценой обнаружить провокатора-информатора. Это главное! И потому ни минутой раньше нельзя трогать Суходолова. Ясно? Вопросов нет?

— Нет, — ответил Решков, — всё ясно. По следу надо пустить Семыхина.

— Семыхина? — спросил Председатель. — Что ж. Не плохо. Семыхин, конечно, сволочь, но бо-о-ольшой мастер работать в темную.

Тут Автор пропускает несколько месяцев и подходит к концу июля 1922 года, когда Решков получил от Семыхина сообщение. Семыхин подробно и с хвастовством изложил свои переживания и похождения, завершившиеся тем, что удалось-таки установить: Суходолов спрятался в Киеве, в одном из тайников Подола.

Свое послание Семыхин закончил словами: «Уверенно иду по линии операции. Держу вас в курсе».

Решков сжал губы. В глубине души шевельнулось легкое сожаление, укол совести, вернувший Решкова в совсем недавнее прошлое, когда он сам подталкивал к гибели этого широкоплечего сына тамбовской земли.

Зачем всё это делалось, об этом не спросил себя Решков. Да и спрашивать было поздно. Оставалось — ждать.

Во втором сообщении Семыхина уже не было признаков уверенности и хвастовства. Семыхин писал, что ему пришлось — случайно — столкнуться с Суходоловым, и что Суходолов его узнал.

«Игра в темную, — писал Семыхин, — провалилась. Суходолов обо всем догадался. Мне надо смыться. До получения инструкции — я затаюсь на Трухановом острове. Жду срочных указаний...»

«Ждет указаний», — подумал Решков, и почувствовал себя как бы выбравшимся из холодного тумана. Что-то теплое, вроде сочувствия к Суходолову, коснулось Решкова. Возникло желание услышать того, кто видел *теперешнего* Суходолова.

Семыхину было послано распоряжение: «Явиться 25 августа для личного доклада».

Наступило 25 августа 1922 года. Весь день Решков провел в кабинете: вот-вот раздастся телефонный звонок и доложат, что с некоторым опозданием прибыл Семыхин и просит принять для личной беседы.

Беседа не состоялась, не могла состояться ни в назначенный, ни в более поздний срок. А почему — об этом в рассказе, как — —

СЕМЫХИН ВЫШЕЛ ИЗ ИГРЫ

26 августа 1922 года сотрудники МУРа — московского уголовного розыска — внимательно осмотрели маленький деревянный домик, потом вошли во двор и, взглянув на мирно дремавшего, совсем дряхлого пса, постучали в дверь.

Когда дверь приоткрылась, они увидели старушку. Было ей, надо полагать, лет под девяносто.

— Вы гражданка Нововойтова? Елена Петровна?

— Гражданка? — спросила старушка, близоруко моргая. Она, видимо, не сразу поняла, о чем идет речь. И только несколько спустя, согласно кивнула головой и подтвердила: — Да. Нововойтова. Елена Петровна.

— Вот и отлично! — воскликнул оперуполномоченный. — Мы вас доставим в уголовный розыск. Для допроса. Понимаете: для короткого разговора со следователем. На полчаса, не больше.

— Нет, нет! — замахала руками Елена Петровна. — Так нельзя. В полдень вернется мой Петенька. Внучёк. Ему надо обедать. Он работает и не должен опаздывать. А потом, зачем я полиции?

Старушку успокоили, объяснив, что с полицией ей не придется иметь дело, что милиция — это нечто другое и вообще она попадет домой вовремя и успеет накормить своего внука.

— Разве что так, — согласилась Елена Петровна. — Тогда едем быстренько.

Елену Петровну в уголовном розыске, действительно, долго не задерживали. Молодой и довольно любезный следователь сразу же взял лист бумаги, попросил старушку назвать имя, отчество и фамилию, указать год, место рождения и социальное положение.

«Социальное положение» сбило с толку Елену Петровну и лишь с помощью следователя она догадалась, что тут дело идет о дворянстве.

Покончив с этой пустой формальностью, следователь объяснил, что вызвали ее, Елену Петровну Нововойтову, для получения некоторых справок, крайне необходимых судебно-следственным органам.

— Вы, ведь, знаете Суходола?

— Суходола? Что вы! Понятия не имею!

— Странно! Ведь он жил в вашем домике!

— Да это же не Суходол! — всплеснула руками старушка. — Это Семен Семенович Суходолов. Очень, очень милый господин. Душевный, хоть и немножко больной. Даже не больной, а какой-то такой: он слишком много думал.

— Милый и симпатичный?

— Да, да. Он, знаете, простой человек, удивительно простой, и большой деятель. По какому ведомству — не могу вспомнить, но . . .

— Совершенно верно, — подтвердил следователь, что-то записывая. — И что же вы о нем знаете?

— Многое. И всё хорошее. Он часто рассказывал о совсем чужом ему профессоре богословия Воскресенском. Чужой это ему профессор, страшно бедный, старенький и без должности. Но Семен Семенович Суходолов любил его, заботился о нем. И всегда-всегда говорил, что похоронит по-старинному, в могилу с крестом.

— То есть, Воскресенского похоронит?

— Да, да. И вообще он . . .

— То есть, Суходолов? — уточнил следователь.

— Конечно, Суходолов. Семен Семеныч. Он удивительно как тепло умел рассказывать о своем отце, крестьянине. И еще о том, что он, Семен Семеныч, во многом виноват перед ним. Только в чем виноват, я не могу догадаться. Но он всегда мучился виной перед отцом и, знаете, перед всей своей жизнью.

— Он, что же, о каком-то своем преступлении говорил? Или в грехах каких каялся?

Старушка обиделась. Она не только отвергла предположения следователя, но и пристыдила его за плохие мысли о хорошем человеке.

Это тоже записал следователь угрозыска, а потом принялся перечислять множество фамилий, прося вспомнить, не приводил ли их Суходолов в своих рассказах. В особенности интересовался следователь тем, что говорил Суходолов о Решкове, о Мохове, Атаманчике, о полковнике Мовицком и его дочери Ирине.

Старушка не поверила, что у Суходолова такой широкий круг знакомых. Об этом она сказала следователю, добавив, что Семен Семеныч жил одиноко, никого у себя не принимал и вообще выглядел нелюдимым и замкнутым.

— Но вот с вами, — запротестовал следователь, — с вами-то Суходолов не только охотно беседовал, но и посвящал вас в свои печали.

— А то как же! — согласилась старушка. — Я для него как родная. Он меня бабушкой звал и говорил, что любит меня, и что я для него вроде радости, которая выпала ему под конец его горькой жизни.

— Но он же бросил вас, уехал, скрылся, даже не сказав, куда отправляется. Какой хороший человек так поступает? Да еще, может быть, и за квартиру не заплатил?

— Что вы! Зачем такое про него выдумываете?

— А куда он уехал?

— Куда — не знаю... А уехал? Позвольте? Да, уехал. Да, да, — задумчиво добавила Елена Петровна, — уехал...

— Итак, — сказал следователь, — вы утверждаете, что Суходолов ни о Решкове, ни о Мовицких с вами никогда не говорил?

Записав ответ Елены Петровны, следователь попросил ее прочитать протокол допроса, и — если у нее нет возражений — то и подписать.

Старушка поднесла к глазам старомодное пенсне, но читать протокол не стала, спросив:

— А где подписаться?

— Да вы прочитайте сначала, — улыбнулся следователь, — а подпись должна быть вот здесь.

— Зачем читать? — ответила старушка. — Это же вы писали?

Следователь взял подписанный протокол допроса и сказал:

— Вот и всё. А сейчас вас доставят домой. Прощайте! Прощайте . . . Елена Петровна . . .

Старушки уже не было в кабинете, но следователь всё еще продолжал улыбаться. Потом, когда улыбка пропала, он некоторое время рассматривал лежащий перед ним протокол допроса и вдруг, словно к кому-то обращаясь, тихо прошептал:

— Елена Петровна Нововойтова.

Ему, конечно, никто ничего не ответил. Вместо ответа со стороны, пришла своя собственная мысль, что эта, вот недавно здесь находившаяся старушка, за свои почти девяносто лет, пережила Россию четырех императоров.

«Неужели четырех?» — с некоторым удивлением спросил себя следователь и схватил карандаш. Написав на клочке бумаги «1922», он вычел из этого числа «90», с каким-то даже испугом разглядывая появившееся «1832».

Испуг был чисто умозрительный, почти сразу сменившийся недоумением. Недоумение заставило следователя передернуть плечами, аккуратно сложить бумажку вчетверо и — неизвестно зачем — сунуть в карман.

В это время часы стали отбивать полдень.

Следователь взял портфель, но вместо того, чтобы спуститься в столовую на первом этаже, вышел на улицу и направился в библиотеку. Там, в тихой и совершенно пустой читальне, он развернул взятый с полки том энциклопедии и принялся за громадный обзор «Россия».

Нет, он не ошибся. Девяносто лет — срок большой не только для одного человека, но и для жизни народа. В эту жизнь вписаны великие имена и великие события.

Обо всем этом читал следователь, часто возвращаясь мыслью к старушке Елене Петровне Нововойтовой, которая как раз в это же самое время вернулась домой и радовалась, что успеет приготовить обед своему внуку. Но возясь в кухоньке, она нет-нет да и задумывалась, вспоминая Семена Семеныча Суходолова, в душе тревожась, не случилась ли с ним какая беда. И, конечно, не имела никакого представления о том, что вчера, то есть 25 августа 1922 года, в киевской газете, в отделе происшествий, появилась коротенькая за-

метка. Скупые нонпарельные строчки сообщали о том, что в одном из темных переулков в районе Еврейского базара был обнаружен труп убитого бандитами жителя Труханова острова гражданина Семыхина.

Эти два, внешне не связанные между собой события: вызов девяностолетней старушки на допрос в московский угрозыск 26 августа и заметка в киевской газете за 25 августа об убийстве гражданина Семыхина — хотя и опередившие многие другие, не менее важные события — имеют особое значение.

Автору даже кажется, что не будь восстановлены эти два эпизода, то разрозненные, случайно сохранившиеся заметки о Леониде Николаевиче Решкове, о его жизни и гибели так бы и остались в записных книжках, от года к году ветшавших и постепенно превращавшихся в никому ненужный бумажный хлам.

Пропасть этим запискам не довелось. Они сохранились, подчас не имеющие ни начала, ни конца, что и не позволяет восстановить строгую последовательность обстоятельств, создавших и погубивших Леонида Николаевича Решкова.

Отсюда — вместо плавного повествования — скачки вперед, шараханье в сторону, стремительное движение к прошлому. Да это и понятно! Жизнь, ведь, не катится по автостраде, а петляет по мрачным переулкам и тропкам.

Как видите, Автор честно признается в сложности предпринятого им труда давние заметки, наброски, кой-какие документы и чьи-то слова превратить в *действо* под несколько символическим названием «*Моль*».

Именно это признание и позволяет вспомнить 24 августа 1922 года, когда к дощатой и ветхой пристани, ровно в шесть часов вечера, приткнулся крохотный пароходик, совершавший рейсы между Киевом и Трухановым островом.

Автору точно известно, что пароходишка к Трухановской пристани пришвартовался именно в шесть часов вечера. Если бы это произошло в пять или в семь часов, то многое, о чем будет рассказано дальше, могло бы и не случиться, или случилось бы, но уже где-то в стороне от магистральной линии развития сюжета.

Пароходик пришел ровно в шесть. К шести, в толпу, собирающуюся по самым разным делам попасть в Киев, втесался Семыхин, личность всем чужая на острове, каждодневно пьяная и весьма тёмная, о которой с тревогой шептались жители поселка, проклинали и частенько желали ей погибели.

Основательна ли была такая ненависть к Семыхину? Разбираться в этом вряд ли стоит. К тому же *живой* Семыхин займет лишь несколько страниц, и потом исчезнет навсегда, вновь возникая только в чьих-то воспоминаниях или в ссылках на его слова и дела.

Хотя сам по себе Семыхин ненадолго привлечет внимание читателя, Автор всё-таки считает нужным сказать: прислушиваясь к осторожным разговорам на острове, легко было догадаться, что он не зря прятался среди тихих поселковых жителей. И потому нечего удивляться радости инвалида, бывшего акцизного чиновника Акима Власовича Петрова, как раз в шесть часов вечера проходившего с удочками мимо пристани и заметившего Семыхина с чемоданом.

— Смотри, Васильевна, — прошептал инвалид жене, провожавшей его к месту рыбной ловли, — гляди-ка: Семыхин, слава Богу, в путь собрался. С багажом. Может, в каком-то другом месте могилу себе найдет.

— Пусть бы так, — ответила Васильевна. — И чего только земля злодея терпит? Вчера, вот, он опять заявился к нашему соседу, ну, к отцу Володи. «Выкладывай, — потребовал, — что у тебя есть! Часы золотые и золотые царские десятки, не жалей, если хочешь, чтоб сын твой в живых остался». А Володя-то, сынок ихний, сам знаешь: белый офицер.

— Вот с чего ночью Семыхин с Варькой бушевал! Раздобыл, видать, стариковские десятки, — задумчиво прошептал инвалид. — Идем, Васильевна.

Они миновали пристань и, не оглядываясь, пошли дальше, толкуя о своих маленьких житейских заботах. И потому, конечно, не знали, что Семыхину попасть на отходящий в шесть часов вечера пароход не удалось по причине весьма простой: в тот самый момент, когда он поднял свой чемодан с земли, кто-то совсем рядом буркнул:

— Погоди! У меня с тобой разговор предстоит.

Семыхин вздрогнул, но не от страха, а от удивления, что нашелся такой отчаянный, который *днем* не только не побоялся что-то приказывать, но и положил руку на его плечо.

Явно наслаждаясь предвкушением предстоящей расправы с нахалом, Семыхин с ленивой медлительностью оглянулся и . . . и вдруг заулыбался, растерянно бормоча:

— Суходол? То-ись, товарищ Суходолов! Откуда в наши края попал? А я, вот, смотри, уезжаю.

— Останешься, — вяло произнес Суходолов. — У меня с тобой разговор состоится.

— Да как же? Видишь, я собрался. По делам, значит. Так что будь здоров!

— Ой, чудак! — рассмеялся Суходолов. — Я к тебе, к старому другу-приятелю, в гости, а ты смываешься. Это же невозможно! Я спешил, боялся опоздать, тревожился, ну, думаю, может дорогой товарищ и бывший соратник Семыхин помёр, или, думаю, с ним какой несчастный случай приключился. А он — «будь здоров!» Так же нельзя! Плюнь, и пойдем к тебе. Ты у кого живешь?

— У Варьки. Только, знаешь, решил я с ней кончать. Стерва!

— Стерва? Пустое: она всегда была стерва. Идем! Посидим у Варьки. Закусить у тебя, чай, найдется?

— Закусить? — растерянно спросил Семыхин. — Найдется, а вот водки . . .

— У меня есть. Варька что? На старом месте? Тогда шагай за мной.

Семыхин покорно двинулся за Суходоловым, а встретившую Варьку поспешил успокоить, что, значит, раздумал он пока уезжать, и вообще привел знакомого и дружка, то есть товарища Суходолова.

— Брось болтать! — остановил его Суходолов. — Я к тебе, ну, по чарке выпить, а потом и за дело.

— Какое может быть дело! — попробовал отшутиться Семыхин, но осекся под тяжелым взглядом гостя, и закричал на Варьку: — Чего глаза вылупила? Подавай на стол!

Варька засуетилась, принесла огурцы, лук и калач. Увидев, что Суходолов вынимает из портфеля бутылку, она поставила три стакана и, немножко потоптавшись, осторожно присела к столу.

Суходолов выбил пробку из бутылки и не поворачиваясь к хозяйке, сказал:

— Ты, Варька, здесь лишняя. Я с ним посижу. Уходи!

Она посмотрела на покорно молчавшего Семыхина, потом плюнула в его сторону и пошла к двери.

— Ладно. Я через час вернусь. Так что водочки и мне оставьте. Хоть на донышке.

— Уходи! — повторил Суходолов. — И не возвращайсь.

— Как «не возвращайсь»!? — взвизгнула Варька. — А где я ночевать буду?

— Где хочешь, — ответил Суходолов. — Хоть под пристанью.

Хозяйка выскочила с проклятиями. Когда ее голос затих вдали, Суходолов сел на кровать и, прищурив глаза,

принялся рассматривать Семыхина. Тому это так не понравилось, что на всякий случай он осторожным движением локтя проверил, в порядке ли карман. Убедившись, что всё на месте, Семыхин спросил:

— Ты что глядишь? Не признаешь, что ли? Иль перемены какие находишь?

— Вроде бы, — согласился Суходолов. — Перемены имеются. Так что давай выпьем. За радостную встречу, что ли.

Плохо скрытая в словах Суходолова угроза встревожила Семыхина. Пробуя спрятать страх перед непрошенным гостем, он ненужно быстро потянулся к бутылке.

— Дай-ка я сам, — всё с той же пугающей смешинкой сказал Суходолов. — Твоя закуска, моя выпивка. Коммуна, понимаешь?

— Об какой коммуне речь идет? — вздрогнув, спросил Семыхин. — Всё это пустое. Я для тебя, товарищ Суходолов, и души не пожалею.

— Не пожалеешь? — так тихо прошептал Суходолов, что Семыхину стало жутко. — Знаю. Знаю, что *души* не пожалеешь. Вот до чего я это знаю, — продолжал он повторять, забыв, видимо, где он и для чего сюда попал.

Этим моментом и хотел было воспользоваться Семыхин, чтобы сунуть руку в карман. Но какая-то доля секунды была упущена, и Семыхин уже по-другому кинулся навстречу опасности.

— Об каком таком деле хочешь толковать, товарищ Суходолов? Ужель ты взаправду думаешь, что это я *стукнул* Решкову про тебя?

Суходолов, не спуская глаз с Семыхина, наполнил водкой два стакана.

— Пей!

— А ты чего не пьешь? И вообще давай вести разговор, товарищ Суходолов.

— Разговор? — Суходолов как будто не сразу догадался, о чем его спрашивают. — Верно. Только разговаривать будем в городе. Собирайсь. Поехали. К последнему пароходу еще успеем.

— Да чего делать в городе! — отказался Семыхин. — Мне и тут хорошо. Вот и выпить еще можно. Хочешь, я и грибков принесу, — говорил Семыхин, и уже совершенно ясно видел, что Суходолов затеял какую-то серьезную игру и что вся здесь начатая «комедь» нужна ему, чтобы закончить ее где-то в одном из *шалманов* Подола или Евбазы.

Но отказаться от поездки прямо — было нельзя, и что-

бы хоть как-то выгадать время, Семыхин взялся за стакан, глотал водку медленно, смутно надеясь, что вернется Варька и чему-то страшному помешает. Но Варьки всё не было, и Семыхин вытащил из бокового кармана золотые часы. «Если уже девять вечера, — подумал он, — больше пароходов на Киев нет до самого утра».

Часы показали только восемь.

— Да ты просто нэпман! — воскликнул Суходолов. — А ну-ка покажь часишки.

Только странными событиями этого дня можно объяснить, что Семыхин покорно и без слов протянул часы.

— Ну и хват! — одобрил Суходолов. — Ишь ты, золотыми часами разжился! А что еще у тебя в кармане? Не стесняйсь! Выкладывай.

Растерявшийся Семыхин вытащил несколько золотых десяток. Монеты и часы Суходолов сунул в портфель.

— Это так. Для сохранности. А в том кармане что у тебя? Пистолет? Запасливый ты, да только . . . только зря . . . баловство. Дай-ка ты его мне. Ну вот, правильно! А теперь — едем!

Оставив на столе недопитую водку, они вышли из уже заполненной сумерками комнаты, не заметив притаившейся в кладовке Варьки.

Некоторое время она прислушивалась к удаляющимся шагам. Потом, решив, что мужчины не вернутся, села за стол, разрезала огурец и придвинула к себе бутылку.

К десяти часам водка была выпита, огурец съеден, и опьяневшая Варька храпела, развалившись на кровати. Примерно в это самое время Суходолов с Семыхиным очутился в *тайнике* одного из кабачков на Подоле. *Тайник*, небольшая каморка, находившаяся в полуподвале, своим земляным холодом напоминал могилу.

Семыхин сознался: да, он был *накатчиком* и это он *стукнул* Решкову об обнаруженных следах Суходолова.

«Говорить больше не о чем . . . Всё ясно. Дальше — конец», — подумал Семыхин, теперь уже жалея, что всё выложил и сам во всем признался.

« А вдруг помилует?» — утешал себя Семыхин, глядя на вроде бы сонного и вялого Суходолова.

«Эх, будь бы пистолет!» — мелькнула мысль, заставившая Семыхина поежится.

— Ты что? — спросил Суходолов.

— Товарищ Суходолов! Я весь перед тобой вывернулся. Так что имей снисхождение. А я . . . я на веки вечные ис-

чезну. Слуху обо мне не услышишь. Сделай снисхождение!

— Снисхождение? Я не об себе говорю. Я об том хочу сказать: а ты имел снисхождение? Вспомни Ксюшу . . . и того, старика Воскресенского . . . и других.

— А ты, ты сам? — вдруг взорвался Семыхин. — Ты что? Ты не был в помощниках у Решкова? Ты не списывал людей в расход? Ага!

Суходолов рванулся со стула так стремительно, что Семыхин сжался от страха и закрыл глаза руками. Потом, удивленный вдруг наступившей тишиной, осторожно выглянул из-под козырька ладоней и увидел, что Суходолов вернулся на свое место и опять сел.

Когда их глаза встретились, Суходолов совсем спокойно сказал:

— Ты это зря. Я без тебя справил поминки. Понимаешь: без тебя! А ты . . . ну зачем ты хотел прикончить старика Воскресенского?

— Да ему уже пора от старости подохнуть, — с насмешкой ответил Семыхин, обрадовавшись, что дело повернулось в сторону. — Да и чего ты привязался к нему? К тому и живучий он, как собака! Опять на ногах стоит. А в остальном прочем я весь вывернулся и признался. Имей снисхождение.

— Нет, — сказал Суходолов. — Я, понимаешь, перед отцом своим виноват, перед мужиком крестьянским, перед всей своей жизнью виноват. Хоть чутинку добра хотел я сделать, а ты поперек дороги стал. Я поклялся, душа моя решила, чтоб старика Воскресенского по-хорошему в могилу с крестом положить. Ты против моей души пошел. А теперь хочешь откупиться покаянием. Мне это без пользы, другим . . . что ж, другим может и есть в том польза. Так что этим другим обо всем ты сам и доложи. Идем!

И он поволок упирающегося Семыхина вверх, по шести каменным ступенькам, отделяющим *тайник* от кабака, набитого народом, сидевшим за грязными столами перед пивными кружками и стаканами с водкой.

— Им и выложи всё, как мне говорил, — приказал Суходолов, пихнув Семыхина к стойке. — Им будет интересно послушать и про *тех*, и про тебя.

Семыхин оглянулся. Самое страшное было в том, что многих из тут находившихся он узнал.

— Чего молчишь? — спросил Суходолов. — Начинай. Ну вроде бы доклада, как это людьми торгуют. Не задерживай.

Видишь вон того? Ему особо важно твою исповедь послушать.

Семыхин посмотрел туда, куда пальцем ткнул Суходолов.

— Теперь видишь? Ну и выкладывай. А то спишь ты, или чего? Может быть в мозгах ковыряешься? Думаешь о чем-то таком *государственном.*

— Мне что думать? — в отчаянии пустился разыгрывать последнюю карту Семыхин. — Мне чего ковыряться? А вот ты сам, кто ты такой? Ты же был следователем в чека, а теперь за моей спиной хочешь спрятаться? Ну...

— Ну, — перебил его Суходолов. — Люди обо мне и обо всем моем знают. Какой я был и каким стал. Что и как — им всё известно. А вот ты.

— Что я? — закричал Семыхин, и все догадались, что сейчас он пустит в ход козырного туза. — Я — что?

И он пошел врать, что уже давно *развязался* с чека и что за ним теперь охотятся муровцы.

— Да ты не шуми так громко, — усмехнулся Суходолов. — Кругом слышно. Так что совсем просто про твою *мокрую* биографию доложат по начальству.

Насмешка была столь неожиданной, что Семыхин замолчал, как-то сразу уменьшился, вроде стащили с него пиджак и обкарнали каблуки. Трусливо моргая, он принялся разглядывать сбившуюся вокруг себя толпу, явно надеясь на чью-нибудь поддержку. Но поддержки не было в чужих пристальных и злых глазах.

— Я вам *легенду* рассказывал, — забормотал он, теперь уже всё пробуя превратить в шутку. — Легенду. А вы и ушами захлопали. Спасибочки, как говорят культурные председатели, за внимание, и перейдем к следующему пункту повестки дня.

Он балаганил, и удивлялся, почему его продолжают слушать. В этом уже была какая-то зацепка или шанс. И потому он старательно болтал, пряча шевелящуюся надежду на спасение. Когда эта надежда приняла пусть и сомнительные, но всё же реальные формы узкого и совсем свободного коридорчика, выводящего в проходной двор, Семыхин остановился, заметив, что из толпы выдвигается громадный детина. Тяжело ступая, верзила шел медленно, не вытаскивая рук из карманов пиджака.

«Зарежет», — подумал Семыхин, уже почувствовав запах своей собственной крови.

Детина вроде ненароком наступил ему на ногу и прохрипел:

— Давай, милок, выйдем вот по этому коридорчику на воздух. Необходимость такая имеется.

Выдернув носок ботинка из-под грубого сапога, Семыхин шарахнулся в сторону и чуть ли не прижался к Суходолову.

— Ну, ну, — оттолкнул его Суходолов. — Не придуривайсь! Иди. Парню, видишь, с тобой потолковать нетерпится.

— Чего мне с ним толковать! — заверещал Семыхин, ловя руки Суходолова.

Он еще долго, самому себе противным голосом, просил о чем-то, клялся, хотя знал, что всё это уже лишнее.

— Заткнись, — скучно бросил Суходолов. — Пойди с парнем.

— Сеня! Семен Семенович! Товарищ Суходолов! Заступись! Я же с тобой вместях Октябрь создавал! Вспомни!

— Забудь! Нету *товарища* Суходолова! Нынче я *Уходолов*. У меня всё к концу идет. Так что и тебе пора к расчету.

Семыхин, упав на колени, ловил руками чьи-то сапоги. Потом он ткнулся лицом в свою каракулевую шапку-кубанку и заплакал, тихонько и совсем по-щенячьи взвизгивая.

Всё это, случившееся в Киеве в 1922 году, вводит в *действо* уже другого Суходолова — изменившего фамилию на *Уходолова,* как это значилось в поддельных документах.

Но Автор за этим человеком скорбной судьбы оставляет его настоящую отцовскую, крестьянскую фамилию, под которой и попрощается с ним, когда наступит положенный для того час.

Автор вообще не придает значения паспортам, дипломам, мандатам, украшенным печатями с серпом и молотом, в особенности после того, как были выслушаны — —

РАССУЖДЕНИЯ СОБЕСЕДНИКА ОБ ОДНОМ ИЗ ВИДОВ ДИЛЕКТИКИ

— По ходу вашего *действа,* — начал Собеседник, — кто-то исчезает, чтобы потом выпорхнуть под чужой фамилией, с поддельными документами. Вас устраивает этакий литературно-авантюрный поворот, экзотика начального строительства социализма-коммунизма. Возражений у меня нет, но вы, — Собеседник улыбнулся, — вы, Автор, эту *экзотику* включаете в прошлое, уже ушедшее, и начинаете (во вся-

ком случае мне так кажется), начинаете верить в официальную партийную программу и клятвы на съездах. Кстати, наш разговор происходит в 1967 году, когда уже нет ни Ленина, ни Сталина, ни, как политической фигуры, Хрущева. Но их клятвы — остались. «Все советские люди — активные строители коммунизма» . . . «Все советские люди живут по законам единого для всех коммунистического мировоззрения« . . . «Наше поколение — будет жить при коммунизме» . . . Вы этому верите?

Заметив протестующий жест Автора, Собеседник поспешил смягчить резкость своих выражений. Нет, Собеседник не думает, что Автор безнадежно близорук.

— Вы не близорукий, — утешал Собеседник. — Вы, извините, наивно увлечены тем, что *было*. Я уже осмеливался упрекать вас, что вы . . . что из вас никогда не образуется *диалектика*. Рассуждать диалектически, видеть жизнь в диалектическом развитии (я, кажется, говорю языком ленинца?) вы не способны. Вы уцепились за *свое*, за пережитое, за то, что хранится в ваших записках и заметках. Я почтительно склоняюсь перед вашими архивными богатствами. Но почему бы вам не оглянуться по сторонам, не оторваться от ваших заметок? — спросил Собеседник, и тут же продолжал: — Хотя — понимаю. Вам некогда. Вы торопитесь. Вы заняты своим делом. К тому же вы Автор, как-то весьма грубо заявивший, что в ваши авторские дела посторонних просите не вмешиваться. Я и не собираюсь вмешиваться! Я обычный Собеседник, приткнувшийся к авторскому столу и довольный тем, что ему, то есть Собеседнику, позволяют высказать и свое мнение, мнение, подпертое ходулями диалектики.

— С высоты ходуль виднее? — съехидничал Автор.

— О, да! — тут же согласился Собеседник. — Вот вы украшаете *своих* героев приметами *своего* времени, совершенно не замечая новых примет, фактов *нынешних*. А ведь это Ленин утверждал, что, дескать, факты — упрямая вещь, и что всё новые и новые факты — это и есть диалектика, которая . . .

— Нельзя ли поконкретней! — проворчал Автор.

— Можно! — охотно отозвался Собеседник. — В советских газетах, конечно, после смерти Сталина, сколько было заметок, разоблачающих «орденоносцев», «лауреатов», перед которыми Хлестаков — приготовишка. У Хлестакова, как вы помните, никаких паспортов, «орденских книжек», докторских дипломов, профессорских званий и партийных

билетов не было. У советских, у нынешних советских супер-Хлестаковых... Учтите: диалектика! У нынешних супер-Хлестаковых и партийные билеты, и дипломы, и мандаты такого качества, что талантливейшее дитя чека — КГБ-МВД — покорно склоняет голову.

Собеседник вытащил из кармана кучу газетных вырезок. Автор запротестовал:

— Ради Бога, один-два примера!

— Для подтверждения величия законов ленинской диалектики? — перебил Собеседник. — Хорошо. Ограничусь двумя примерами. Вот газета «Труд» за 19 февраля 1957 года. Статья *«Казнокрад»*. Не волнуйтесь! Казнокрад, в общем, светлая личность. Это — коммунист Василий Поляков, родом из Калужской области. Сначала — участковый фининспектор Хвастовичского райисполкома Калужской области. Потом — уже с поддельным дипломом «одного» из финансовых вузов — старший инспектор в «одном» из отделений госбанка. А еще потом — быстрое развитие партийно-служебной карьеры, и Василий Поляков — управляющий «одним» из банков. Затем... ну — тут уж не обойтись без цитаты.

> Однажды, когда сотрудники Госбанка ушли на обед, управляющий банком Василий Поляков отпустил домой и вахтера... после чего вскрыл фондовый сейф и, похитив 322 тысячи рублей, скрылся...
>
> Чтобы замести следы, Поляков проживал по чужим паспортам...

— Так началась новая, «сладкая» жизнь коммуниста-афериста, — сказал Собеседник. — Опускаю кой-какие подробности из биографии этого мастера изготовления подложных дипломов, паспортов. Закончу цитатой из газеты «Труд».

> Поезда, самолеты, города, гостиницы сменялись, как в калейдоскопе. И вот Василий Поляков на курорте в Сочи. Здесь его днем и ночью можно было видеть в ресторанах. Денег казнокрад не считал. На курорте Поляков нашел себе новую невесту, хотя имел уже трех жен...
>
> Путешествуя по стране, преступник минувшим летом прибыл в Наро-Фоминск, Московской области. Здесь, недалеко от города, в глухом лесу он скрыл в железном бидоне более двухсот тысяч рублей. Недавно Поляков был арестован. При нем работники милиции обнаружили крупную сумму денег, поддельные паспорта, а также различные штампы и печати...

— Вы можете возразить, что этот партийный деятель фигура не особенно яркая, так себе: середняк! Не спорю, — кивнул головой Собеседник. — Но вы же сами предложили:

два примера, без выбора! Один был. Теперь второй. На этот раз из газеты «Правда», за 29 мая 1966 года. Заголовок статьи *«Ротозеи под гипнозом»*. Заголовок тонкий, интригующий и... и диалектический. В статье — о явном прогрессе партийных жуликов. Я не буду читать всю статью, остановлюсь лишь... Между прочим, в перечне фигурирует и аферист-поэт. Но возьмем главного, о котором так говорит «Правда»:

> В Целиноградском областном суде недавно разбиралось дело Соколова Николая, бывшего работника кафедры физики медицинского института.
>
> Ректор этого института Полетаев пригласил Соколова занять высокую кафедру. На заседании ученого совета, где обсуждались кандидатуры претендентов, Полетаев произнес пламенную речь:
>
> — Николай Соколов — профессор! Доктор физико математических наук! Двадцатилетний стаж педагогической работы в вузах! Масса научных трудов! — ораторствовал ректор, потрясая папкой с документами профессора Николая Соколова...
>
> Члены ученого совета дружно проголосовали «за»...

— Пропущу часть статьи, — сказал Собеседник. — Потому что дальше строчки о том, как профессор Николай Соколов, этот прославленный ученый и светило физико-математических наук обучал студентов, заседал в ученом совете, произносил речи и... и вот тут уже нужно опять обратиться к «Правде».

> Теперь многие, присутствовавшие на суде, глазам своим не верили. Оказалось, что это светило научной мысли, этот Николай Соколов — не профессор, не доктор наук... имел поддельный паспорт с московской пропиской и, наконец, шесть лет просидел в тюрьме и находился в местах, не столь отдаленных...
>
> Даже видавшие виды юристы ахнули, когда суду было представлено около 150 найденных у Николая Соколова фиктивных дипломов, аттестатов о присуждении ученых степеней и званий, различных справок и блестящих характеристик... в том числе из Московского института имени Сеченова и из Московского сельскохозяйственного института...

— Справки бесспорно занятные, но при чем здесь диалектика? — спросил Автор.

— Да при том самом, — отпарировал Собеседник, — что диалектика лежит на виду. Поддается взвешиванию и измерению. Прогресс явный! Что было *тогда?* Кустарщина. А теперь — *теперь*, когда Октябрь отпраздновал свое пятидесятилетие, когда партия объявила социализм построенным, уже перешедшим в свою высшую ступень — в коммунизм — теперь кустарщине делать нечего. И потому — *теперь* — партийные аферисты прикрываются сотнями фальшивых,

на уровне техники века сделанных дипломов, характеристик, документов о присуждении ученых степеней и . . .

— Вы меня всё же не убедили, — перебил Автор. — И *теперь* — в построенном социализме — действуют стереотипные, давным-давно набившие оскомину в детективных книжках, жулики и проходимцы. *Тогда* . . . Понимаете: *тогда* меня мало занимали просто аферисты. Они — были. Но не о них я говорю в «Моли». Меня привлекают другие, очень грешные, но и очень сложные характеры. Без них, без этих характеров, нельзя понять того, что *было*.

Собеседник слушал и, против обыкновения, внимательно. Потом он сказал:

— Признаю свое поражение. Да, *тогда* и *сегодня* — это разные эпохи, разное дыхание. Всё разное. Оценивать *разность* методом плоской иронии — нельзя. Вот ушел из-под октябрьских знамен Суходолов. Я вижу его, Суходолова, я знаю, почему он ушел. Знаю, что в вашей еще не законченной «Моли» — пусть и другим — иным — переиначенным —он опять возникнет. Без фальшивых дипломов, без поддельных ученых степеней. Просто появится, чтобы дальше идти своим тяжелым, извилистым и грешным путем.

«Тяжелый, извилистый и грешный путь», — повторил мысленно Автор слова Собеседника, и вдруг понял, какая в них сила большой правды. Об этой правде он собрался сказать Собеседнику, но комната уже была пуста.

Автор некоторое время прислушивался. К чему? К собственным мыслям? Или к шороху призраков? А может быть и к звуку уже давным-давно исчезнувших голосов?

Потом Автор придвинул к себе свои заметки и наброски, внимательно перечитал их и, наконец, решил познакомить читателя с тем, как — —

ЛОВШИН НАВОДИТ МОХОВА НА СЛЕД СУХОДОЛОВА

Автор сомневался, что Кулибин когда-нибудь напишет ту книгу, о которой так часто вел разговор Решков. Да и сам Кулибин в этом тоже не был уверен. Наивный, деликатный, в общем — бывший человек — Кулибин не мог приспособиться к странному миру, который, так ему казалось, был заселен не людьми, а призраками.

Призраки играли роль владык и судей, прокуроров и палачей, проповедников и учителей. Призраки клялись вели-

кими учениями, чтобы потом, после докладов или расстрелов, в зависимости от чинов, наливаться пивом, водкой или коньяком, набивать животы воблой, салом или балыком и приниматься за официанток или балерин . . .

Чекист Мохов пил только коньяк и закусывал только икрой. Сейчас он это и делал, причем пил и закусывал до того равнодушно, что со стороны напоминал корову, жующую жвачку.

Отрыгнув, Мохов тяжело вздохнул. Потом опять влив коньяк в глотку, протянул руку к балыку. Он не любил гостей. Злые языки болтали, что по причудам природы Мохов не интересовался женщинами.

Охмелев, он опустил голову на край стола, совсем не подозревая, что именно в этот момент к двери его квартиры подошел человек. Подошедший позвонил не сразу. Сперва он оглянулся по сторонам, прислушался и лишь после этого нажал кнопку.

«Кто бы это?» — подумал Мохов и тут же сунул руку в карман. Пистолет был на месте. Так, не вынимая руки из кармана, Мохов осторожно подкрался к таинственному глазку в двери, рассмотрел лицо стоящего там, в коридоре, и повернул ключ.

— Ну, входите, товарищ Ловшин, — сказал Мохов. — Вот уж не ожидал вас видеть тут, в Москве. Да еще у меня. Входите, не стесняйтесь.

— О! — воскликнул Ловшин. — У вас паркет. Как бы не наследить.

— Бросьте ломаться, товарищ Ловшин!

— Бывший товарищ Ловшин! Товарища Ловшина уже давно нет. Так, воспоминания.

— Перестаньте, — усмехнулся Мохов. — О *том* кто теперь помнит?

— А всё ж таки зовите меня просто Ловшиным. К тому же меня сейчас в Киеве зовут еще проще: *философяк*. И я не обижаюсь.

— Чего обижаться? У вас ведь были и *труды* по . . .

— Вы хотите сказать: труды по марксистской философии? Как же! Были. Только теперь я — просто *философяк* . . . Ну, вы же сами должны знать: так зовут тех . . . ну, тех, кто не особенно чисто играет в очко.

Мохова этот разговор не только развеселил, но и хмель прогнал. Распластав свои широкие губы, он рассмеялся.

— И в покер, насколько мне помнится, вы тоже играли? Садитесь. Хотите коньяку?

— Смотря какой марки! — со смехом ответил Ловшин. — Хотя это уже шутка. Любой коньяк пью. Вернее — пил. Когда-то.

— До того случая, — спросил Мохов, — пока не попали в руки следователя Алкиса по делу? . .

— По делу, — охотно согласился Ловшин, — в том числе и покерному.

— Алкиса я отлично знаю, — заметил Мохов, — у него . . .

— О нем вы мне не говорите! Алкис — это же такая . . .

— Не ругайте следователя! Лучше расскажите, как он вел ваше дело? Я в это время был в отъезде. Слышал, что вы пострадали. Из партии и из марксистской философии вас выкинули . . . Срок там какой-то дали. Маленький. Вы же не враг народа. Потому и на свободе.

— Ах, какая это свобода! — махнул рукой Ловшин. — С вашего разрешения еще рюмочку?

— Пейте!

— Вы говорите — свобода! Я вам расскажу свои хождения по мукам. И про следователя Алкиса. Нет, ругать его не буду, чтоб ему провалиться! Не мог замять дела! Выслужиться ему захотелось. И пошел гробить . . . И то, и это. И покер пришил. И знаете что? Он вел следствие и допросы довольно оригинально . . . когда разбирал карточные махинации. Ну, прямо в покер со мной играл. Покера, конечно, никакого не было. Разве ж это покер, когда Алкис следователь? Когда мы сидели друг против друга, и у каждого из нас была своя мысль. У меня о том, что я погорел и вообще засыпался, а у него — что моя судьба в его следовательских руках. Как захочет, так и повернет. А вместе с тем у нас была хорошая возможность закончить игру вничью, остаться, как говорят, при своих. Ну, я бы остался не совсем при своих, потому что я предложил Алкису кое-что. А он решил не упускать случая сорвать куш побольше. И торговался. Я тоже торговался. В общем вели мы себя, как пожилые старорежимные чиновники, долго размышляющие, стоит ли объявлять сомнительные восемь без козырей, когда на руках верные семь. Ну, прикидывали мы так и этак. Сравнительно трезво. К Алкису я должен был обращаться, как к «гражданину следователю». Гражданин следователь, говорил я ему, сознавая необходимость соблюдать осторожность в выражениях, за что вы сейчас шьете мне дело? Что? Разве я один такой? Кругом такие! Моя беда в том, что остальным таким как я, надо кому-то доказать, что они *идейно* чи-

стые. А чтоб доказать — философа-марксиста не пожалели! Разве других мало?

— И до других очередь дойдет, — ухмыльнулся Мохов.

— Что? — заволновался Ловшин. — Этим самым утешал меня и гражданин следователь Алкис, глядя на меня своими оловяными, совсем без блеска глазами. Этим глазам нравилось смотреть на меня, как на загнанного в ловушку врага. А какой я враг? Алкис, прямо вам скажу, наслаждался своим правом сидеть за тем письменным столом и . . .

— Но ваше дело кончилось пустяком. Даже без поражения в правах.

— Что?! Пустяком? — всплеснул руками Ловшин. — А мои бриллианты и червонцы куда пошли?

— Почему вы тогда не заявили об этом? — с любопытством спросил Мохов.

— Вы думаете, мне бы это помогло? Как бы не так! Да и о чем говорить? Следователь по особо важным делам, гражданин Алкис, сейчас так далеко, что даже вы его не сможете достать. А вы хотели бы его достать! Как же: изменник и предатель. А он теперь где-то в Южной Америке, сидит и посмеивается. А тогда . . . тогда Алкис был таким человеком . . . хотя, должен вам сказать, со мною он поступил всё-таки честно. Он мог бы пришить мне шпионаж и отправить без задержки в подвал. Он этого не сделал. Он любил со мною беседовать. Ему нравилось возиться со мною. И торговаться. Насчет бриллиантов и червонцев. Даже вполне благородно и морально!

— Как-то странно, Ловшин, слушать ваши рассуждения о . . . о каком-то благородстве, о морали.

— А кто сейчас об этом не толкует?! — воскликнул Ловшин. — На любой партийной конференции . . .

— Вон вы какой! — Мохов поднял брови. — Теперь. А раньше я вас знал, до случая с Алкисом и вообще раньше, ну, как твердокаменного философа-марксиста. А сейчас . . .

— Что сейчас? Сейчас — я никто. Даже не «товарищ Ловшин». И потому должен благодарить и кланяться, что позволили мне войти в вашу квартиру . . . и даже угоститься коньяком.

— Бросьте ломаться, — благодушно сказал Мохов, — сидите вы у меня в квартире, во-первых, потому, что вы всётаки были в партии, вы нам не социально-чуждый и не враг, и, во-вторых, что если вы появились в Москве и постучались в мою дверь . . . значит постучались с какой-то определенной и важной целью.

Ловшин исподлобья рассматривал Мохова, как будто решая вопрос, стоит ли дальше откровенничать? Эту затаенную мысль своего нежданного гостя легко разгадал Мохов, и когда тот опустил глаза, спросил:

— Значит, ко мне вы попали не зря?

— И даже очень, — торопливо ответил Ловшин. — Я могу вам кой в чем помочь... чтоб и вы помогли мне. За мою помощь. Как вам нравится такая идея?

— Идея? — Мохов поднял брови. — Я — чекист. В философских выкрутасах разбираюсь слабо. Так что — выкладывайте свою идею на бочку. За серьезную *идею* мы умеем благодарить.

— Понятно! — Ловшин радостно улыбнулся. — Еще как понятно. Ну... я вас могу навести на след Суходолова.

— Что?! Суходолова? — крикнул Мохов. — Семена Суходолова? Говорите?

На какое-то мгновение Ловшину показалось, что он совершил ошибку. В чем заключалась эта ошибка, он не отдавал себе отчета, но чувствовал, что всё сделано не так, как нужно, и что впереди еще какая-то новая ошибка, уже окончательно неисправимая.

Ловшин сидел с опущенными глазами и слышал тяжелое, ждущее дыхание Мохова.

« А что, если всё превратить в шутку, — подумал Ловшин, — заявить, что всё это — болтовня и что ни о каких следах Суходолова я не знаю?»

Ловшин покосился. Перед ним было налившееся кровью лицо Мохова.

— Можно еще коньяку? — попросил Ловшин, и когда стакан к нему был придвинут, он начал говорить, невольно прислушиваясь к своим собственным словам. И чем больше прислушивался, тем яснее понимал невозможность исправить допущенную ошибку. Отступать было некуда, и Ловшин, словно завороженный уродливо растянутыми губами и косящим глазом Мохова, продолжал говорить, сознавая, что с каждой фразой обнажает свое нутро, стаскивает с себя последние лохмотья.

— Я в Киеве, — оголялся Ловшин, — стал шулером, ну, тем, кого зовут философяком. На Пушкинской, у Толстой Варвары, какого я только народу не перевидел, кого только не обыгрывал. Получал десять процентов с дохода. Но это так, между прочим. За это можно бы и не лезть в прорубь, в ту, в которую я теперь нырнул... Но вот как-то в полночь, совсем обычно, собрались игроки. Все там в оба глаза

следят за другими и осторожно поднимают карты. Среди игроков был один такой комвзвод, из учебного эскадрона высшей военной школы имени Сергея Сергеевича Каменева. Комвзвод всё проиграл. И попробовал заложить свой партийный билет. А хозяин притона Толстой Варвары был такой Обрин... «Ты б еще Марксов 'капитал' приволок, — сказал Обрин. — Или всего Ленина. Для вас может они и годятся, а мы, — сказал дальше Обрин, — и без того материалисты, нам твой партийный билет ни к чему». И уже явно издеваясь, Обрин швырнул партийный билет комвзвода и с насмешкой приказал Варьке: «Открой, Варвара, господину красному товарищу в комвзводских чинах дверь! Пусть за наличными сходит! Ему, вишь, отыграться не терпится». Вот в эту ночь с таким случаем, уже под утро, тихо стукнули два раза в окно. Варвара побледнела. «Это что?» — спросил Обрин. А Варвара Толстая запуталась, что-то принялась плести, вообще говорит, надо по домам расходиться. Ну, я и вышел. Первым. Тут и увидел Семена Суходолова. Он стоял, прижавшись к стене. А потом скользнул в тень. Но я его разглядел. И... и могу теперь стать для вас наводчиком.

— Всё верно? — вскочил Мохов.

— Верно, — подтвердил Ловшин.

— Сиди здесь! — приказал Мохов. — Пить можешь, сколько влезет. Из окна не выглядывай! Учти: пятый этаж! А дверь я на замок закрою.

Мохов, схватив плащ, исчез.

Ловшин подошел к двери. Потом он очутился у окна и глянул вниз, в глубину ночи, проткнутой редкими и тусклыми огнями фонарей.

«Ну, вот, — сказал он себе, — философ-марксист Ловшин стал *философяком,* чтобы потом превратиться в *наводчика.* Никуда не денешься: бытие определяет сознание. Бородатый проповедник был прав».

Признав это — Ловшину уже легко было согласиться, что и в судьбе Суходолова нет ничего необычного: обстоятельства его сформировали.

Ловшин умел рассуждать логично. Но логика — коварная штука, и Ловшин зябко поежился. Вспомнив же конец Семыхина, Ловшину стало жутко.

Он выпил стакан коньяку и подошел к двери. Массивная — она как будто не обратила внимания на жалкую попытку человека поколебать ее спокойствие.

Убедившись, что путь отрезан, Ловшин торопливо шагнул к окну, и сквозь его стекла увидел ту же самую пятиэтажную глубину ночи, из которой — очень скоро — появится Мохов, приведет еще кого-то, потом направит в Киев и тогда . . .

Эти предположения были близки к истине. Действительно, Мохов, оставив Ловшина в запертой квартире, кинулся к Решкову и обо всем ему рассказал.

Решков — по телефону — содержание *информации* сообщил Председателю, и минут через десять они, Решков и Мохов, сидели в кабинете Председателя, разрабатывая план «Операции Киев», в проведении которой не последнее место отводилось Ловшину.

Но план этот не только не был разработан, но — на некоторое время — и вообще отложен. Да и сама фигура Суходолова отошла несколько в тень, потому что в руках Председателя была новая и чрезвычайная по важности *информация* о киевских заговорщиках, среди которых значился корнет Вольский.

О корнете Вольском Автор уже мельком говорил, хотя и не предполагал, что совершенно неожиданно возникнет необходимость нарушить развитие сюжета «Моли» и перейти к рассказу — —

О ФЕЛИКСЕ ВОЛЬСКОМ И ЕГО РОМАНЕ С ДЕВУШКОЙ ТАТЬЯНОЙ

Автору подчас тяжело было сознавать, что герои его книги падали жертвой исторических иллюзий. Многие из этих героев были дороги Автору. Ему не хотелось с ними расставаться, но — такова логика развития *действа* — наступал момент, когда приходилось прощаться с тем или иным близким и любимым героем.

Одним из них и был заговорщик, белый офицер Феликс Вольский, проникший в штаб Киевского военного округа. Какие виды были у этого «краскома», красного командира, занявшего должность начальника разведки, надеялся ли он на успех, об этом Автор не знает, хотя и осмеливается высказать предположение, что 1922 год — для намеченного «предприятия» — год явно неудачный.

Но корнет Феликс Вольский был офицер долга и большого мужества. О себе он не думал. Потому-то ему верили

и примкнувшие к его группе, и полковник Вадим Лукашевич — душа этой группы.

Автор должен сразу сказать о том, что ему ничего не известно о конечной цели заговора, хотя о судьбе Феликса Вольского удалось собрать и сохранить довольно подробные сведения.

О том, например, как незаметно и робко возникло у Феликса Вольского теплое чувство к «совбарышне» Татьяне, за жалкий паёк сидевшей в канцелярии какого-то рабочего кооператива.

Татьяна, после наскольких встреч, наивно призналась, что она — случайный тут житель.

— Понимаете, — с дрожью в голосе шептала Татьяна, — мама... У нас уже всё было подготовлено. Впереди — Одесса. Мы уже представляли себе жизнь там... где-то... Последние белые части уходили. Мама... больная мама... С мамой я осталась... Мамы у меня нет... Я — одна, совсем одна. Мама умерла. Только вы, — тут Татьяна улыбнулась сквозь слезы, — вы, пожалуйста, не думайте, что я против власти и недовольна. Я примирилась со всем. Прошлое не возвращается. Вот вы красный командир. Вы обязаны ненавидеть таких, как я. Я стараюсь быть как все. Работаю, хоть и чувствую себя чужой. Но это пройдет, не правда ли? Вы этому не можете поверить? Что ж...

Она беспомощно оглянулась и, не попрощавшись, круто свернула за угол. Маленькая и беспомощная, она почти бежала, словно торопилась забыть о только что сказанном.

Вольский догнал ее и остановил.

— Татьяна, — прошептал он, — погодите. Не надо так, сразу. Зачем? Ну, вот вы такая... Да, я красном. Но я человек. И ваша невольная исповедь... как она по-человечески трагична! Трагедия ваша — это не только ваша трагедия. Я ее понимаю. Нет, нет, не уходите! Или вот что: уходите, но мы с вами еще встретимся. Да?

— Да, — ответила она и протянула руку.

К протянутой руке он прикоснулся с тревожно радостным чувством благодарности за доверие. Совершенно не думая о себе, он это чужое доверие воспринял, как мольбу о помощи и защите.

Они расстались, условившись о будущем свидании, с которого и началось движение корнета Вольского в западню. Но об этом он, конечно, не подозревал. Не мог, ведь, он знать, что после *протянутой* руки Татьяна, через час или два, уже сидела перед начальником секретно-оперативного отдела

Киевского ГПУ и докладывала, что ей удалось не только познакомиться с краскомом Феликсом Вольским, но и вызвать к себе симпатию.

— Ну, видишь, Сонька, — самодовольно сказал начальник оперативного отдела, — на твою красоту и на легенду о твоем дворянстве легко клюют недобитые враги и притаившаяся белогвардейская сволочь. А ты еще и *мамочку* кстати приплела. Они очень любят повздыхать о *мамочках.* Ах да ох, да слезы на твоих глазах. Да, мамочка похоронена. И вообще жертвы большевизма. А он тебе в любви не объяснялся?

— Пока нет, — со смехом ответила Сонька. — За этим дело не станет!

Дальнейшие встречи Вольского с Татьяной на Бульварно-Кудрявской уже ничего не могли изменить, хотя и вносили какую-то психологическую путаницу в точно разработанное развитие событий. Были мгновения, когда сама Сонька терялась и не могла разобраться, где кончается Татьяна и где начинается Сонька.

Что-то такое, видимо, подметил начальник секретно-оперативного отдела, во время очередного доклада Соньки предупредивший:

— Смотри, Сонька! *Татьяну* разыгрывай без ошибки. Без осечки! Не вздумай там чего-нибудь такого, ну, раньше времени. Понимаешь? Нам надо взять не только Вольского. Он уже в наших руках! Главное — нужно добраться до всех его корешков. И до полковника Лукашевича. Поняла требование революции?

– Это я уже давно поняла.

— Ага, поняла? Тогда закручивай. Помнишь француза в Одессе? Французик нашел *Татьяну,* а потерял секретные документы. Жаль, что сам француз ускользнул. Ну, чёрт с ним! А вот Вольский нужен целиком. Учти!

— Учту! — крикнула Сонька, оттолкнув протянутые к ней руки начальника. — Договорились . . .

— Ты чего такая? Сердитая сегодня.

— Да как бы сказать? Может быть я хоть раз хочу испытать до конца, как это быть настоящей *Татьяной.*

— Ну, — с удивлением протянул начальник. — Из Соньки — да в Татьяну? Во имя революции? По заданию чека? Одобряю!

— Смеяться нечего! — со злостью бросила Сонька и поднялась со стула.

— Какой тут смех! О тебе, о чекистке Соньке, может книгу кто напишет. Под названием: «Татьяна из ЧК».

— Вряд ли напишут, — сказала Сонька и, подумав, добавила: — Нет, не напишут. Так *Сонькой* в архиве и останусь. А почему была такая Сонька и как стала Сонькой — разве ж об этом можно открывать людям?

— Ты сегодня чего-то в расстройстве, — грубо оборвал начальник. — Иди! Действуй!

Она действовала. И чем дальше действовала, тем острее и острее чувствовала себя уже не совсем Сонькой, а какой-то другой, иногда до того другой, чло даже имя *Татьяна* казалось лекарством, помогающим от какой-то внутренней, не совсем понятной боли.

И всё-таки она регулярно появлялась в кабинете начальника секретно-оперативного отдела, рассказывала обо всем, вплоть до того, что Феликс Вольский объяснялся ей в любви и предлагал «перебросить» за границу.

— Рано еще! — приказал начальник. — Веди игру дальше. Заставь его раскрыть все карты. Может быть . . . ну, ты это знаешь как сделать! Можешь намекнуть, что и сама готова вступить в «конспирацию».

Она опять и опять встречалась с Вольским и, наконец, поняла, что дальше *играть* уже не может.

Не может, и всё! Была ли она до конца искренней в этом «не может?» Решение «не может» сложилось неожиданно, в тот момент, когда она, в пустом фойе драматического театра, стояла перед громадным зеркалом и в нем рассматривала самое себя.

В зеркале она увидела *Татьяну,* по-настоящему полюбившую этого чужого ей «краскома» Феликса Вольского.

«Переиграв» свою роль, изменив сама себе — она в один день сказала о себе всю *правду,* предупредив Вольского, что ровно в три часа ночи в его комнату явятся чекисты.

— Всё, — сухими губами прошептала Сонька, — исчезайте. Завтра — будет поздно.

— Татьяна! Я не верю, Татьяна . . .

— Татьяны больше нет. Я — Сонька! Всегда была Сонькой.

Ничего больше не сказав, она повернулась и ушла. Двигалась она медленно, но когда скрылась за углом, Вольскому показалось, что его жизнь стала пустой и безнадежной. Так рушатся и гибнут яркие сны, и на человека с открытыми глазами наваливается бесконечность ночи.

Вольский оглянулся и впрямь увидел себя стоящим в темноте. Темнота помогла восстановить действительность. Действительность родила благоразумную мысль о том, что с этой самой минуты он обязан действовать иначе, отступить, уклониться куда-то в сторону.

Это не была трусость. Это было ясное сознание ответственности не за себя, за других, за полковника Вадима Лукашевича, за всех тех, с кем он был связан.

Он уже шагал по Прорезной улице, но вдруг остановился и после короткого размышления свернул влево. Он направлялся к себе, на Фундуклеевскую, вряд ли соображая, что делает это из желания спасти чувство к Татьяне.

Поднявшись в свою комнату на втором этаже, Вольский стал прислушиваться. Всё было по-обычному. Этому он не удивился, вспомнив, что «то» должно произойти позже, в три часа ночи.

Боялся ли он того, что случится? Он и сам не знал, думая теперь только о Татьяне, отказываясь верить, что никакой Татьяны нет.

Потом он протер глаза, как будто проснувшись. Действительно, может быть всё — только сон?

Вдруг он с удивлением обнаружил, что сидит в полной темноте. Ну, да, сказал он себе, ведь я пришел домой вечером. Так, восстанавливая все детали возвращения домой, ему уже легко было догадаться, что сидя на этом стуле он и уснул. И вот теперь — ночь.

Он зажег спичку и взглянул на часы. Часовая стрелка приближалась к цифре «3».

Если правда, подумал он, что Татьяны не было и нет, тогда . . .

Не слух, а какой-то внутренний толчок заставил его подняться со стула и осторожно подойти к окну. За стеклами была темнота, чуть-чуть рассеиваемая светом единственного на углу улицы электрического фонаря, горящего в полнакала. Оттуда, от угла, прижимаясь к стенам, цепочкой и крадучись, двигались кожаные куртки.

Все сомнения исчезли. Подтянув ремень, поправив в кармане кольт, Вольский открыл дверь и, придерживаясь за перила лестницы, спустился вниз. Выходная дверь была заперта.

«Если они за мой, — подумал он, — у них есть ключ».

Он отодвинулся вправо, втиснулся в узкую пройму двери, ведущую в подвал и затаился.

По ту сторону двери угадывался приглушенный разговор. «Обо мне, конечно», — подумал Вольский, а когда заскрежетал осторожно поворачиваемый в замочной скважине ключ, сунул руку в карман.

Холодная, привычная тяжесть кольта вызвала мысли, в общем-то не имеющие никакого отношения к тому, что тут происходит и что должно произойти.

«Татьяны не было», — думал он, наблюдая, как медленно приоткрывается парадная дверь.

— Ну и тьмища! — шепнул один из вошедших. — Зажги спичку.

— Что ты! Приказ забыл? Двигайся за мною. Двое остаются внизу.

Предположение затаившегося в темноте Феликса Вольского, что все поднимутся на второй этаж не оправдалось. Он попробовал было определить, сколько чекистов крадется по лестнице.

«Не меньше шести», — решил Вольский и когда шаги затихли где-то наверху, он кинулся к выходу. Не понимая, что такое происходит, чекисты, караулившие выход, шарахнулись в сторону.

Феликс Вольский оказался на улице. Обычно такая широкая Фундуклеевская вдруг превратилась в узкую ловушку.

Феликс Вольский бросился бежать. Когда с тончайшим свистом скользнули пули, он инстинктивно прижался к стене дома и вдруг, совершенно неожиданно, заметил полуоткрытую дверь подъезда.

Вначале он этому не поверил. Да и трудно было поверить, так как по приказу коменданта города все двери подъездов с наступлением темноты запирались на замки до семи часов утра, и дворники имели право открывать их только по требованию патрулей или команд, производящих обыски и аресты.

Но дверь всё же была открыта. В этом не могло быть сомнения. Возникла иллюзия спасения. И тут же погасла: Феликс Вольский подумал, что за этой дверью — тоже ловушка.

Он бросился в ловушку, утешая себя мыслью, что — во всяком случае — пуля для самого себя у него найдется.

За дверью была пустота. Феликс Вольский поднял голову. На самой верхней лестничной площадке чуть-чуть светилась крохотная электрическая лампочка.

Он быстро взмахнул на третий этаж. Сердце гулко отсчитывало, он и сам не знал — что? Прожитые годы или остающиеся минуты? Так и не разобравшись в сигналах своего сердца, он глянул вниз, в лестничную клетку. Внизу была темная бездна.

В тот самый момент, когда Вольский разглядывал эту бездну, вдруг погасло электричество. От неожиданности он вздрогнул, потом посмотрел в окно и убедился, что свет потух и в редких уличных фонарях.

В подъезде уже раздавались голоса. Кто-то что-то приказывал, кто-то начал зажигать спички, в колеблющемся свете которых Феликс Вольский успел заметить черные усы, вздернутые кверху.

Потом раздались шаги двигающихся по лестнице. Навстречу шагам осторожно пошел Вольский. Наполненное темнотой пространство между ним и чекистами всё сокращалось. Наконец, он остановился и медленно поднял кольт. На площадке второго этажа вспыхнула спичка, и Вольский, стреляя, рванулся вперед.

Команда, спотыкаясь на убитых и раненых, кучей загремела вниз, к выходу. За чей-то труп зацепился и Феликс Вольский, но удержался на ногах.

Теперь Фундуклеевская перестала быть ловушкой. Еще несколько раз выстрелив, он попал в какой-то проходной двор, перелез через стену и очень скоро оказался в хорошо знакомом районе Львовской площади, на стыке со Львовской улицей.

Здесь он остановился и прежде всего проверил пистолет: магазин был пустой.

«До чего ж я не осторожен, — подумал он, — даже для себя пули не оставил».

Об этой своей мысли, через какое-то время, корнет Вольский сказал полковнику Лукашевичу. Полковник Лукашевич слова корнета записал в свой дневник. Этот дневник Автор не только видел, но и читал.

Как сложилась дальнейшая судьба Феликса Вольского — Автор не может сказать. У него нет достоверных сведений. Мелкие же заметки, сохранившиеся от тех, уже давних лет, настолько сбивчивы и, подчас, противоречивы, что Автор не хочет на них ссылаться, хотя бы потому, что где-то в душе шевелится надежда: Феликс Вольский еще может жить.

Теша себя такой призрачной надеждой, Автор строит иллюзию, что книга «Моль» попадет в руки *живого* героя *действа*, почему и считает возможным привести — —

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ К НЕЛЕГКОЙ СУДЬБЕ КОРНЕТА ВОЛЬСКОГО

Мохов знал, что его косящий левый глаз пугает людей и заставляет их растерянно отворачиваться. Он ненавидел этот свой собственный глаз, отвратительный, как клеймо, и жуткий, как проклятие.

Ненависть эта была странной. Он испытывал ее только наедине с самим собою. Когда же ему приходилось разговаривать с тем, кого приводили к нему в кабинет под конвоем, он наклонял голову так, чтобы *враг* сразу натыкался на его мертвый и вместе с тем коварно изучающий глаз.

Обычно в его руки попадали враги-интеллигенты, и тогда происходил не допрос, не следствие, а издевательство, вызванное завистью к чужим умным лицам, к высоким лбам, к глазам, в которых Мохов не мог не заметить превосходства жертвы над палачом.

Зависть делала его равнодушно жестоким и беспощадным. Сознавая это, ему всё же хотелось иногда похоронить мысль о зависти и в самом себе обнаружить нечто возвышенное и оправдывающее.

Поиски ни к чему не приводили. Возникавшие представления об идейности, преданности партии, о величии Октября он отбрасывал. Потому что всё это он сам насаждал и всему этому знал подлинную цену.

Сколько судеб он перечеркнул? Статистикой он не увлекался. Цифры его не тревожили. Совесть — молчала, и лишь сознание, что *враги* — отличные от него люди — вызывало дрожь.

Необычность врагов удивляла Мохова и, в конце концов, заставила подумать. что он мог бы их даже полюбить, если бы сам был хоть чуть-чуть похож на них. Но сходства не было и не будет. Никогда. Окончательность этого *никогда* и порождала дикую злобу к тем, к иным людям.

И всё же Мохов с мучительной настойчивостью пытался утешать себя тем, что он такой же, как и эти *интеллигенты*, что и у него могут быть глубокие чувства и светлые *мысли*. И даже некоторое родство с врагами. Соблазн *родства* был настолько велик, что ему хотелось создать свое собст-

венное «генеалогическое древо», пусть и не особенно пышное, но правдоподобное: с дедом, который имел Георгия какой-то степени за взятие Шипки или за оборону Севастополя. Оформить эту выдумку Мохов всё же не рискнул, боясь что-то менять в своей безукоризненной пролетарской автобиографии, хранящейся в партийных архивах.

Мохов пошел по пути внешних признаков, делающих его похожим на тех, *других*. Он менял белье, ходил в баню, аккуртно брился и любил новые костюмы. И убедился — что это не помогает, что он остается самим собою, ощущает разницу между собою и *теми* в физически осязаемой грязи, лежащей не на нем, а в нем. Это его удивляло, и он в недоумении задавал себе вопрос: почему обовшивевшие в подвалах Лубянки, все эти *типы,* выглядят благородно? Почему еще не пойманный враг Феликс Вольский, фотографию которого недавно рассматривал Мохов, тоже благороден? И почему, наконец, точно такое *внутреннее* благородство очень и очень часто обнаруживал он, Мохов, даже в лицах самых обыкновенных стариков крестьян, хотя большие их руки грубы и мозолисты?

Мохов злобно передернул губами, признав, что следов благородства на нем не появится, и что все его упражнения перед зеркалом и новые костюмы ничему не помогут.

Что остается? Самая примитивная ненависть к другим, иным, и не только к тем из чужого и чуждого ему мира, но и к своим, с кем он, Мохов, связан круговой, кровавой порукой.

Ну, вот хоть бы секретный агент Прошков, о сложной и таинственной работе которого, кроме Мохова, знали еще дватри человека.

Прошкову доверяли и этим он очень гордился. Гордость увеличивало сознание, что чека, при помощи таких как он, Прошков, знает всё и обо всех лучше, чем отец и мать о своих детях. Но Прошкову и в голову не приходило, что в управлении зафиксирован и каждый шаг его самого, Прошкова, и что Мохов злобно посмеивался, читая *сводки,* в которых черным по белому было записано о безуспешных попытках Прошкова добиться любви очаровательной Соньки, первоклассной *наводчицы,* агента, скрывающегося под кличкой «Золотуха».

Мохов с некоторым даже удовольствием следил за «игрой в любовь», причем иногда подмигивал и напевал: «Понапрасну, Ванька, ходишь, понапрасну ножки бьешь!»

Но как только в одной из сводок появилось сообщение, что Прошков уговаривает Соньку бросить *дело,* оторваться от *агентуры,* Мохов увидел и в Соньке и в Прошкове каких-то уже не своих, чужих, тех, к кому он не мог не чувствовать зависти.

Прошков ничуть не удивился, получив *код*: зашифрованный приказ явиться к Мохову на квартиру. Это происходило более или менее регулярно, а так как Прошков был из числа особо *темных,* то в целях конспирации с ним разговаривали где угодно, но не в помещениях чека.

В точно указанное время Прошков позвонил.

— Заходи, — открыв дверь, приказал Мохов. — Садись.

Прошкову сразу стало неуютно. «Что-то стряслось», — подумал он, наблюдая за дергающимися губами Мохова.

— Как у тебя с Сонькой? — в упор спросил Мохов. — Молчишь? Перевоспитанием занимаешься? Учти: Сонька нам нужна. Когда *придет* время — мы ее так перевоспитаем, что и следов не найдешь.

Прошков сидел с опущенной головой.

— Молчишь? Да и об чем тебе говорить? Ты ведь знаешь, что ты *сотрудник,* и что из *органов* уходят только в подвал. Чего глаза прячешь? — крикнул Мохов. — Может, открылся Соньке, по каким заданиям работаешь?

— Да что вы, — в испуге прошептал Прошков. — Как возможно? У меня этого и железом не добудешь.

— Ну, ну, — уже более спокойно сказал Мохов. — Ладно. С Сонькой путаться — можешь. Да только она тебе и за юбку подержаться не даст. Это я знаю. Так что — смотри: игру веди тонко. До *сигнала.* Понял?

— Понял, товарищ Мохов. Я так и действую. Комар носу не подточит. А что не везучий я на бабу, это вы, товарищ Мохов, правильно отметили. Да и куда мне? Сонька — она для больших горизонтов, на нее, товарищ Мохов, ловить кого хочешь можно. И француза и англичанина. На нее любой враг клюнет.

— Знаю, — перебил Мохов. — Ты мне лекцию не читай.

— Я и не читаю, — уже совсем осмелев, говорил Прошков. — Да только она, товарищ Мохов, *продать* способна. Это точно. Я вам докажу. А уж тогда, товарищ Мохов, как обещали, в штат меня возьмите. Открыто. Не всю ж мне жизнь *темнить!* Хочется и человеком стать.

— Там видно будет, — буркнул Мохов. — А *человеком* стать — нам таковых мало требуется! Такие, что *темнят* . . .

такие нам требуются и требуются. А вообще — старайсь. Учти, что Соньке не всё прощено. Ну, после ее *ошибки* с Вольским. Она в Москве, так, вроде для проверки. И еще учти: около нее работает Мишка Большой. Вроде конкурент тебе. Только смотри: виду не показывай, что об этом ты знаешь. Потому что и сама Сонька не догадывается, что Мишка Большой послан к ней *нами*. Учти! Пока всё. Иди. Ты когда к ней попадешь?

— Через день-другой. Она, товарищ Мохов, не всегда и пускает.

— Знаю. Да ты и сам сказал, что на бабу не везучий. Иди. И помни, что из чека путь только один — в подвал.

Расстроенным вышел Прошков из квартиры Мохова.

На улице, среди редких прохожих, куда-то торопливо шагающих, Прошков почувствовал себя уверенно. Он даже впился профессионально-изучающим взглядом в чье-то лицо, и тут же отвернулся, вспомнив Мохова, его мертвый глаз и, почему-то, Соньку.

«Бывает же такая красота», — подумал Прошков, и от этой красоты сам себя отставил. Куда ему! Сонька! Сонька в Одессе, Херсоне, Новороссийске, играючи, прибирала к рукам французских офицеров, попутно доведя до самоубийства белого штабного офицера, слишком поздно обнаружившего пропажу секретных документов из штаба Главнокомандующего.

Соньку тех лет Прошков, конечно, не знал, но слухи о таинственной и дерзкой чекистке, оперировавшей в тылу врага, доходили и до него.

Потом, правда, она на чем-то большом сорвалась, *погорела,* что должно было закончиться стенкой, но за прошлые заслуги ее помиловал сам Председатель, переключив на работу по *особым* заданиям.

Так появилась Сонька-Золотуха, опять завертелась, легко очаровывая *внутренних* врагов своей обворожительностью и великим мастерством выглядеть беспомощной тургеневской девушкой, гибнущей в омуте революции и остающейся трогательно-прекрасной дочерью *былой* России.

И опять сорвалась Сонька. На этот раз в Киеве, сознательно или случайно открыв *сигнал* белому корнету Феликсу Вольскому, спрятавшему свое прошлое, сумевшему стать красным командиром и занять должность начальника разведки штаба военного округа.

Как всё это случилось, Прошков точно не знал. Попытки же понять, почему Сонька помогла Феликсу Вольскому уйти из рук чекистов, были бесплодными.

Ее опять помиловали. Это тоже не могло не смущать Прошкова: такого — второго — случая в истории чека найти нельзя.

Когда Соньку перевели в Москву и поручили Прошкову взять ее под наблюдение — он отнесся к этому, как к обычной *работе,* совсем не предполагая, что после первой встречи с Сонькой вернется к себе домой и долго будет шептать: «Ну и красота» . . .

Может быть даже потому, что эта красота носила уже следы увядания, Прошков, всё чаще и чаще сталкивающийся с Сонькой, пришел, наконец, к поразившему его убеждению: он не может жить без Соньки.

Да, она такая и сякая. Всё это верно. О мелочах, из которых складывалась ее теперешняя жизнь, он должен был доносить в своих информациях. Эти информации он писал излишне подробно, чтобы спрятать свои чувства, цинично оплевываемые Сонькой.

— С кем только я не спала, — смеялась Сонька. — По заданию и без . . . Спала, может, и с таким, что похуже тебя! Видишь, что за я? А вот о любви . . . один разок в своей распутной жизни услышала я такое слово. И знаешь от кого?

— Ну? — невольно спросил Прошков.

— От Вольского . . .

Об этом не говорил в своих донесениях Прошков. Молчал и о том, как он просто и по-человечески просил Соньку бросить «дело» и оторваться от того мира, в котором и он и она жили.

Что это? Любовь? Что-то другое и непонятное. У таких, как он и Сонька — любви не может быть. Он мужественно признал, что грязнее Соньки — он сам.

В таком состоянии, пусть и без всякой пользы для себя, ему и захотелось сразу же после посещения Мохова увидеть Соньку, сказать всё без утайки, предупредить и помочь ей исчезнуть.

Прошков отлично понимал, под какую угрозу он ставит самого себя. Он даже вспомнил Мохова: «Из чека уходят — в подвал . . .»

Невольно взглянув на решетки подвала одного из домов, мимо которых он проходил, Прошков вдруг заторопился,

вскочил в трамвай, потом брел по переулкам и, запыхавшись, остановился, желая представить себе встречу с Сонькой. С ней он уже не виделся два дня.

По узкой лестнице он шагал медленно. Подойдя к двери, тихо, условным стуком, щелкнул у замочной скважины.

С той стороны кто-то прислушивался. Прошков опять стукнул. Дверь отворилась.

— Ты чего зачастил? — недовольно спросила Сонька. — Дела у тебя другого нет?

— Соня. Давай хорошо поговорим. Потому что «дело» мое . . . да это о тебе мысль.

— Слышала. Ну. заходи . . .

Вслед за Сонькой, Прошков вошел в большую комнату. Пахло тут тем страшным духом, какой остается от самогонки, шампанского, махорки и дыма отличных контрабандных сигарет.

На столе беспорядочной кучей громоздились стаканы, на тарелках и около них — валялись остатки какой-то закуски. В углу комнаты были свалены пустые бутылки и разный мусор.

Ничто не удивило Прошкова. Но стоило ему заметить среди мусора растоптанный кусок хлеба, как-то сразу пропали все, недавно такие еще хорошие слова и мысли, и уже захотелось даже не Соньку, а самого себя облить грязью.

— Погуляли, значит, — прохрипел Прошков. — Договорились?

— А ты чего влазишь в подробности? *Детали* тебе нужны?

Понимая, что ему уже не спастись от самого себя, Прошков криво усмехнулся.

— Ты чего зубы скалишь? Любопытно? — спросила Сонька.

— Любопытно, — вяло, но как-то серьезно сказал Прошков. — Я, понимаешь, с детства любопытный. Я уже на десятом годку своей жизни распознал, что ножом режут не только хлеб насущный.

— Кто тебя такому научил? — Сонька в недоумении подняла брови. — Кто тебя в *такие* люди вывел?

— Да так. Был один. Весьма сознательный товарищ.

— Об этом я уже слышала, — махнула рукой Сонька и зевнула. — Спать хочется. Ты иди к себе домой. Больше приходить не надо. Не показывайся здесь. Я, знаешь вчера замуж вышла. За Мишку. Чувствуешь: за Мишку Большого. Вот тут и веселье справляли.

Прошков отшатнулся, но овладел собой и спокойно сказал:

— Веселье? А может — похороны?

Сонька рассмеялась:

— А что ж . . . Мишка такой. Он и похоронить может.

Она продолжала смеяться и после того, когда за Прошковым захлопнулась дверь. Смеялась и кинувшись в постель, смеялась, грызя зубами подушку.

Проснулась она только под утро, когда вернулся Мишка Большой.

— Поехали, — сказал он.

— Поехали? — спросила Сонька.

— Да ты что? Забыла? — удивился Мишка Большой. — Оглядываться уже поздно.

Она нервно засмеялась.

— Ты чего?

— Вчера . . . тут . . . с разговором был Прошков.

— Знаю, — спокойно сказал Мишка Большой. — О чем говорил — тоже знаю. Сам он мне всё выложил. Ему . . . и ему оглядываться уже поздно.

Первым, кому стало известно о бесследном исчезновении Прошкова, был Мохов. Когда эти сведения подтвердились, Мохов встревожился. Не потому, что Прошков ему был дорог и близок. Нет. Вспомнив, что Прошков работал только по его заданиям, Мохов вытер выступивший на лбу пот. Пот был холодный. Мохов трусливо поежился, представив себе сложную чекистскую машину.

На любого, вырвавшегося из этой машины агента, смотрели как на предателя, врага, изменника, способного поднять руку на власть, провалить секретную *сеть*, переметнуться за границу. Таких случаев было предостаточно.

А тут — Прошков. Мохов, конечно, поднял на ноги всех, подчиненных ему сексотов, всю тайную агентуру. Но напасть на след Прошкова не удалось. Все убийства, совершенные в эти два дня, были изучены и среди трупов не оказалось Прошкова. В этом-то и была опасность. Найдись гделибо мертвый Прошков, списали бы его с «денежного довольствия», вычеркнули бы из списков работающих «по заданиям», ведшееся им наблюдение перепоручили бы другому — и концы в воду. Не надо было бы волноваться.

Но так не произошло. Об этом подумал Мохов. Выхода не было: надо доложить. Кому? Да конечно же Решкову.

Телефонный разговор был короткий.

— Ты говоришь, — спокойно сказал Решков, — новость? Кой-что мне уже известно. Приезжай немедленно!

Попав в Главное управление, Мохов удивился, что Решков не принял его сразу. Пришлось сидеть и ждать среди самых обыкновенных сотрудников. Такого раньше не случалось. Когда же к нему подошел дежурный оперуполномоченный и без слов пальцем поманил идти за собой, Мохов это воспринял как признак беды.

Решков сидел на краю громадного письменного стола, опустив ноги на кожаное кресло.

— Что у тебя там *опять* случилось?

От этого «опять» Мохов чуть не задохнулся.

— Вон там, на столике, графин с водой, — насмешливо кинул Решков.

Мохов, как наказанный ученик, двинулся к графину. Вода была теплой и противной. Глотая ее, он срывающимся голосом рассказывал о «происшествии».

— И это всё? — пренебрежительно спросил Решков.

— Всё, товарищ Решков.

— Не удалось обнаружить, куда подался Прошков после *того* посещения Соньки? Никаких следов?

— Все меры, товарищ Решков, были . . .

— Понятно! Всё было предпринято, всё предусмотрено и — ничего. Так?

— Так, товарищ Решков, — ответил Мохов, судорожно потирая руки.

Решков придвинул к себе телефон и кому-то что-то приказал. Потом, не снимая руки с телефона, принялся рассматривать Мохова.

Мохов взгляда не выдержал, опустил голову и только тут заметил, что он всё время стоит навытяжку, хотя рядом был стул.

В этот момент вошел дежурный оперуполномоченный и передал Решкову какую-то бумагу.

— Да ты присаживайсь, — с явной издевкой сказал Решков, когда за дежурным закрылась дверь. — Устал, небось, от работы. От всех *принятых* мер, — и покосившись на уже севшего Мохова, добавил: — Ну вот, меры были приняты, а результатов — никаких?

Мохов хотел что-то ответить, но Решков махнул рукой:

— Погоди, дай дочитать.

Читал он до того томительно медленно, что Мохов не выдержал и спросил:

— Это — об том?

— Об том, — Решков шевельнул бумажкой. — Об том самом. У тебя — никаких результатов, хоть тебе доверена *первая* линия наблюдения. Здесь — по *второй* линии — довольно интересная информация. Познакомить с ней?

Словно желая подчеркнуть доверие к Мохову, Решков пересел с края стола на стул и склонился над листком исписанной бумаги. Это Мохов воспринял, как разрешение прочитать «информацию» и придвинулся к Решкову.

— Так вот, — сказал Решков, опять устраиваясь на краю стола, — по *нашей* информации всё выглядит так. Прошков от Соньки-Золотухи выскочил, как ошпаренный. Ясно: любовь — не картошка, не выбросишь за окошко. А в полночь попал в шалман. Да ты об этом месте должен знать! Вот Прошков сидит за столиком. Вроде бы ждет кого. Ну . . . ну дальше я тебе прочитаю из информации. Слушай: «А к Прошкову присоседился такой грузный собой мужчина. Так нахально присел, что все в кабаке затихли, догадались, что может случиться происшествие. Даже с пистолетом или финкой. А пока что мужчина оскалил зубы и требует от Прошкова, закажи, говорит, для знакомства и мне поллитру. Потому другую дозу как-то стыдно пить. Душа моя, говорит мужчина, меньше поллитры не принимает. Она у меня культурная. А сам я, говорит мужчина, по фамилии Ступица . . .»

Решков опять пересел со стола на стул.

— Да это же чистый след, товарищ Решков! — воскликнул Мохов.

— Чистый, — согласился Решков. — Только по *второй линии,* с опозданием часов на двадцать. Без опоздания должна была сработать твоя, товарищ Мохов, *первая* линия.

— Как же теперь быть, товарищ Решков?

— Ну . . . Об этом я подумаю. А пока что . . . для пользы дела . . . послушай, что дальше в информации. После того, как объявился Ступица. Так вот, читаю: «Прошков посмотрел на Ступицу, и говорит, вот ты каков с виду. А я и не знал, хоть и слышал о тебе порядочно. А тут Ступица и кричит, о чем таком слышал? Выкладывай! А Прошков отвернулся от проспиртованной морды Ступицы, позвал хозяина кабака и говорит, отпусти ему, то есть Ступице, поллитра. А Ступица хвалит Прошкова, говорит, большой фарт у тебя. Без денег, говорит, а как в банке кредитуешься. В счет какого бенефиса? — спрашивает Ступица, а Прошков велит ему пить. Ступица, конечно, выпил, погладил шею, крякнул,

и спрашивает у Прошкова, что такое, говорит, ты слышал обо мне? Прошков в ту минуту смотрел в черное, запотевшее окно, вроде пробуя угадать, что там такое ночью творится за стеклом. А Ступица не отстает, толкает Прошкова в бок, выкладывай, требует, всё обо мне, если не боишься. Тут Прошков оторвался от окна, посмотрел на Ступицу и совсем громко, так, чтобы все слышали, говорит, чего мне, говорит, тебя бояться? Страх перед тобой, думаешь, что слава за тобой идет? У тебя была слава, говорит Прошков Ступице, бесстрашный ты был, верно, а теперь... теперь ты сам себя боишься и от страха спился, не сегодня, так завтра до конца допьешься и сам себе верёвку на шею закинешь. В кабаке, понятно, все затаились. Потому должно было начаться самое интересное, да только тут открылась дверь и вошел Мишка Большой, этот новый хахаль Соньки, что-то такое шепнул Прошкову, после чего с ним, то есть с Прошковым, вышел на улицу, а там была ночь, и стоял извозчик, и они уехали. А что дальше было, не знаю. Потому мне нельзя было показывать вида, что меня это чересчур касается. К тому же у меня имелось другое задание...»

Закончив на этом чтение информации, Решков, усмехнувшись, сказал:

— Вот как обстояло дело. А что дальше — тут следы действительно пропали. Метнулся куда-то в сторону от нас и Ступица. Да и Соньку-Золотуху с ее Мишкой Большим — поминай, как звали!

— Как теперь быть? — простонал Мохов. — Я проморгал. Да за это же мне...

— Пуля, думаешь? — безжалостно спросил Решков. — Не бойсь! Ты еще нужен! Но учти: на Соньке был глаз Председателя. Чувствуешь? Преседатель простил Соньке провал операции по киевскому белогвардейскому центру, но продолжал думать, что рано или поздно, Сонька раскроет где-то притаившегося Феликса Вольского...

Автору уже приходилось говорить о своих пристрастиях к тем или иным героям «Моли». Чувство горечи испытывал Автор, когда приходилось прощаться, например, с тихо ушедшим из жизни благороднейшим Нововойтовым, труп которого обнаружили рыбаки на берегу Дона. С болью расставался Автор и с другими. А вот теперь — и Феликс Вольский. Что с ним сталось? За упокой или за здравие вписывать в поминальник? Автор не знает, хотя под занавес, что

ли, и находит нужным восстановить одну из встреч с Собеседником, чтобы рассказать о том, как — —

СОБЕСЕДНИК НАХОДИТ ЛИТЕРАТУРНЫЕ АНАЛОГИИ

Несмотря на сварливый характер Собеседника, Автор любил вести с ним задушевные разговоры. Может быть даже потому, что Собеседник был первым читателем *действа*, в котором развертывались далеко отодвинутые события. А может быть и потому, что Собеседник — придирчивый и наблюдательный — на прошлое смотрел глазами сегодняшними и ворчал: «Что за название? *Моль!* ..»

Автор не обиделся на несколько пренебрежительное восклицание. Он согласился, что, конечно, в целях рекламы и сенсации можно было бы придумать что-то более хлёсткое, вроде «Преступления без наказания» или «Войны до бесконечности». Вариантов подбиралось много, они висели гроздьями, но ... но лучше «Моли», говорил Автор, ничего нет.

Собеседник, махнув рукой, заявил, что каждый хозяин квартиры владыка своих углов, и в этих углах волен распоряжаться, как ему угодно. И потому против «Моли» он не возражает. Это было бы бессмысленно. Но он, Собеседник, просит оставить за ним право высказываться по поводу некоторых страниц этой самой «Моли», в том числе и тех, что относятся к истории обольстительной чекистки Соньки-Золотухи, сыгравшей злую роль в драме Феликса Вольского.

Драма закончена, говорил, Собеседник, но как-то странно, без финала. Феликс Вольский ушел в тень литературных кулис. Потерялся. Был и не был.

Собеседник упрекал Автора за душевную вялость, за нежелание броситься к своему герою не ради спасения, а для оправдания его перед читателем.

Автор попробовал возразить, доказать, что он не увёл за «литературные кулисы» Вольского и что вообще никаких кулис нет. Жизнь сложнее литературы и сама всё и жестоко решает.

— Согласен, — сказал Собеседник. — Тем более, что это согласие не абстрактное. Жизнь действительно сложнее литературы. Давайте говорить начистоту: жизнь коварно обманула вас. А может быть ... ведь бывает и так: сам человек жаждет быть обманутым. Вот Феликс Вольский — от-

чаянной души белогвардеец! Чем бы закончилась его киевская операция — не будем гадать! Но сам он — *погорел.* Из-за чекистки. Из-за Соньки-Золотухи. Так записано в «Моли». Записано и о том, что он выскользнул из западни. А дальше? Почему нет нескольких строк эпилога к яркому роману Феликса Вольского с Сонькой-Золотухой? Почему так просто оборвалась вся эта история?

Прекратив поток «почему» — Собеседник принялся упрекать Автора в боязни раскрыть тайну Соньки-Золотухи и договорился до того, что Автор под Сонькой-Золотухой спрятал другую чекистку.

— Да, другую, — добавил Собеседник, — может быть ту самую, которую Валентин Катаев в повести «Трава забвения» окрестил Клавдией Заремба. Понимаете, — говорил Собеседник, — выдумать *вообще* литературного героя нельзя. Он начинается в жизни. Его надо найти. И его находят. В нем есть что-то исключительное, из ряда вон выходящее, потрясающее. И всё-таки он еще не готов для встречи с читателем. Для выхода на сцену у него чего-то не хватает. Постепенно он обрастает какими-то качествами и деталями и тогда ... Вот и родилась у меня мысль о дикой аналогии, что «Моль» и «Трава забвения» толкуют об одной и той же сотруднице чека. Дело не в ее кличке! К тому же и сам Валентин Катаев — смущенный необходимостью украшать свою героиню «качествами и деталями» — признается: «Клавдия Заремба может быть даже выдуманная женщина» ... Это, понятно, писательские тонкости. В «Моли» тоже допустима «выдуманная Сонька». Аналогия? По аналогии мне и хочется верить: Сонька-Золотуха — это Клавдия Заремба. Обе — чекистки. Обе — по игре случая — внешне тургеневские девушки. Что под внешностью, ну ... как не возникнуть догадке: Сонька и Клавдия ... Сонька в «Моли», Клавдия в «Траве забвения» — почему им не быть одним и тем же лицом? .. Трудно, ведь, отпереться, что ваша Сонька работала в чека и что ее специальностью была работа по разоблачению белых. Ей это было легко. Она выглядела благородно, умела разыгрывать роль ненавидящей и Ленина и созданную Лениным чрезвычайную комиссию. На такую приманку, да еще при неотразимой красоте Соньки, белые попадались легко. В ее руках оказался и Феликс Вольский, к которому ее послала чека. Разве ж это не та самая история, — подчеркнул Собеседник, — что рассказал Валентин Катаев в «Траве забвения». Катаевская Клавдия Заремба — писаная красавица. Ей ...

Тут Собеседник попросил разрешения привести отрывок из *«Травы забвения»*. Просьба, конечно, была пустой формальностью, потому что, не ожидая ответа, он уже читал:

История... молодой коммунистки, помогавшей органам губчека ликвидировать опасный контрреволюционный заговор. Для того, чтобы взять эту организацию, чрезвычайной комиссии надо было ввести в нее своих людей. Во главе организации стоял молодой врангелевский штабс-капитан. И надо было начинать с него. Это было очень трудно. Офицер был чрезвычайно осторожен, ни с кем не знакомился и внутри своей организации был связан только с несколькими офицерами, им же привлеченными к работе. Однако, врангелевец не нашел в себе достаточно сил, чтобы побороть свое желание познакомиться с девушкой, которую уже несколько дней подряд встречал на улице и в столовой ЕПО. Он уступил своей слабости. Познакомился...

В губчека девушке... приказали влюбить в себя штабс-капитана. Задание было выполнено с лихвой: она не только влюбила его в себя, но влюбилась и сама, и не скрыла этого от заведующего секретно-оперативным отделом губчека, который взял с нее слово, что, несмотря ни на что, она доведет дело до конца. Девушка торопила. Она говорила заведующему секретно-оперативным отделом губчека, что больше не может вынести этой пытки. Но дело с ликвидацией заговора затягивалось, так как взять следовало не только верхушку, а и хвосты. Она твердо исполнила свой партийный, революционный долг, ни на минуту не выпуская своего возлюбленного до тех пор, пока они вместе (врангелевец и Клавдия Заремба) не были арестованы, сидели рядом в камерах, перестукивались, пересылали записки. Затем он был расстрелян. Она же была освобождена...

— Читать дальше не стоит, — сказал Собеседник. — В чем разница между «Травой забвения» и «Молью»? Ах, да! В том, что в «Моли» — корнет, у Катаева — штабс-капитан, что Катаев не вспоминает Вадима Лукашевича, полковника, что Катаев записал: «Он — штабс-капитан — был расстрелян»... А в «Моли» — корнет ускользнул из рук чекистов. Аналогия пошатнулась? Не совсем. Потому что у Катаева, в «Траве забвения», говорится о том, что Сонька-Золотуха, виноват: «девушка из совпартшколы, Клавдия Заремба» (она, ведь, была *арестована* вместе со штабс капитаном и сидела с ним в одной тюрьме)... эта самая, по Катаеву, милая «девушка из совпартшколы, Клавдия Заремба» видела, как чекисты расстреливали белогвардейцев в гараже, видела, как ее «возлюбленного» туда же — на расстрел — тащили китайцы и латыши из «частей особого назначения». Катаев даже называет имя этого «возлюбленного» — Петр Соловьев. И еще у Катаева — мельком брошенное замечание, что этот штабс-капитан когда-то был его, Катаева, другом, и еще о том замечание, что в эту Соньку-Золотуху... вино-

ват: в девку из совпартшколы, в эту самую Клавдию Заремба — некогда и кратковременно был влюблен и он сам, Валентин Катаев. И еще записано Валентином Катаевым в «Траве забвения», что ... что так и не удалось ленинской чека руками китайцев расправиться с врангелевцем, штабс-капитаном Петром Соловьевым. Валентин Катаев не склоняет голову перед героизмом врангелевца, он спокойно доводит до сведения читателя, что врангелевец — оказался отважнее чекистов из «частей особого назначения». В общем — случилось чудо: белогвардеец вырвался и перескочив какую-то стену — исчез. Бесследно. Потом он оказался в Париже. О чем слухи дошли до Валентина Катаева. Конечно, Валентин Катаев о своей былой дружбе со штабс-капитаном Петром Соловьевым, с врангелевцем, никогда и никому не говорил. За рассказ о том, как из рук чекистов вырвался этот Петр Соловьев, Валентин Катаев не хотел расплачиваться своей жизнью. Он ее берег. Он прошел хорошую выучку, — добавил Собеседник, — и знал, что такое Ленин и что такое Сталин. Попробовал бы Валентин Катаев при них нарисовать картину с изображением китайцев и латышей, тянущих людей в чекистские подвалы на расстрел, или чекистку Клавдию Заремба, с любопытством наблюдающую, как выданного ею ее «возлюбленного» волокут рыцари революции к стенке. Это я к тому, — вздохнул Собеседник, — что «Моль» не затрагивает ни двадцатого съезда партии, ни жутких признаний Хрущева о преступлениях культа личности Сталина, о миллионах расстрелянных во славу строительства социализма и коммунизма. Кто знал об этом? Вся страна. Кто молчал об этом? Все. Молчит и «Моль». То есть, не то что молчит. «Моль» в своем *действе* — слишком замкнута в круг определенного времени, вобравшего в себя *приметы* жизни. Эти *приметы* нужны, чтоб понять «земли родной минувшую судьбу». За эти *приметы* кто-то обрушится на «Моль», кто-то похвалит, кто-то обозлится за клевету на «дорогую ленинскую партию». Клевета ! — воскликнул Собеседник. — Рискни бы Валентин Катаев сказать в 1952 году то, что он сказал в 1966 году, за «клевету» на партию те же рыцари революции отправили бы Валентина Катаева туда, где ничего не растет и где не возникает даже *трава забвения*. А вот когда сначала втащили в Мавзолей Сталина, а через некоторое время вытащили Сталина из Мавзолея, когда началась игра в демократизм с намеком на «оттепель», с партийными обещаниями положить конец «последствиям

культа личности Сталина» — Валентину Катаеву милостиво разрешили проехаться по Европе.

В Париже Валентин Катаев нашел своего друга врангелевца, штабс-капитана Петра Соловьева, офицера, героизм которого мог бы быть отмечен и Георгием Первой Степени.

Валентин Катаев — в Париже. Он уже свободен от страха перед культом личности и потому ищет и находит в столице Франции своего друга, врангелевца, штабс-капитана Петра Соловьева. Это, ведь, не просто эмигрант, это... это... Назовите мне, — попросил Автора Собеседник, — такого второго, кто, приговоренный к расстрелу, вырвался из рук не просто чекистов, а чекистов из «частей особого назначения»? И вот этого единственного — теперь уже дряхлого продавца цветов — встречает Валентин Катаев, сталкивается с «расстрелянным», напоминает ему о прошлом и... и о «девушке из совпартшколы». Но уж тут я обязан, — сказал Собеседник, — прочитать строчки из «Травы забвения»:

...— Клавдию Заремба, — спрашивает своего бывшего друга Валентин Катаев, — помнишь? Она совсем недавно умерла в Магнитогорске...

— Как говоришь, — спросил штабс-капитан. — Клавдия Заремба?

...На лице Петра Соловьева выразилось тупое напряжение, как у глухонемого...

— Кто она?

— Тогда была комсомолочка...

— Ах, та, черненькая комсомолочка, — сказал штабс-капитан и стал перекладывать в своей корзине букеты...

...О чем нам было еще говорить?

— «О чем нам было еще говорить, — это слова Валентина Катаева из его «Травы забвения». И он прав, этот Валентин Катаев. Говорить ему действительно не о чем. Встреча с молодостью? Встреча с олицетворением — пусть и чужого — героизма? Валентина Катаева это не взволновало. Партийное воспитание убивает человеческие эмоции. Да, убивает, — повторил Собеседник. — А ведь какой мог бы состояться разговор между Валентином Катаевым и Петром Соловьевым! Не состоялся. Человека не увидел перед собой советский писатель. Или побоялся увидеть? — сам себя спросил Собеседник, задумчиво глядя на Автора.

Автор молчал...

— Не буду гадать, — продолжал Собеседник. — Единственно, от чего не могу отказаться — от аналогии: Сонька-Золотуха и корнет Вольский в «Моли», Клавдия Заремба и штабс-капитан Соловьев в «Траве забвения». Там и там —

заговор. Там и там — почти что одинаковые судьбы и странное совпадение некоторых деталей, как бы намекающих, что и «Моль» и «Трава забвения» затрагивают одно и то же и определенно реальное событие. А вдруг белогвардейский офицер из «Травы забвения» и белогвардейский офицер из «Моли» — одно и то же лицо? А почему Сонька-Золотуха не Клавдия Заремба? Ведь позволил же себе Валентин Катаев сказать, что чекистка-комсомолка Клавдия Заремба «может быть выдуманной женщиной». Трудно разобраться, где кончается жизнь и где начинается литература. В «Траве забвения» Петр Соловьев, штабс-капитан, вырвался из рук чекистов и «драпанул через стенку второго христианского кладбища». В «Моли» Феликс Вольский, корнет, попал в дом-ловушку, уложил на лестнице несколько чекистов, вырвался на ночную улицу. Совпадение? Не слишком ли много их, этих совпадений? К числу их можно отнести и стремление мужественных офицеров к большому чувству. Обвинять их за слепоту? Улыбаться над их доверчивостью, неспособностью разгадать чекисток, обученных искусству любви похлеще, чем гетеры древней Греции? Стоит ли! К тому же гетеры мастерство обольщения не завершали сдачей любовников палачам, как это делали и делают Клавдии Зарембы и Соньки-Золотухи.

Догадка Собеседника о некой аналогии в двух совершенно разных книгах может представлять интерес для любителей литературных кроссвордов. Сам же Автор от такого бесплодного занятия уклоняется по недостатку времени. У Автора цель: показать — без претензий на величественные обобщения — лишь отдельные картины прошлого, вписанные в страницы «Моли». А что с этих страниц кто-то навсегда и бесследно уходит, тут уж ничего не поделаешь. Книга — не адресный стол и не сыскное отделение, следящее за передвижением и переселением положительных и отрицательных типов.

Да и где весы для взвешивания пороков и добродетелей? Где, наконец, та мера, которой можно определить истину и ложь?

Конечно, от этого грустного вопроса можно уклониться, сославшись на совесть. Всё это так, говорит Автор, но где аптека, в которой, по рецепту, отпускают совесть? В таблетках или в порошках, которые надо принимать до еды или после еды?

Нет такой аптеки, и потому Автор переходит к рассказу о том, как — —

КУЛИБИН И РЕШКОВ ГОВОРЯТ О ПОИСКАХ ИСТИНЫ

— Сегодня я вас угощу настоящим французским вином, — сказал Решков. — Я не стану вас, Владимир Борисович, убеждать, что оно очень старое, пролежавшее в подвале сотню лет. Но эту бутылку я приберег, чтобы откупорить ее при вас и для вас.

— Да? Это из тех бутылок, что привезли вы из вашей поездки в Париж? Поездки такой сложной и . . . и таинственной.

— Верно. Был Париж. Сколько тому времени прошло? Но даже в Париже, Владимир Борисович, я вас вспоминал. Про себя, конечно, и в мыслях. И всё же, как-то сидя вечером в парке, я невольно и вслух вашу фамилию произнес. Почему? Откуда я знаю! Но рядом со мною был Мохов. Так вот этот Мохов, тогда, в Париже, и говорит мне: что вы, Леонид Николаевич, привязались к этому корректору? Беспартийная сволочь это, говорит, а если поковыряться в его душе — так . . . Да, остановил я Мохова, верно и, говорю дальше: а что, Мохов, если поковыряться в твоей душе, тогда что? Мохов маленько растерялся, потом пришел в себя и, по-жабьи улыбнувшись, начал рассказывать о том, что тут, в Париже, есть бывшие друзья . . . то есть ваши друзья, Владимир Борисович. И всё сплошь — враги революции и ее ненавистники.

— С чего такое вдруг Мохов мною заинтересовался? — спросил Кулибин. — Я — корректор. Личность неприметная, доживающая свои последние, не хочу сказать: дни, но бесспорно последние годы. Бомбу я не умею делать, а если бы и сумел, так сил уже нет, чтобы бросить.

— Заинтересовался он потому, что, может быть, чувствует, что вы таите в душе мечту о какой-то еще не написанной книге. Да и мы с вами не раз говорили о ней, об этой еще не написанной книге.

— Говорили. Ну и что же?

— Владимир Борисович, я не могу объяснить . . . не могу сам себе объяснить, почему я привязан к вам, к «беспартийной сволочи» — по выражению Мохова. Я хорошо привязан к вам, хоть и знаю, что вы ненавидите всё, все, что окружает

вас, ненавидите, вплоть до меня. Вы меня ненавидите! Я это чувствую. Странно меня ненавидите. С надеждой, что в какой-то момент я сам себе вынесу приговор. Этот приговор оправдает меня в ваших глазах. Не спорьте, Владимир Борисович! Не нужны мне ни ваши утверждения, ни отрицания. Так ли я закончу расчеты с жизнью, как вы предполагаете, или произойдёт всё по-иному — трудно предсказать. Но искренне вам говорю: сожалею, что книга ваша останется не написанной, а если будет написана — мне не придется ее читать, не удастся *вашими* глазами посмотреть на современность, вобравшую мою, мною прожитую жизнь.

— Книга, Леонид Николаевич, вряд ли будет написана. Да разве мало печатается повестей и романов на *современные* темы?

— Это же соцреализм с партийностью и идейностью, — усмехнулся Решков. — Голая, казенная информация, информация затасканная, на которую никто не обращает внимания и которую никто не принимает всерьез. Это то, что в старину называли *гилью* . . . Гиль отодвигают в сторону, как поздравительные карточки с напечатанными на них трогательными текстами ко дню ангела или ко дню рождения.

— Да ведь это же ваша, поймите — *ваша* — литература!

— Это не литература, — махнул рукой Решков. — Это партийно-семейная хроника, жития партийных святых, перед которыми сегодня бьют поклоны. Что? Вас смущает моя решительность в оценках? Вы хотели бы меня упрекнуть, поймать на слове, бросить обвинение, что такая литература появилась только потому, что существует партия и чрезвычайная комиссия, в которой одну из первых скрипок играет Решков Леонид Николаевич. Ладно, ладно, не поднимайте протестующие брови, Владимир Борисович! Я не буду становиться в позу кающегося грешника. Я не способен к этому. И потому что я не способен, я так презираю лакействующих писателей, которые отвыкли и от свободы и от истины. Я даже сомневаюсь, что они, даже получив право на свободу и на истину, смогли бы . . .

— Сомнения ваши, Леонид Николаевич, это и мои сомнения! — воскликнул Кулибин. — Потерять свое собственное я — легко. Найти — трудно. Да и вообще путь к истине тяжел. В особенности, когда любого, пробующего шагнуть этим путем, немедленно оглушают дубиной.

— Или останавливают пулей, — добавил Решков, и, выдвинув ящик письменного стола, показал маузер.

— Как вы жестоко говорите, Леонид Николаевич. Не надо.

— Надо. Потому что я чекист. Для меня люди — ничто. Хотя, — тут Решков сжал руками виски, — для меня существуют два человека. Два человека во всем мире. Девушка Ирина. И вы, Владимир Борисович, по должности корректор, а по социальной категории — беспартийная сволочь.

— Как же так, Леонид Николаевич? А ваши друзья, ваши соратники, единомышленники?

— Нет друзей и единомышленников. А ведь могли быть! Молодые и старые. Теперь — нет. А старшего, совсем старика... Да что там поминать, Владимир Борисович. Давайте выпьем!.. Вино — из Парижа...

— Мрачно вы шутите, Леонид Николаевич, — прошептал Кулибин.

— Что ж, включите эту мрачную шутку в блокнотик, может — сгодится для той не написанной книги, в которой и мне отведете место, с моим путем к *моей* свободе. Только при описании моей истины и моей свободы будьте равнодушно правдивым, за одно помянув... Вы же сами как-то говорили, что путь к свободе сложен... что свободу нашли для себя сорок тысяч свободных афинян, создав первую в мире республику, в которой — на каждого свободного! — было двадцать тысяч рабов. Помяните и Джордано Бруно, которому в 1900 году в Риме воздвигли памятник за философские выводы из системы Коперника, сказав при этом, что того же самого Джордано Бруно в 1600 году сожгли на костре в том же самом Риме за установленную истину, что Вселенная бесконечна во времени и пространстве... Ну, примеров тому, что путь к истине не устлан персидскими коврами — можно привести достаточно. Но никогда и нигде, кроме созидаемой при моей помощи коммунистической державы, дорога к истине не утрамбовывалась миллионами трупов... причем истина эта — открыта Владимиром Ильичем Лениным. И она не подлежит ревизии, сомнениям и пересмотру.

— Но вы? — спросил Кулибин.

— Я?! — удивился Решков. — В той, вашей, еще не написанной, книге поковыряйтесь во мне. Это ваша обязанность. Кому ж другому заниматься этим? Кроме вас — никого нет.

— Есть, — чуть слышно прошептал Кулибин. — Ирина есть. Вы, ведь, нашли ее. Были у нее. Она — что?

Вопрос Кулибина «что?» заставляет Автора разобраться в том, как — —

РЕШКОВ И ИРИНА МОВИЦКАЯ САМИ СЕБЕ ВЫНОСЯТ ПРИГОВОР

— Ирина, — говорил Решков, — я опять перед вами. Зачем? Не могу объяснить. Я люблю вас, но это слово «люблю» — сейчас лишнее. Я не о взаимности думаю. Ее нет и не может быть. И никогда не будет. Вы смотрите на меня, как на нечто гадливо ползающее. Это оправдано и естественно.

Решков на мгновение замолчал. Ему даже показалось, что он самого себя разглядывает с презрением и отвращением. Словно спасаясь от этой мысли, он торопливо произнес:

— От вас я не услышал ни одного слова. Сегодня вы тоже ничего не скажете, ни о чем не спросите. Почему? Спросите! Потому что я скоро уйду, Ирина, уйду навсегда.

Испугавшись, что это «навсегда» звучит просьбой о какой-то милости, он тут же и очень сбивчиво принялся рассказывать о себе. Он был безжалостен. О себе он говорил, как о чужом и постороннем человеке, решившем, уходя *навсегда,* всё и до конца изложить. Без утайки.

— Ирина, — говорил он. — Вот вы здесь, тут . . . а мне кажется, что я нахожусь под пустым и черным небом. Не к вам я обращаюсь, к небу обращаюсь. Мне страшно. Ваш отец дал мне возможность учиться. Он ввел меня в ваш мир культуры, с кем-то написанными книгами, с музыкой, с глубокими мыслями. Всё это было у меня. Многое мне дал ваш мир . . . А теперь? Теперь я смотрю на свои руки и на пальцах вижу кровь полковника Мовицкого. Почему так произошло? Объяснять уже поздно. Оправдываться — нельзя. Но вот с тех пор, Ирина, я . . .

Решков с жалкой растерянностью вытащил бумажник, вынул из него выцветшую фотографию и положил ее перед собой на столе.

Ирина вздрогнула, увидев на снимке отца. Потом она протянула руку, придвинула к себе фотографию и заплакала горькими, детскими слезами. Затем притихла, прижавшись лбом к фотографической карточке.

— От прошлого, Ирина, — говорил Решков, — у меня осталось только изображение полковника Мовицкого и его дочери. Больше ничего. С *ничем* я пришел к *ним* ... Мне казалось ... Да, мне казалось, что я такой же, как они. Я себя обманывал. Я думал, заставлял себя думать, что я, вместе с ними, могу восхищаться заходом солнца и по-настоящему понимать величие Дон-Кихота. Но скоро я убедился, что это не так. Почему я не ушел от них? Мне некуда было уходить. Не может, ведь, оторвавшийся лист вернуться к родной ветке. Я — как лист. Да, у меня возникали теплые воспоминания. Воспоминания вызывали дрожь. Стараясь освободиться от этой дрожи, я глубоко вздыхал, делал несуразные движения. Мне хотелось доказать самому себе, что я жив. Но я был мертв. Нет, не физически мертв, а как-то по-другому. Душевно мертв. Потому и пути назад у меня не было. Однажды мне показалось, что мое лицо покрылось старческими морщинами. Я вскочил, подбежал к зеркалу. В зеркале я увидел одряхлевшее лицо ... и далеко не сразу сообразил, что это не зеркало, это я сам себя вижу таким, таким, пережившим самого себя, оторванным от жизни, от людей, от сел и городов своей родины ... Вот там Ясная Поляна ... Там — Москва ... Петрозаводск ... И вот этот Омск ... В этот Омск я уже приезжаю не первый раз ... чтобы увидеть вас ... чтобы сказать вам «прощайте» ... Да, к чему всё это? Ясная Поляна — это Лев Толстой ... Любой уголок страны, даже не отмеченный историей и картой, носил на себе следы тех, прежних, таких, каким был полковник Мовицкий. Ну, вот в Петрозаводске был Дмитрий Баласогло, друг Петрашевского, сосланный в Заонежье. Петрашевский, под конвоем доставленный в Сибирь, прожил тут, в Омске, шесть лет, и когда в 1849 году его помиловал император — Петрашевский отверг помилование. Да ... Омск ... Невдалеке от него, в одном из сел, вы — Ирина Мовицкая — учительствуете ... а два с половиной столетия назад в этих же краях, в монашестве, пребывала Екатерина Долгорукова, невеста Петра Великого. А так ли давно в этом Омске, в мрачной крепости, каторжанин Федор Достоевский думал мыслями, потом включенными в его «Мертвый Дом». Я всё это ненавидел ... Всех ненавидел ... И княгиню Долгорукову, и Петрашевского, и Льва Толстого ... Я ненавидел всю летопись России, потому что для меня места в этой летописи не было. Ненавидел еще и потому, что на всех, когда-то живших, был похож полковник Мовицкий, а я ... вы знаете, Ирина, кто я такой. Но

вы не скажете мне ни слова. Я давно уже утратил право на обыкновенное человеческое слово. Мне надо уйти. Навсегда... Фотографическую карточку, мою последнюю связь с жизнью, оставляю вам.

Ирина поднялась из-за стола и провожала Решкова до дверей. Когда он уже переступал порог, она сказала:

— Уходите навсегда... Прощайте.

И он действительно ушел... Но это еще не было «навсегда».

Москва его не успокоила. Да, он в ней жил своей обычной жизнью, отсчитывал месяцы. Из месяцев складывались годы. Время двигалось над Россией. Время унесло Ленина и подняло Сталина.

Московские улицы, подвалы Лубянки — остались.

Душевно опустошенный, Решков эту пустоту заполнял мыслями об Ирине. Он на что-то надеялся.

В погоне за иллюзиями — он опять поехал за Урал. В командировку. С большими полномочиями и секретными заданиями. Но сам себя Решков не обманывал, и на эту очередную и важную поездку смотрел, как на возможность еще раз встретиться с Ириной.

Пусть и эта встреча, как прошлые, ни к чему не приведет, но он увидит Ирину. Она будет сидеть с плотно сжатыми губами. Она будет смотреть куда-то в даль и мучиться ожиданием, когда закончится ни к чему не нужный и такой бессмысленный разговор. А когда он будет покидать ее невзрачную квартирку и скажет «До свидания», Ирина не протянет ему руку.

Обо всем таком думал Решков, сидя в отдельном купе скорого поезда Москва—Владивосток. Но стоило лишь скорому перевалить Урал и взять направление к Кургану, Решков, к удивлению проводника, большую часть времени проводил в двух последних, так называемых жестких вагонах, забитых обшарпанным людом, чей багаж был запихан в мешки или самодельные ящики.

Почему возникло это странное стремление к оборванным пассажирам — Решков вряд ли мог объяснить. Но оно было и всё время усиливалось после того, как он — при помощи Мохова — установил местожительство учительницы Ирины Мовицкой.

Тяга к народу, к простым человеческим лицам, к усталым, натруженным рукам не давала ему покоя.

Вот опять сидел он в жестком вагоне и прислушивался к осторожным разговорам о коллективизации, о раскулачивании, о ликвидации кулаков как класса, об арестах и опустевших селах и переполненных подвалах и тюрьмах.

— Где же правда? — тоскливо спросил кто-то совсем рядом с Решковым и сам себе ответил: — На кладбище последняя правда. Да только теперь и кладбища не для нас. Для нас — ликвидация. Без могилы. Так-то. А что потом...

Решков вздрогнул.

«Действительно, что потом? — подумал он. — Ну вот сутки, будет Омск, будет Иртыш, будет пароход или катер. Пароходом или катером я попаду туда, в село. А потом?»

Что случится потом, он додумать не успел...

— Кулак! — закричал какой-то молодой парень. — Агитацией занимаешься!

Тот, кто недавно говорил о последней кладбищенской правде, вдруг сорвался с места.

— Кулак? Это я кулак? Верно, взяли меня как кулака! А за что взяли? Всю жизнь землю пахал! Вот этими руками всю жизнь землю поднимал!

— Ну и брось петь кулацким голосом! — зло бросил парень. — Видишь: правда — не только на кладбище. С тобой разобрались. Нашли правду!

— Нашли?! — взорвался крестьянин. — Гляди на мою голову! Она вся белая, как тутошняя куропатка, а мне и сорока нет. Да ты погоди, — крестьянин стал стаскивать с себя пиджак, — я тебе сейчас покажу, как на моих ребрах такие, как ты, правду искали и меня правде вашей обучали. Иди сюда! Пощупай мои ломанные ребра! Другие, которые послабше, те в могилу от такой вашей правды пошли. Для вас такая правда нужна, а не для людей...

— Митрич, — вмешался пассажир, до сих пор вяло жевавший хлеб, — воздержись на язык! А то опять тебя заметут, да и окончательно. Вот тут и товарищ приходящий, — пассажир куском хлеба показал на Решкова, — он тебя уже давно с интересом наблюдает.

Все и невольно повернули головы к Решкову.

— Ну и пусть наблюдает, — ответил Митрич. — Мне что?

— Верно, — подтвердил Решков. — Бояться нечего. О жизни надо говорить напрямик. А твоя жизнь, видать, не простая.

— Я и не боюсь, — сказал Митрич. — А вот только не знаю, с чего ты такой храбрый? Ты, может, чекист, и тебе занятно будет на узловой станции сдать меня, куда следует?

Или ты особо ответственный товарищ? Да ты не качай головой. Мне всё равно, а только храбрости твоей я как-то удивляюсь. Остальные прочие, в хороших, как у тебя, штанах и пиджаках, как скажешь, что значит признавали меня врагом народа и к расстрелу приговаривали, так сразу отскакивают и по сторонам озираются. А ты не сиганул! Сидишь и даже кое-что спрашиваешь, вроде правдой какой-то и ты тревожишься. Хоть и не знаю, кто ты такой есть, я всё тебе выложу... А потом можешь сдать меня, куда следует. Я, дорогой товарищ, вполне грамотный. Книжек много прочитал. И если в которой правильно написано про человека, так написано, что от жалости к нему сердце холодеет, то я обязательно помню. Потому, я, дорогой товарищ, сам мученьев много перенес. И на чужие насмотрелся. Так что мне всё равно: по вашей правде мне жить невмоготу. Это дело решенное.

Крестьянин замолчал и стал вертеть цигарку. Кто-то зажег спичку.

— Эй, прикуривай!

В эти секунды, пока Митрич прикуривал, Решков почувствовал, что все находившиеся в этом вагоне, принялись рассматривать его отличный костюм и гладко выбритые щеки.

— Да, — произнес Решков. — Были ошибки. Но построить новое...

— Новое! — крикнул Митрич. — Где оно, твое новое? Ты не видишь! А я вижу! Потому что смотрю округ себя человецким глазом. А ты... ты глазами гражданина того партийного будущего, объявленного Ильичем и Виссарионовичем.

— Ты что, — вмешался молодой парень, — ты против советского государства?

— Вон ты куда гнешь! — Митрич бросил окурок на пол. — Государство? Какое? Чтоб все были острижены, чтоб никаких Марксовых патл не было, чтоб у всех были мысли одинаковые, такие, как в отаре овец. С отарой — куда как легко: хозяин велел, овцы и двигаются. В кошару? В кошару. В царство коммунизма? В царство коммунизма. В концлагерь? В концлагерь!

— А если люди не захотят? — насмешливо спросил кто-то с верхней полки.

— Захотят, — серьезно сказал Митрич. — Раз подались под одного хозяина и под одну программу — захотят!

— А думка своя у людей останется? Ну, мысли там разные? — не успокаивался верхний пассажир.

— Хозяин сделает так, что и мысли знать будет. Хозяин организует, чтоб и мысли мертвецов знать.

— Да мертвецы навеки глаза закрыли.

— Хозяин тому не верит!

Весь вагон взорвался смехом.

— Фу, дьяволы! — замахал руками появившийся кондуктор. — Надымили махрой! А ну, предъявляй билеты! Приближаемся к Омску.

— Как? Уже Омск? — спросил Решков.

— А тебе что нужно? Ялта?

Когда Решков показал свой билет, кондуктор грубо бросил:

— Тут, брат, такой курорт, что . . .

Вернувшись в свое купе, Решков около часа сидел у окна.

«Тут, брат, такой курорт», навязчиво шевелились кондукторские слова. Решкову хотелось забыть их, но торопливое вздрагивание вагона мешало, к тому же и идущий откуда-то снизу стук колес тоже, казалось, повторял: «Тут, брат, такой курорт . . .»

Потом колеса сбились с такта, заверещали и поезд остановился.

— Омск, — с каким-то недоумением сказал Решков, выходя из вагона. А когда попал на привокзальную площадь, увидел ее обычно-знакомой, спросил: «Зачем?» Вместо ответа мелькнула мысль, что и Омск, и Иртыш, что всё это — в последний раз.

Через некоторое время он уже был на пристани. Хотя небольшой рейсовый пароход отходил лишь через час, Решков почему-то заторопился. Он получил место в каюте, но в ней не остался. Он поднялся на палубу, прошел в носовую часть и сел. Место оказалось очень неудачное, на сквозняке, но Решков на это не обратил внимания.

Когда пароходик отчалил от пристани и двинулся вниз по течению, к северу, Иртыш сразу помрачнел. Может быть потому, что тучи заволокли небо, а может быть и потому, что здесь начинался край концентрационных лагерей.

Думал ли об этом Решков? Трудно сказать. Иногда он оглядывался по сторонам, но до того безучастно, что, казалось, ничего не замечал. Он как будто не обращал внимания на то, что трюмы битком набиты людьми, которых везут куда-то далеко, за Полярный круг. По сравнению с крепкими, мордастыми и грубыми конвоирами, они выглядели беспомощными и очень покорными, как будто бы примирившимися со своей судьбой.

На одной из маленьких пристаней Решков сошел с парохода и часа через полтора был в большом сибирском селе.

Примерно полдня он провел в громадном здании, расположенном в центре села. В здании было всё: и милиция, и партийный комитет, и отделение госбезопасности, всё — имеющее прямое отношение к управлению лагерями.

Встретившись с нужным начальством, что-то записав, кому-то сделав замечания, Решков направился к школе.

Чем ближе она становилась, тем нерешительнее шагал Решков.

«А может быть и не нужно? — наконец спросил он себя. — Может быть, лучше вернуться, потребовать катер, отправиться в Омск, дождаться поезда и . . .»

Но тут он вспомнил, что послал письмо сюда, в эту школу, о том . . . и он как бы перечитал вновь это письмо, написанное учительнице Ирине Мовицкой. В письме была просьба еще раз встретиться, теперь уже действительно в последний раз, для последнего разговора. Он просил об этом. Он указал день: 20 июня.

Сегодня и было 20 июня.

Решков вошел в школу. Убиравшая коридор сторожиха спросила:

— Вы к учителке? — и добавила: — Вон туда. Идите за мной.

— Спасибо, я знаю, — ответил Решков.

В конце коридора была знакомая дверь. Решков подошел к ней, постучал и, стоя на пороге, тихо сказал:

— Здравствуйте, Ирина . . .

— Зачем вы здесь? Ведь вы уже тогда сказали: «В последний раз». Но заходите . . . Садитесь.

Он опустился на тяжелый сосновый стул, не обратив внимания, что Ирина продолжает стоять опустив руки.

От этих рук он не мог оторвать взгляда. В этих руках, так ему казалось, было его спасение. Если бы они были протянуты к нему . . .

— Вы знаете, — медленно сказала Ирина, — как мне страшно встречаться с вами. И не потому, что я вас боюсь, а потому . . . потому, что я ненавижу вас. Даже не вас, а всё то, что вы собой олицетворяете. Зачем вы опять приходите?

Продолжая сидеть и всё так же рассматривая ее руки, Решков, задыхаясь, начал убеждать Ирину, что не о любви к ней он будет говорить.

— Ирина, поверьте мне. Сегодня — решится для меня всё. Сегодня станет моим последним свиданием с вами. Я

хочу, я обязан сегодня, перед тем, как распрощаться с вами навсегда, сказать вам всё. А потом...

По дрожанию губ Ирины он догадался, что она предложит ему тут же «сказать всё», чтобы сразу положить конец всему.

— Ирина. Только не здесь. Пожалуйста, исполните мою просьбу: пойдем к реке. Мне тяжело здесь. Прошу вас.

Она взяла вязаную кофточку.

— Хорошо. Идем...

Школа стояла на краю села. От школы, среди соснового молодняка, вилась тропинка.

Дойдя до места, где тропинка раздваивалась, Ирина остановилась.

— Видите, — сказала она, — одна — вправо, другая — влево.

Он посмотрел и вправо и влево, и сказал: — Да, символ.

— Значит? — спросила Ирина.

— Всему конец, — произнес Решков. — Вы для меня, Ирина, всё. И потому что вы *всё*, самого себя я отвергаю. Я знаю себе цену. Подумайте только: в каждый свой день я входил как в соседний двор, в котором всегда висит чье-то рваное, плохо выстиранное и скверно пахнущее белье. Я устал и спокойно читаю подписанный мне приговор. Не вами составлен этот приговор, Ирина, и не кем-то другим. Он составлен мною. Понимаете? Думаю, что понимаете. Во всяком случае вы догадываетесь, что вот такой, сегодняшний, я начался давно, с тех пор, как во мне стало собираться, накапливаться раздражение против любого, позволяющего себе быть хоть чуть-чуть, но всё же другим, не похожим на меня и на тех, с которыми я вот уже столько лет стою рядом.

Он помолчал и тихо добавил:

— Вот в чем дело, Ирина.

— Как всё это ужасно, Леонид Николаевич.

Он вздрогнул от радости, услышав свое имя. Душевная щедрость Ирины взволновала его и смутила. «А что, если она протянет мне руку? — спросил себя Решков, и тут же ответил: — Я не имею права принять ее руку. Это было бы обманом».

Так сказав самому себе, он с гордостью подумал о том, что наконец-таки обрел силу честно посмотреть на себя, на Леонида Николаевича Решкова. Словно боясь расстаться с собственной *честностью,* он принялся разрушать ту, недавнюю, надежду. И чтоб от надежды ничего не осталось, что-

бы раз и навсегда уже не было бы за что цепляться, он посмотрел прямо в глаза Ирины и сказал:

— Как всё ужасно. Это ваши слова, Ирина. Действительно, ужасно! Ничего поправить нельзя. Нельзя! — чуть ли не крикнул он. — Простите, я что-то сбиваюсь, путаю, не о том говорю. Но всё равно. У меня был некогда помощник. Из тамбовских крестьян. Суходолов. Сильный человек. Потому что он сильный, он ушел от меня, от таких, как я. Это он и меня, и себя, и всех таких назвал *молью*. Он мог бы стать святым, этот Суходолов. Он перестал быть *молью*, и превратился в тех, кого обычно называют врагом. Но до этого — он был моим другом. Я его погубил. К чему я всё это выкладываю? К тому, может быть, что однажды, может быть и не однажды, сидел у меня Суходолов, слушал мои рассуждения и согласно кивал головой. А потом сказал: «Всё правильно, товарищ Решков. Ты интеллигент. Так что просвещай и дальше мужицкого сына». Я тогда улыбнулся и ответил ему: «Тебя просвещать трудно. Ты — умный, и какой-то зоркий, хоть и прячешь всё это за *сыном* мужицким». Суходолов не ответил на мою улыбку улыбкой. «Чего там трудно! — заспорил он сурово. — Я перед тобою — дуб дремучий. Безо всякой хитрости я тебе скажу: всё у тебя гладко. До чрезвычайности гладко. Ты мне доказал и ты меня убедил, что человек состоит из воды и еще там какой-то разной ерунды, и что не следует искать в человеке душу, скажем, или совесть. Спасибо! Всё это может быть и так. Да только скажи мне, товарищ Решков, ответь: и ты из воды и прочей мелочи? Ладно! Тогда объясни мне, почему к тебе, я это точно знаю, идут к тебе тени разных человеков, которых ты в подвалы отправлял. Или, вот, того же самого господина полковника Мовицкого, которого... Вот это всё ты мне растолкуй, товарищ Решков».

Ирина отшатнулась и теперь Решков видел ее ставшее белым лицо. С трудом передохнув, она спросила:

— Для чего... для чего вы такое вспомнили?

Решков посмотрел на разбегавшиеся в разные стороны тропинки.

— Вот видите, — сказал он. — Одна — туда, другая — сюда. Вы — вправо, я — влево. И всё. Сегодняшний день — последний. Зачеркните меня. Но перед зачеркиванием, Ирина, попробуйте... я даже боюсь произнести это слово... Вот вы... как бы это сказать? Да, вы находите утешение в Евангелии, в учении Христа. У меня нет никакого утешения. А ведь Он, Христос, заповедал прощать. И не один раз. Им

было сказано прощать врагу своему... может быть я что-то путаю, не в этом дело! Прощать не один раз, не знаю, кажется до семижды семидесяти раз. Почему вы не хотите только однажды, только раз простить? Перед тем, как моя дорога пойдет вон туда, а ваша — туда.

Он говорил и видел, как страдает от его слов Ирина. Ему даже показалось, что она вот-вот упадет на развилке тропинки и никогда больше не поднимется.

«Нет, только не это, — подумал Решков. — Она должна жить».

Сразу и совершенно неожиданно пришло решение предложить ей уехать отсюда. Куда? Куда она пожелает. В любую страну. Стоит лишь захотеть, он — всё остальное — сделает.

Об этом он и сказал. Она спокойно ответила:

— Нет.

— Почему? Поймите: вы уедете со мною. И там, где вы захотите, я вас оставлю, чтобы больше не напоминать о себе. Какой вы клятве можете поверить? Не знаю. Может быть такой... такой страшной клятве, клятве кровью вашего отца, Ирина.

— Нет, — повторила она. — Мне тяжело смотреть на вас.

— Странно, — прошептал Решков. — Точно так же говорил мне несчастный Суходолов. Он тоже однажды сказал: «Мне тяжело смотреть и на вас, Леонид Николаевич, и на самого себя. Потому я люблю ночь». Когда же я ответил ему: «Не понимаю», он удивился. «Чего, — говорит, — не понимаете? Я вот знал, — говорил Суходолов, — одного мужика, крепкого крестьянина, что ли... а правильнее — то был мой отец. Он вечно что-то корчевал и новую землю поднимал. А когда у него спрашивали, зачем, дескать, Кузьмич? Разве у тебя мало земли? Мой отец отвечал: 'Что на той земле родится, мне доподлино известно, известно, что растет и как получается. А я хочу посмотреть, что из этой *пустоши* выйдет'». Вот, Ирина, я тоже хотел заглянуть в *свою* пустошь. И ничего у меня не получилось. А знаете почему? Потому что внутри у меня — ничего. Совсем ничего. И сам я весь в окончательной пустоте. Ни единой живой травинки вокруг, и я понимаю, что ее и быть не может. А почему? Я у самого себя допытывался, почему мне некуда шагать? И сам себе отвечал: да потому, что начинают шагать от чего-то. А мне не от чего было шагать, так-таки окончательно не от чего.

— Спасибо вам, Леонид Николаевич!

— За что? — в волнении спросил он.

— За горькое признание, что... что вокруг вас нет ни одной живой травинки. Вы сказали о великой заповеди прощать... вот я... я протягиваю вам свою руку. Раньше, даже час назад, я не могла себе представить, что поступлю так. И вот поступила. Почему — не знаю, только чувствую: так правильно. Я не спрашиваю, как вы дальше будете жить. Зачем спрашивать? У каждого свое. И у вас. И у меня.

Он шел к селу. Где-то позади, там, на развилке тропинки, осталась Ирина. Подумав об этом, он вспомнил теплоту ее руки и посмотрел на свои пальцы. Потом, как будто желая что-то проверить, прижал их к губам. Губы и пальцы были холодные.

«Всё, — сказал он себе, — надо идти».

Шагал он медленно, как будто с усилием отрывался от прошлого. В том прошлом была рука Ирины и сказанное ею «Навсегда».

Он уносил его с собою, это слово. Приговор ли был в нем, или проклятие — об этом он не думал, совершенно просто принявшись разглядывать самого себя как-то со стороны. Он внимательно изучил себя самого и сказал: «Это и есть Леонид Николаевич Решков».

Плохо соображая, куда он идет, он всё-таки скоро очутился на боковой сельской улочке. Когда же впереди обозначился перекресток, он почему-то подумал, что вон там, за поворотом, он не выдержит и обольется слезами. Но был один поворот, и второй, и третий, а он всё шел и шел, пригнувшись под тяжестью сказанного Ириной «Навсегда».

Потом, и как-то совершенно случайно, он попал в центр села, к зданию, в котором разместились органы власти.

Его встретил начальник милиции и принялся о чем-то расспрашивать.

— Извините, — ответил Решков. — Вечером. Я хочу отдохнуть.

Он поднялся на второй этаж, вошел в отведенную ему комнату и лег на кровать. Но стоило лишь ему закрыть глаза, начался озноб. Поеживаясь, он встал, накинул на плечи плащ и зашагал из угла в угол.

Бессмысленное движение продолжалось долго. Наконец он остановился посреди комнаты, догадавшись, что и здесь, в одиночестве, он думает о себе, как о каком-то постороннем, чужом человеке, идущем к своей гибели без желания

остановиться, чтобы что-то перерешить или хотя бы отложить на потом.

Его уже ничто не привязывало ни к себе, ни к людям. Он чувствовал себя перекати-полем, оторвавшимся от слабого корешка, кормившего и державшего его на месте. Теперь он будет мчаться. Куда?

Он растерянно оглянулся, словно выбирая направление, но тут же сообразил, что всё — ошибка, что ничего и никогда он не будет ни выбирать, ни решать.

Но он еще не был готов к тому, чтобы окончательно сдаться. Иллюзия самолично избираемого пути еще жила в нем, и за нее он уцепился.

«Вот возьму и всё переиначу», — мелькнула мысль, и от этой мысли Решков радостно вздохнул. Ему даже показалось, что он способен преодолеть не только страх перед жизнью, но и защитить робкую надежду что-то изменить.

— Да, да, — шептал он, уже во власти воспоминаний о каких-то страницах, на которых были отрывки из древней, торжественной и великой проповеди. — Да, да, — говорил он себе, — это то же самое, что давным-давно принесено человечеству религией, наивной верой в какие-то заповеди какого-то Христа.

Мысль даже не о Христе, а о Кресте, на котором Тот был распят, требовала ясного и честного ответа. Но ответить Решков не успел: в дверь кто-то стучал осторожным, настойчивым стуком.

— Ну, кто там?!

В комнату вошел начальник милиции.

— Вот окаянная служба, — сказал он. — Часу спокойного нет. То одно, то другое. Понимаете, только что поступило донесение. Да вы, ведь, кажется, знаете учительницу Мовицкую? Так вот, эта Ирина Мовицкая утонула в Иртыше.

— Что?! — воскликнул Решков, и вдруг — уже совсем тихо — прошептал: — Вот это и есть навсегда...

Начальник милиции «навсегда» воспринял шуткой и рассмеялся.

— Навсегда! В этом не сомневайтесь! В Иртыше — дело верное. Обжалованию не подлежащее. Только чёрт ее угораздил сегодня тонуть. У нас, понимаете, вечеринка наклёвывалась. А мне придется возиться. Она-то, эта *учителка,* у нас на *особом* учете состояла. Может, хотите со мною?

Решков ответил не сразу. Он как будто почувствовал себя на перепутье. Тропинка раздвоилась. Вправо и влево. «Вы — вправо, я — влево», — вспомнились ему кем-то сказан-

ные слова. «Да, ведь, это я говорил Ирине», — чуть не вскрикнул Решков, и судорожно вздохнув, сказал:

— Нет, я не пойду. К тому же, сегодня ночью, я уеду.

Он еще о чем-то говорил, отрывисто и сбивчиво, и замолчал лишь после того, как обнаружил, что комната пуста.

Легкая растерянность сменилась попыткой ответить на глупейший вопрос: стоит ли брать плащ? Он дважды подходил к окну, у которого висел плащ. Один раз он даже снял его с крючка и . . . опять повесил. Так, ничего не решив, он вдруг опустился на стул, только теперь догадавшись, что идти ему некуда.

Автору уже приходилось говорить, что свое *действо* он воссоздает по отрывочным наброскам и заметкам, сохранившимся от давних времен. Измятые листки бумаги кидают Автора от события к событию и своим калейдоскопическим мельканием эти события заставляют Автора сворачивать с отлично наезженной литературной автострады на ухабистые и мрачные просёлки жизни, на которых произошло — —

ЗНАКОМСТВО С КАРПЕНКО, С КОСТЕЙ ТУРОВЦОМ И ЕЩЕ КОЕ С КЕМ

Не только люди, вещи не знали покоя. Этому письменному столу стоять бы да стоять, да принимать на себя тяжесть локтей внуков и правнуков.

Но не тут то было. Всё сдвинулось. Отцов выбросили. Детей куда-то угнали. Что о внуках сказать?

Этот письменный стол, устоявшийся, крепкий, из грушевого дерева сделанный стол, сорвали с места и за красоту перенесли в райком партии, чтобы первому секретарю Карпенко было на чем составлять резолюции.

Он их сочинял очень умело, и за этим столом собирался сидеть вплоть до построения коммунизма, но помешала ранняя, веселым хмелем отравленная весна. Весна была такая буйная, что Карпенко сбился с пути и как-то вечером, догнав лишенку, кулацкую дочку Фросю, потащил в кусты. Фрося страшно завизжала, и вместо того, чтобы спокойно лежать, вырвала у Карпенко левый глаз.

Дальше всё сложилось как-то нескладно. Из-за кулацкой дочки. Из-за лишенки Фроси.

Фросю, понятно, арестовали и за террористический акт расстреляли. Но не повезло и секретарю. Его сняли с занимаемого поста.

Карпенко, теперь уже с одним глазом, отправили в Омск. Там, став секретарем заводской партийной организации, он прежде всего показал на свое изуродованное лицо и объяснил, как было совершено покушение, подготовленное шпионско-террористическим центром. Когда же была прочитана давняя заметка из газеты-многотиражки «Гигант» о «кулацкой вылазке», члены нового партийного бюро единодушно постановили провести закрытое собрание актива с повесткой дня: «Усиление классовой борьбы по мере приближения к социализму и задачи партийной работы на данном этапе».

А стол, тот самый письменный стол, за которым так и не успел насидеться Карпенко, попал к его помощнику.

Помощник знал, что и ему восседать за этим столом придется недолго. Пришлют другого, испытанного коммуниста. А раз так, то помощник сразу же велел перетащить красивый стол в свою квартиру.

Да только и у помощника не прижился грушевый письменный стол. То ли он уже отслужил свой век, то ли еще что, но в очередную попойку у помощника секретаря случилась драка и пострадал письменный стол: одну из тумбочек сломали.

Пришедший на другой день для ремонта столяр из заключенных объяснил, что дело швах: письменный стол тонкой работы, и восстановить тумбочку просто невозможно.

Обалдевший с похмелья помощник секретаря обозвал заключенного вредителем и выгнал.

Потом помощник попробовал было без чужой помощи приспособить стол, ставил его боком к подоконнику и подкладывал кирпичи. Толку не получилось. И осенью, когда уже загудели ветры, но в бараках еще не полагалось топить, помощник взял топор и навсегда расправился с грушевым столом. Дров оказалось порядочно. Письменный стол хорошо горел в буржуйке и — много позже — помощник любил вспоминать качество работы прежних мастеров.

А за год до этого происшествия семнадцатилетнего Костю Туровца привел к себе в дом директор полесской средней школы и сказал:

— Вот что, Костя. Ты уже в последнем классе. Тебе надо вступить в комсомол. Без этого тебя не пустят ни в университет, ни в институт. Об этом я тебе говорю прямо, потому что я тебя знаю и тебе верю.

— Да, Петр Петрович, вы меня знаете. Я благодарю вас за всё, что вы мне дали. Я вас, Петр Петрович, люблю. Вот так, совсем так, как своего отца. Но почему . . .

Директор положил руку на плечо Кости.

— Другого выхода, Костя, нет. Такие, как ты, должны получить высшее образование. Чтобы потом, когда-то и как-то поправить жизнь. Если не пойдешь в комсомол, двери перед тобой закрыты! Для будущего ты потерян. Ну, да, ты сможешь стать хорошим мастером или бухгалтером. Такие тоже нужны. Но они — мастера и бухгалтеры — будут и без тебя. Перед тобой другой путь. Тяжелый, как Крест. Взвали его на себя, претерпи! Не ты один! Таких много. Если бы можно было, Костя, обойтись без комсомола, о нем я бы тебе ни слова не сказал. А вот сейчас говорю. Ради твоего отца, ради родной земли, ради будущего. Будущее должно быть иным. А каким? Тебе сейчас семнадцать. Если бы было другое время, ты, как Ломоносов, в лаптях пришел бы в великую науку, и наука гордилась бы тем, что у тебя отец беднейший из бедняков и совсем неграмотный. Это я говорю, потому что знаю о тебе, о твоем духовном мире, о твоих способностях, о твоей страсти к познанию может быть даже больше, чем ты сам о себе знаешь. Ломоносовские лапти и твоя душа — всё это не ко времени. Теперь *билет* нужен. Билет — у них — вроде пропуска. Ты можешь, Костя, упрекнуть меня, вот, дескать, мой любимый Петр Петрович наставляет меня кривить душой. Да, наставляю, казнюсь за это, а по-другому не могу. Не вижу иного пути. Мне... мне, что ж, мне даже плакать хочется и над собою и над тобою, Костя... плакать, что всё, что я дал тебе, что ты вычитал в книгах из моей библиотеки, что всё это пропадет втуне. А теперь решай сам!

Так и об этом не один раз беседовал с Костей Петр Петрович.

Костя стал комсомольцем, окончил среднюю школу и уехал в город. Всё казалось ему простым и легким. Впереди — университет. А пока что — работа и даже интересные комсомольские поручения, вроде преподавания литературы в вечерней рабочей школе.

Раз в неделю появлялся Костя Туровец в этой школе. Прошло несколько месяцев — и в отведенной для занятий комнате уже не хватало места для желающих послушать беседы. Среди молодежи сидели и старики, которые никогда и ничего не слышали ни о Пушкине, ни о Достоевском, ни о Гоголе. Начали, наконец, просить Костю устраивать «лекции» почаще, о чем с удовольствием сообщил руководитель вечерней школы в городской отдел народного образования,

а оттуда — о Костиных успехах и Костиной активности — доложили в горком партии.

На одну из бесед Кости прибыли представитель горкома и заведующий отделом народного образования.

С этого и началось всё дальнейшее. Представителям не понравилось, что Костя Туровец говорит о русской литературе и забывает литературу советскую. А что самое возмутительное — он показал себя совершенно безыдейным и даже политически неграмотным. Он увлекал людей просто литературой, забывая раскрывать ее *буржуазную* сущность и не внушал слушателям ненависти к прошлому.

Костю Туровца отстранили от занятий в вечерней школе и объявили ему, что ранее выданная характеристика, рекомендующая его для принятия в университет, аннулирована.

Костю, правда, из комсомола не исключили, но для исправления направили на завод, предупредив, что только после «производственного стажа», после того, как он «переварится в рабочем котле», он вновь сможет хлопотать о поступлении в университет.

Костя Туровец, с путевкой комсомола, попал за Урал, в Омск, на новостройку, называвшуюся «молодежной». Действительно, молодежи здесь было достаточно, но еще больше, прямо без числа, было тут раскулаченных крестьян, живших в особых, наспех сбитых, бараках.

Костя Туровец изо дня в день наблюдал за активистами-бригадирами, с шумом и криком гнавшими на строительство очередные смены рабсилы.

«Рабсила» для него совсем еще недавно была простым, обычным и понятным термином: рабочая сила. Но здесь, на этой омской строительной площадке, сталкиваясь с десятками тысяч раскулаченных, Косте Туровцу вдруг раскрылся некий глубочайший, символический смысл слова «рабсила».

«Рабская сила» — вот как расшифровал Костя Туровец термин «рабсила». А потом, познакомившись с комсомольцем, начальником отдела кадров, он узнал, что кадры раскулаченных тают очень быстро.

— Разбегаются? — спросил Костя.

— Нет, — зевнул начальник отдела кадров. — Вымирают. Каждую неделю привозят восемьсот-девятьсот новых. Так что от первоначального кадра в одиннадцать тысяч человек уже давным-давно ничего нет.

— Да ведь это же люди, — прошептал Костя.

Начальник искоса посмотрел на Костю и презрительно махнул рукой.

— Кулачье это, а не люди. Их не перевоспитаешь, а вот тебе... тебе, думаю, следует маленько перевоспитаться.

Начальник отдела кадров, видимо, о настроениях Кости сообщил куда следует, потому что дня через два комсорг приказал ему явиться к секретарю партийной организации, к товарищу Карпенко.

— Для чего? — спросил Костя.

— Там узнаешь, — многозначительно бросил комсорг, и добавил: — Учти! Товарищ Карпенко — новый у нас секретарь. Принципиально строгий. Так что не опаздывай. Чтоб в шесть там был.

В установленное время Костя Туровец предъявил комсомольский билет у входа в партком. Получив пропуск, он уже собирался было подниматься на второй этаж, но остановился, заметив бегущего к нему комсорга.

— Очень хорошо, что без опоздания, — похвалил комсорг. — А то я думал...

— А ты тут при чем?! — удивился Костя.

— Я буду присутствовать при беседе секретаря парткома. Так распорядился сам товарищ Карпенко, — с гордостью объяснил комсорг. — Понимаешь: на тебя заведено *персональное* дело. А ты состоишь в моей организации.

Комсорг, как имеющий право командовать, подтолкнул Костю.

— Давай, быстрей!

Секретарь парткома Карпенко, выйдя в маленькую приемную переполненную людьми, сразу заметил комсорга и сделал ему знак. В приемной кто-то запротестовал:

— Надо по очереди, товарищ Карпенко!

— Товарищи, — повелительно объявил Карпенко. — У меня разговор по *персональному* делу одного... так что вам придется подождать. А ты проходи с ним, — велел секретарь и ткнул пальцем в сторону Кости Туровца.

— Идем! — приказал Косте Туровцу комсорг.

В кабинете, за секретарским столом, находился уполномоченный ГПУ.

— Ну, что ж, — окинув прищуренным взглядом вошедших, сказал он: — Садитесь. Подождем товарища Карпенко.

— Садись, товарищ Туровец, — многозначительно произнес комсорг, свой стул отставив подальше от Кости.

На это не обратил внимания Костя Туровец. Это была мелочь по сравнению с тем, чем он сейчас жил. Всё, его окру-

жающее, отодвигалось куда-то в сторону, уступало место мучительным поискам ответа на вопрос, почему, какая сила заставляет его работать самоотверженно и очень честно? Для него не было секретом, что это видят и другие. Знал он и о том, что прораб Игнатьев и бригадир Смолкин в своих, еженедельно сдаваемых сводках о выполнении заданий, всегда указывали его фамилию, как одного из лучших «ударников».

Это была чистая правда. И вместе с тем, сам Костя Туровец так и не мог бы сказать, а почему он «лучший»? Да, он первым откликается на призывы «ликвидировать прорывы», впереди всех бросается на самые ответственные участки строительства, вливается в гущу кулаков, вместе с ними роет землю, таскает кирпичи, сплошь и рядом заменяет того или иного *врага,* выбившегося из сил и уже не могущего выдержать тяжесть наваленного на него груза. Но почему он так поступает? Да потому, что ему нужна «характеристика», подписанная Карпенко. Без этой характеристики — нет пути в университет!

Объяснение, как будто бы, очень верное. И всё-таки Костя Туровец с ним не согласился, заглянул в глубину своей души и признал, что его стремление идти на самые тяжелые участки работы вызывалось желанием помочь всем тем тысячам раскулаченных, под конвоем возводящих сооружение, которому — в будущем — намечалось присвоить имя Сталина.

Раскулаченных — здесь — десятки тысяч. Костя Туровец — один. Ну, хорошо, тому или иному «врагу» он как-то поможет. А остальным?

Костя Туровец видел, что выбивающиеся из сил крестьяне-раскулаченные умирают на нарах своих бараков и по утрам вывозятся к братским могилам. Видел он и прибывающие составы товарных вагонов со следующими партиями кулаков, которые тоже будут вымирать и отправляться в те же самые братские могилы.

Значит, он, Костя Туровец, работает не только ради «характеристики», открывающей двери университета.

Подумав об этом, Костя Туровец вспомнил, что было время, когда комсомольская и партийная организации одобряли его «энтузиазм». Почему одобряли? Да потому, видимо, что мало кто из активистов по доброй воле общался с этими классово-чуждыми, обовшивевшими и обреченными на гибель врагами. Для этого есть специально подготовленный конвой.

Но когда стало известно, что Костя Туровец не только помогает конвою, но и старается как-то облегчить судьбу кулаков, тут взгляды активистов изменились.

С чего началось? Ах, да, с Семена Быкова.

С ним, с Семеном Быковым, Костя Туровец столкнулся совершенно случайно, потом встретился еще, разговорился и, наконец, поразился уму этого безграмотного крестьянина, мужественно переносящего свалившиеся на него муки. Он, этот крестьянин, ни на что не жаловался, он спокойно утверждал, что то, что происходит сейчас, было давным-давно предсказано и удивляться тут нечему.

— Вы что-то такое проповедуете, — говорил Семен Быков. — Да только проповеди ваши заливаются кровью. Такое уже было. Вспомни, милый, пошевели памятью, ты — грамотный. Книжки читал. Я — не читал. Мне читали. Зачем вы так делаете, вот это теперешнее? Зачем под конвоем заставляете строить будущую коммунистическую жизнь? Ты же, милый, видишь, как она строится! Не то вы делаете, пойми! Нужна настоящая, простая жизнь. Такая, в которой человек замирает от радости при встрече с дитём. Дитятко своими лапками тянется к одуванчику. В одуванчике — красота. Красоте той радуется и дятя, и ты, и я — старик.

Вспомнив об этих словах Семена Быкова, Костя Туровец представил себе захватанную чьими-то грязными руками канцелярскую папку, в которой находится его *персональное* дело.

В «персональное дело» включены и слова старика Семена Быкова. Эти слова известны и тем, с кем Костя Туровец спал в одной комнате. Он спит вместе с ними, но они уже давно отворачиваются от него. Он — чужой и чуждый им, запачканный связью с врагом народа. Но откуда они узнали об этом?

«Да как же, — вдруг сказал себе Костя Туровец, — однажды, ведь, при таком моем разговоре с Быковым был мой друг . . .»

Мысль о предательстве этого друга, его доносе, Костя Туровец не довел до конца: в кабинет вошел секретарь Карпенко.

— С тобой, Туровец, будет серьезный разговор, — начал секретарь, громыхнув стулом. — В присутствии уполномоченного, который тобой весьма интересуется.

— О чем разговор? — спросил Костя Туровец.

— Да о том, что ты затеял опасную дружбу с кулаками. Ну, вот, с Семеном Быковым.

— Видите ли, товарищ Карпенко . . .

— Отвечай прямо: да или нет? — крикнул секретарь.

— Дружба . . . это не то слово. Правильнее сказать, это . . .

— Брось выкручиваться, — вмешался уполномоченный. — Я тебе прочитаю донесение, записку, в которой говорится о твоих беседах с Быковым.

Уполномоченный вынул из портфеля небольшой лист бумаги и принялся читать «записку», иногда насмешливо взглядывая на Костю.

— Ну, как? — спросил уполномоченный. — Соответствует? А ты знаешь, что за такое *соответствие* причитается?

Косте Туровцу показалось. что он очутился в густом тумане. Туман мешал дышать.

— Не понимаю, — с трудом произнес он. — Как-то трудно понять. Одно понимаю, что это подлая информация.

— Вон оно что! — как будто с радостью воскликнул уполномоченный. — По-твоему — подлая информация? А по-нашему — честный комсомолец выполнил свой долг. Ты это называешь подлой информацией? Теперь мы знаем, кто ты такой есть! И выводы будут сделаны. А чтоб другим неповадно было — о тебе пойдет разговор на закрытом комсомольском собрании. Активисты вынесут решение, а потом мы решим, как поступить с классово-чуждым элементом, пробравшимся в комсомол.

— Совершенно правильно, — подтвердил Карпенко. — Завтра же и соберем комсомольский актив на закрытое обсуждение «персонального дела».

— Слышишь? — спросил уполномоченный Костю Туровца. — А теперь можешь идти.

Уже в полночь вернулся в общежитие Костя Туровец и с удивлением увидел, что комсомольцы не спали. Никто ни о чем его не спросил, но было ясно, что они сидели в ожидании и, судя по густому табачному дыму, о чем-то горячо толковали. Когда же Костя вошел, все замолчали.

— Ребята! — крикнул кто-то. — Откройте дверь! От дыма не передохнуть.

Желающих открыть дверь не оказалось и все принялись укладываться, кто на койках, а кто и на нарах.

«Они предполагали, — подумал Костя Туровец, — что я сюда больше не вернусь».

От этой мысли стало холодно. Не вообще холодно, а где-то около сердца стало зябко.

Прислушиваясь к тому, что творится у него внутри, Костя забыл и где он и что его мучит. Нелепо схватившись ле-

вой рукой за доску нар, он опустил голову и глубоко задумался. Потом прислонился лицом к доске и может быть потому, что от нее струился еле уловимый и ласковый запах сосны, он вспомнил о родном отце, об учителе Петре Петровиче, о полесской деревушке среди старого соснового леса. В тот самый момент, когда Косте Туровцу показалось, что над лесом и деревушкой сгустилось темное ночное небо, с угловых нар раздался крик:

— Чего задумался? Туши свет!

Всё и сразу исчезло. Доска, которая только что дышала ароматом древнего леса, оказалась покрытой грязью. Никакого неба не было.

— Туши свет! — закричали с разных сторон, и Костя Туровец, тяжело шагая, подошел к выключателю.

Наступившая темная тишина наполнилась притаившейся ненавистью.

«Почему?» — спрашивал себя Костя Туровец, взбираясь на нары... «Почему?» — звучало справа и слева, сверху и снизу... «Почему?» — хватало за глотку, и чтобы не задохнуться под грузом этого вопроса, он ворочался с боку на бок, прятал голову под подушку и прижимал пальцы к глазам.

Ничто не помогало. Сна не было. И чем больше внушал себе Костя Туровец, что надо заснуть, тем ярче восстанавливались озлобленные лица уполномоченного и секретаря Карпенко и лежавшая перед ними папка, на которой синим карандашом было написано: «Персональное дело».

Только теперь, лежа на нарах, он понял, что «персональное дело» — это начало какой-то другой, особой жизни, в которой не будет того, о чем так ярко и убедительно говорил когда-то директор средней школы Петр Петрович.

Попытка утешить себя, что он еще молод, что впереди у него жизнь — оборвалась жестоким вопросом: «Какая жизнь?»

Да, ему всего лишь девятнадцать лет. Еще так недавно отец называл его даже не по имени, а просто: «хлопчик» или «сынок». Это уже в прошлом. В прошлом и девятнадцать лет, прожитых им в мире, на который он смотрел с удивлением и которого не понимал.

Сегодня ему те же девятнадцать лет. Что изменилось? Многое. Теперь, после «персонального дела», Костя Туровец ощутил какое-то психическое перерождение. Раньше один единственный вопрос, что мучил его, сводился к попытке разгадать смысл происходящего. Сейчас этот прежний и

единственый вопрос распался на какие-то мелкие части, некие «подвопросы», вдруг превратившиеся в настоятельную необходимость создать цельную и очень стройную систему для понимания не только себя, но и других, а, затем, и всего того, что составляет жизнь, подчиненную кем-то выдуманным планам, заполненную кем-то нарисованными плакатами и лозунгами, бессмысленными статьями, тоже кем-то написанными и требующими «жертвенности и преданности» и зовущими к беспощадной расправе с врагами.

Костя Туровец ворочался на своих нарах и заводской гудок встретил с открытыми глазами. Второй гудок заставил его подумать о том, что ночь он провел без сна. Как бы подтверждая это, к вискам начала приливать постепенно усиливающаяся и, наконец, ставшая нестерпимой боль.

До смены оставалось около получаса, и это время, обычно, заполнялось суетней, шутками и легким переругиванием. На этот раз общежитие молчало.

Костя Туровец посмотрел по сторонам и перехватив косяще-злые взгляды комсомольцев, вышел из комнаты.

Даже не зайдя в столовую, он направился на строительный участок и до пяти часов вечера работал с остервенением, со страстью, с искренним и непонятным желанием сделать очень и очень много.

Потом, уже возвращаясь домой после смены, он попробовал было разобраться, ради чего он так старался. Что не для себя — ему стало ясно. Тогда для чего?

Костя посмотрел на свои молодые и крепкие руки и тут же представил себе десятки тысяч тощих кулацких рук, с таким трудом ковырявших землю лопатами.

На дверях общежития он увидел объявление:

«Сегодня, в клубе строителей,
в 8 часов вечера,
закрытое комсомольское соб-
рание. На повестке дня:
«Персональное дело
К. Туровца».

Внизу объявления, крупными буквами, было выведено: «ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА».

«Для меня не обязательна, — подумал он, войдя в комнату. — Так что, может быть, и не пойти?»

В комнате были те семь комсомольцев, которых он совсем недавно считал если не друзьями, то товарищами. С ни-

ми он уже больше года работал, иногда по двенадцати часов в сутки, отбывал «почетную сталинскую вахту», чтобы после нее, в изнеможении, повалиться без сил на грязные нары.

Он всегда был с ними. Он такой же, как они, успокаивал себя Костя, и тут же почувствовал себя стоящим перед стеной. Стена окончательно и навсегда отделила его от них.

Он молча, даже не сняв грязных сапог, взобрался на нары и лег. И опять стал думать о том, что на это собрание не пойдет. Зачем идти? Но как только принял это решение — сам себе сказал, что пойдет обязательно! Он должен быть там, на собрании, доказать всем, что они станут разбирать не его «персональное дело», а участвовать в гнусном балагане, играя роль жалких статистов.

«Персонального дела» нет, убеждал себя Костя Туровец, и вдруг с необычайной яркостью увидел всю свою родную землю с Москвой, с городом Петра, древним Суздалем и с полесской деревушкой, в одной из изб которой девятнадцать лет назад родился он — Костя Туровец.

Ему показалось, что девятнадцать лет, — это не просто сумма двухсот с лишним месяцев, а целая эпоха, над которой бушует ураган дикой системы, перемалывающей людские судьбы.

До «закрытого собрания» оставалось еще два часа.

Костя Туровец восстановил картину точно таких же собраний, на которых ему самому приходилось принимать участие в рассмотрении «персональных дел», чаще всего связанных с проникновением в комсомол «классово-чуждого элемента».

Вспомнив об этом, он должен был признать, что его собственному «персональному делу» следовало возникнуть давно. Почему? Да потому, что хотя у него честная и безукоризненная биография, он, Костя Туровец, чужой и партии и комсомолу.

Его увлекали книги, знания, всё то, что относится к культуре. Путь к большой и настоящей культуре лежал через университет. Но переступить порог университета он не мог, и тогда — по совету своего школьного директора Петра Петровича — он протянул руку к комсомольскому билету. Против своей воли.

«Иди, Костя, — уговаривал Петр Петрович. — Иди. Перед тобой — будущее. Я знаю твои способности. Я знаю, почему ты не хочешь стать комсомольцем. Но что поделать, Костенька! Примирись, претерпи! Неси свой крест. Для

пользы людям не сегодня, так завтра. Или послезавтра. Потому что так продолжаться вечно не может...»

Каким всё это кажется далеким! Костя Туровец закрыл глаза, чтобы лучше представить себе то, что ушло в вечность, и с удивлением увидел свою ошибку: далекое прошлое стояло рядом, так близко, что надо лишь протянуть руку и можно будет прикоснуться к старому изношенному пиджаку Петра Петровича.

Костя Туровец не обвинял Петра Петровича. «Неси свой крест», — говорил Петр Петрович. Костя понес свой крест. «Будь всегда с совестью», — говорил отец. От совести он, Костя Туровец, отступал и тогда, когда голосовал «за», и тогда, когда видел умирающих от голода и непосильной работы привезенных под конвоем раскулаченных крестьян, и тогда, когда слушал доклады о светлых горизонтах нового мира.

Совесть! О ней он думает сегодня, сейчас. Почему? Неужели только потому, что предстоит разбор его «персонального дела», решение по которому будут выносить такие же, как и он сам, Костя Туровец?

— Эй, ты! — крикнул кто-то снизу и тронул сапог Кости Туровца. — Не забудь: сегодня в восемь твое персональное дело. Слышишь? Мы пошли на собрание.

Когда в общежитии уже никого не было, Костя Туровец спустился с нар и присел к столу. На столе валялась грязная тряпка. Ее он видел и вчера и позавчера, но сегодня она выглядела так омерзительно, что Костя Туровец не выдержал и швырнул ее в угол.

Теперь как будто бы ничто не мешало. Он оглянулся вокруг. Нары... Вбитые в стену гвозди, на которых висели замызганные куртки. Вон там. у дверей, чьи-то сапоги и ведро со вмятыми боками... Над ведром и сапогами — портрет Сталина и красный флажок... Ах, да, вспомнил Костя Туровец, это переходящий красный «вымпел» за победу в бригадном соревновании.

И вдруг память опять метнулась назад, к учителю Петру Петровичу, к его деревянным сундукам, битком набитым книгами. Эти книги читал Костя Туровец, и с каждой прочитанной, так ему казалось, он поднимался всё выше и выше, а мир — раздвигался всё шире и шире, приглашая идти дальше, маня какой-то загадочной целью.

«Ну, да, — сказал себе Костя Туровец, — это было тогда, когда... да, тогда, когда Петр Петрович говорил, что надо претерпеть и нести Крест».

И вот прошло два года. Он уже побывал на двух заводах, теперь — третий, в Омске, в Сибири, куда идут и идут бесконечные товарные составы, везущие людей на верную смерть то ли в тайге, то ли в тундре.

На этом третьем заводе, в Омске, на котором теперь работает Костя Туровец, умирают крестьяне, совсем похожие на его отца.

Зачем всё это нужно? И кому?

На заданный самому себе вопрос Костя Туровец не успел ответить. С грохотом открылась дверь и вбежавший комсомолец закричал:

— Ты чего сидишь? Там тебя ждут!

— Что? — спросил Костя Туровец и тут же вспомнил, что предстоит разбор его «персонального дела».

— Идешь?

— Иду.

— Тогда давай! Пошли вместе!

— Без тебя дорогу знаю.

— Мне Карпенко приказал тебя привести, — угрожающе сказал комсомолец. — Так что смотри! Там и уполномоченный будет.

Когда за посыльным закрылась дверь, Костя Туровец опять и очень внимательно, словно прощаясь навсегда, оглядел и нары, и деревянную скамейку, и мятое ведро.

— Так-то, — сказал он и направился в клуб строителей.

Стоило лишь войти Косте Туровцу, все и сразу повернули головы, изучая его, как незнакомого и чужого этому закрытому комсомольскому собранию.

— Давай поближе, — сказал Карпенко, поднявшись изза стола. — Нечего за спины прятаться! С тобой, ведь, разговор пойдет. Вот тебе Мишка стул с удовольствием уступит.

И действительно, Мишка, сидевший в первом ряду, поднялся со стула.

— Теперь, — тут Карпенко переглянулся с уполномоченным, — теперь, когда весь наш актив в полном сборе, мы можем приступить к разбору персонального дела Туровца. Это единственный вопрос на повестке дня. А может у кого есть дополнения или изменения? Нет? Тогда проголосуем. Кто за?

Посмотрев на поднятые руки, Карпенко объявил:

— Единогласно. За исключением Туровца. Он, понятно, не голосовал. У него, думаю, есть на этот счет свои особые,

политические соображения. Он даже на собрание явился без охоты, за ним надо было посылать особого представителя, с приглашением. Дескать, соизвольте многоуважаемый *гражданин* Туровец пожаловать. Потому народ ждет. Активисты ждут. А когда наш актив голосует, *гражданин* Туровец делает вид, что это его не касается. Что ж, будем считать так: повестку дня по поводу обсуждения «персонального дела» мы приняли единогласно, при одном воздержавшемся.

Выступление Карпенко всем понравилось и он опустился на стул под гром аплодисментов. Уполномоченный одобрительно кивал головой.

— Довольно, товарищи, — сказал Карпенко, опять поднявшись со стула. — Приступим к делу. К персональному делу. А в виду его важности — об этом деле позвольте говорить мне.

Вновь раздались аплодисменты. На этот раз хлопал даже уполномоченный.

Начав с того, что комсомол строящегося завода, которому будет присвоено имя вождя советского народа и трудящихся всего мира товарища Сталина, работал самоотверженно, не щадя сил, Карпенко перешел к международному положению. Это международное положение и происки империалистов, сказал Карпенко, обязывают усилить, удвоить и утроить бдительность и удесятерить борьбу с классово-чуждыми элементами внутри страны, с недобитыми врагами, вроде кулаков и подкулачников и с теми, кто их поддерживает.

— Мы должны осознать указание товарища Сталина, — говорил Карпенко, — что по мере приближения к социализму всё возрастает и возрастает сопротивление классово-чуждых элементов и обостряется классовая борьба. Коварный враг проникает даже в наши ряды, чтобы вести подрывную работу, устанавливать контакты с кулацким отребьем, чтобы . . .

Карпенко в волнении взял стакан с водой, отхлебнул из него и продолжал:

— Чтобы пользуясь нашим ротозейством вести борьбу с партией, с ее великими, всепобеждающими идеями, вселять в людей недоверие, нигилизм, ненависть к завоеваниям Октября. Среди таких, пробравшихся в ряды комсомола, и Туровец.

Карпенко поднял над столом «персональное дело» Туровца. По этому «персональному делу» выходило, что преступ-

ление Туровца тем более серьезно, что Туровец — сам по себе — выходец из середняков, постепенно превращался в изменника. Вначале — просто политически неустойчивый, потом Туровец перешел на сторону кулаков, сдружился с ними и стал им «идеологически близким».

Карпенко привел много фактов, свидетельствующих о перерождении Туровца, о его связях с врагами народа, с такими, как кулак Семен Быков.

Всё это слушал Костя Туровец. Со стороны глядя, можно было даже подумать, что он со всеми этими, падающими на него словами, согласен. Во всяком случае он иногда опускал голову, как будто подтверждая то, о чем говорит Карпенко.

— Мой вывод, — закончил свое выступление Карпенко. — Перед нами факты, доказывающие, что Туровец сознательно и с вредительской целью пролез в комсомол. Туровец — враг. Он не верит в диалектику, он пытается вернуть прошлое, он — против коммунизма. А ведь коммунизм, товарищи, как учит нас великий Сталин, это вечное, необратимое движение, имя которому *прогресс*.

В зале раздались рукоплескания. Речь Карпенко очень понравилась и уполномоченному, который, поднявшись, сказал:

— Ваше, товарищи, единодушное одобрение свидетельствует о высокой политической сознательности. Ваше одобрение — это и осуждение перевёртыша и классового врага *гражданина* Туровца, спрятавшего свое истинное лицо за комсомольским билетом. Давайте послушаем, что скажет *гражданин* Туровец.

Костя Туровец не сразу догадался, что уполномоченный обращается к нему. Занятый своими мыслями о совести, он не только не почувствовал наступившую тишину, но и забыл, где он находится и что творится вокруг.

Вместо сейчас и вот здесь происходящего — около него было нечто теплое, светлое, пришедшее откуда-то издалека, из минувшего, в котором остались его отец и директор школы. К ним, к их помощи двинулась тоскующая душа Кости Туровца.

Уполномоченный ехидно мигнул, а затем, явно издеваясь, попросил *гражданина* Туровца выступить, что ли, с «последним словом по персональному делу».

— Что?! — воскликнул Костя Туровец. — Ах, да. Хорошо... хорошо, — повторил он, поднимаясь со стула. — Да. Вы признали меня врагом. Доказали фактами, надерганными из доносов. А чтоб приговор мне был окончательным,

секретарь Карпенко сказал, что я против Сталина, против марксизма, против коммунизма с его вечными, светлыми идеями и с чистым, нерушимым прогрессом. Я не защищаюсь, не оправдываюсь, не каюсь. Хотя бы потому, что «вопреки претензиям прогресса, постоянно наблюдаются случаи регресса», о чем . . .

— Это ты из какой белогвардейской газеты вычитал? — спросил Карпенко.

— Вычитал? Это я вычитал у Карла Маркса, в его . . .

Растерявшийся Карпенко посмотрел на уполномоченного, потом, спохватившись, со злостью крикнул:

— Когда приводишь слова классиков, надо говорить: «Цитирую!»

— Я и хотел это сделать, но вы меня остановили, поспешив догадаться, что такую *ересь* пускают в оборот белогвардейцы.

— Брось трепаться! — вмешался уполномоченный. — У нас тут не дискуссия, гражданин Туровец. Давай по существу. Расскажи о твоих связях с кулачьем, ну, вот с тем Семеном Быковым. О твоих *философских* беседах с ним, в которых ты ему поддакивал и, насколько известно *органам,* соглашался с ним. Нам интересно знать о твоих взглядах и о взглядах Семена Быкова, который . . .

— Который читать не умеет, — просто сказал Костя Туровец, — но умеет видеть жизнь. Да, с ним я встречался. Я не стану повторять слов этого старика. Зачем? Он — уже обреченный. Во имя *прогресса.* Я буду говорить о себе. Вы меня обвиняете? Я себя тоже обвиняю. За мой грех . . . за грех перед своею совестью. Я делал не то, что нужно. Себя, свою жизнь я разменял на пятаки, на мелочь, пятаками расплачивался за всё, откупался пятаками от своей же подлости. Жизнь моя пятачко́вая, скверная жизнь. Вот вы радуетесь моему «персональному делу». Я тоже радуюсь. Тому радуюсь, что спишете меня вы в «расход». За это проголосуют *активисты.* А потом они разойдутся по своим общежитиям, лягут на нарах и . . . нет, не все, но кто-то из вас, может быть даже этой ночью, вспомнит обо мне, о Косте Туровце, вздохнет и подумает: а жизнь-то действительно превратилась в мелочь.

— Ты чего замолчал? — спросил уполномоченный, пристально глядя на Костю Туровца. — Сделай вывод. Приди к заключению, всем понятному.

— Вам уже всё понятно.

— А может быть и не всё понятно? — с угрозой крикнул уполномоченный. — Может быть откроешь какую-нибудь истину, о которой мы еще не успели узнать?

Костя Туровец посмотрел на уполномоченного, потом на Карпенко.

— А что ж, — сказал он, повернувшись к собранию. — Молчать не стоит. И вот почему. Потому что вы никогда не построите новую жизнь. По самой простой причине. Как фальшивомонетчики, вы берете медь и пробуете ее выдать за золото. Со стороны глядя — есть всё: и блеск и привлекательность. Единственное чего нет — золота! Так вот и с вашими идеями и с вашим новым человеком. Вместо идеи — резолюции, одобряющие идеи. А новый человек? Издали, на том человеке, будет всё, как положено: и пиджак, и штаны, и даже шляпа. А человека — всё равно не будет. На этом и кончайте мое персональное дело.

Уполномоченный кивнул Карпенко.

— Товарищи, — объявил Карпенко, — собрание считаю закрытым. Идите, отдыхайте.

Когда вслед за последним комсомольцем шагнул было и Костя Туровец, его догнал уполномоченный и сказал:

— Погоди, ты пойдешь со мною. Понял?

— Я это понял давно, — ответил Костя Туровец.

Автор, вороша записки тех давних теперь уже лет, мог бы пойти следом за уходившим в темноту Костей Туровцом и уполномоченным. Но не пошел, считая нужным вернуться к Семену Семеновичу Суходолову, который как раз в эти дни «персонального дела Туровца» оказался на одной из больших сибирских железнодорожных станций.

Чтоб всем стало ясно, почему здесь очутился Семен Семенович Суходолов, Автор и расскажет — —

О СУХОДОЛОВЕ И ТАМБОВСКОЙ КРЕСТЬЯНКЕ АВДОТЬЕ СИДОРОВНЕ

Эта маленькая сморщенная старушка сидела у стены вокзала и так равнодушно смотрела на спешащих куда-то людей, словно ей самой уже некуда было торопиться.

Два или три раза мимо нее прошел Суходолов, а когда обратил внимание, что на старушку падают редкие, мокрые снежинки, ему до боли в сердце захотелось сказать ей какое-нибудь обычное, ласковое слово.

Но от хороших слов он уже давно отвык. А может быть и погода мешала. Может быть этот сырой и пронзительный ветер выдувал теплые мысли, уносил их прочь и где-то кидал в осеннюю грязь.

Неуютность была кругом!

В такую пору слякоти, подумалось Суходолову, хорошо бы умереть, чтобы избавиться от тоски, от чьего-то шлепанья по снежному месиву и от озноба где-то около скучно бьющегося сердца.

Он опять взглянул на старушку, и ему стало страшно от догадки, что и она, моргая слезящимися глазами, тоже думает о смерти.

Час тому назад один поезд ушел к востоку. Только что отправился другой к западу. А старушка всё сидит, даже не сделав движения, чтоб стряхнуть с себя снег.

— Ты куда, бабка, едешь? Вон уже было два поезда, а ты, смотрю, всё сидишь и сидишь? Вроде бы чего-то ждешь.

— Мне, сынок, ехать некуда, — ответила она спокойно. — Так-таки некуда. И сама не знаю, чего жду.

— Как так не знаешь?! — удивился Суходолов. — Откуда ты?

— Оттуда, — шевельнув пальцами, сказала старушка. — Сверху. Кулачка я. Освобожденная. Таких как я, калек, с местов поселения отправляют. Кого куда. Одного туда, другого сюда, а меня, значит, к родным местам. Да только зачем — не знаю. Всё равно — не доеду.

— Так откуда ж ты, бабка? Из лагеря?

— Лагерь— это дело давнее. После лагеря было поселение. Из поселения, слышишь, и списали меня. Литеру дали, то есть билет казенный, и бумажку. Документ на волю. Это после стольких-то годов... вышла, говорят, милость такая, амнистия называется, ленинская.

— Какая ленинская? Ленин вон уже когда помер.

— Всяк человек к смерти приписан, — согласилась старушка. — Это верно. Да только амнистия. Так бабы на поселении толкуют. Может обманывают меня, старую, не знаю. Да ты чего стоишь? Присядь, что ли?

Суходолов опустился на корточки и, прислонившись к стене, спросил:

— А зовут тебя как?

— Авдотьей, — ответила старушка и немножко помолчав, добавила: — Авдотьей Сидоровной.

— Горя вы большого, Авдотья Сидоровна, нагляделись.

— Как тебе сказать? Счастье — оно неприметное. А горе? Горе сам знаешь, всяк и враз видит. Вот, слушай, была у нас на поселке одна бабка. Тоже наша, тамбовская, так она . . .

— А ты тамбовская? — с захолонувшим сердцем спросил Суходолов.

— А то как же! Может слышал: Сампур? Богатым селом жили.

— Слышал про Сампур, — неуверенно подтвердил Суходолов. — Слышал.

— А может и ты из тех краев?

Суходолову хотелось всё рассказать о себе, вплоть до того, как ушел он от отца после окончательного с ним разговора. Но не рассказал, а спросил:

— Ну и что же там, на поселении, говорила та тамбовская бабка?

— Да вот про горе свое. Она, слышишь, мельникова дочка, и парень к ней сватался. Да в те поры там Антоновщина гуляла. Против товарищей. А парень ее подался к красным. Батьку ж ее, мельника, на расстрел потянули, а она, дочка, кинулась оборонять отца. А в нее охальник и грохнул из пистолета.

— Авдотья Сидоровна! — схватив старушкину руку, крикнул Суходолов. — Бабку ту как звали? Говори!

— Бабку звали, прямо тебе скажу, красивым именем. Ксюшей звали! А жила она у нас на поселении калечкой, потому после прострела левая ее ручка не работала. А еще потом — Ксюшу перевели куда-то в другое место . . . туда, которые помоложе, тех туда подальше отсылали.

— Говори: куда Ксюшу перевезли?

— А ты чего тревожишься? Тебе что, может Ксюша сродственница какая или с одной деревни?

— Я . . . я, Авдотья Сидоровна, я тот самый парень, что сватался к Ксюше, к мельниковой дочке . . . и который перекинулся к красным. А еще потом до меня слух дошел, что Ксюшу пристрелили. Я тому не хотел верить. Я искал Ксюшу по всей Тамбовщине. А потом отец мой, с чужих слов, рассказал, как прикончил ее . . . ну . . . мой соратник . . . такой был: Семыхин. А потом . . . потом, Авдотья Сидоровна, мой отец меня проклял. Тому уже много лет прошло. Отца уже нет. А Ксюша, Ксюша, вы говорите, где-то в дальних поселениях живет? Калечкой? Найду я ее, Авдотья Сидоровна, найду, и повинюсь перед ней.

— И повинись, — радостно сказала старушка. — Потому виниться будешь не перед ней, а и перед собой, перед своей совестью.

Уже совсем в темноте усадил Суходолов старушку в поезд, идущий к западу.

— Так что, прощайте, Авдотья Сидоровна, — говорил Суходолов. — Езжайте.

— До чего ж ты добрый человек, — шептала она. — Прямо сердечный ты человек. Ищи, сынок, Ксюшу, и от меня ей до земли поклонись, да не забудь оповестить, что это я тебе путь к ней наметила.

— Всё скажу, — сказал Суходолов, и совсем неожиданно для самого себя, склонился над старушкой и поцеловал изрезанный глубокими морщинами лоб. — Мне бы только, Авдотья Сидоровна, Ксюшу найти. Я бы для нее другим человеком стал.

Он хотел еще что-то добавить, но поезд трогался и Суходолову пришлось на ходу выскакивать из вагона, уже в самом конце перрона.

Когда в темноте растаял красный свет фонаря на последнем вагоне убегающего поезда, Суходолов по слякоти вернулся к станционному зданию.

Подойдя к тому месту, где так еще совсем недавно сидела Авдотья Сидоровна, Суходолов остановился и в задумчивости опустил голову.

Тут Автор берет на себя смелость утверждать, что Суходолов прежде всего подумал о неуютной осени, которую вряд ли переживет Авдотья Сидоровна.

И еще Автор почти с уверенностью заявляет, что Суходолов представил себе какую-то следующую и тоже очень скверную осень, когда у него, у Суходолова, будет свой собственный угол с обыкновенной печкой, дающей совсем обыкновенное тепло.

Исковерканный, ожесточенный Суходолов не осмелился мечтать, что к этому теплу приблизится ласковая и тоже обыкновенная женщина с тихим, грудным голосом, какой был у Ксюши. Да и есть ли такие, как Ксюша? Он не знал таких, хотя иногда, как бы в некотором отдалении, сквозь шорох чужих слов или подслушанных фраз, догадывался об их существовании.

Но всё это было давно. Тогда, когда он никаким словам не верил. А вот теперь . . . Да, только теперь он осознал окончательность утраты своего собственного, лично ему принадлежавшего *бывшего*. Оно исчезло, это свое *бывшее*, бесслед-

но растаяло, как тот вон красный фонарь последнего вагона поезда, увезшего Авдотью Сидоровну к ее последним дням.

Суходолов был далек от философских рассуждений, и потому горькую мысль, что вернуть себя в свое *бывшее* нельзя — воспринял просто и совершенно трезво. А что под этим «нельзя» скрывается уже нечто таинственное, он не подумал. Не только сейчас, но и потом, позже — никогда он не пробовал представить себе, что всё, случившееся после встречи со старушкой Авдотьей Сидоровной, произошло по велению не совсем понятного ему нравственного закона.

Это он сам, Суходолов, теперь с документами на имя Семена Семеновича Уходолова кинулся искать Ксюшу. И не для того, чтобы вернуть себя в свое *бывшее*. Это невозможно. Но желание заглянуть в какой-то уголок своего *бывшего* бросало его из стороны в сторону.

И он нашел ее. Ксюшу. Он уже два раза украдкой наблюдал за нею. Она была такая же, как и прежде, с круглыми и ласковыми глазами, теперь, правда, в лучиках тонких морщин. Заметил он, что левую свою руку она несла прижатой к боку.

Это была Ксюша. Его Ксюша.

Подойти к ней Уходолов поостерегся.

«Испугается она меня, — подумал он. — Не поверит. Тогда — конец».

Потом он узнал, где живет Ксюша, разведал, что помещается она в одной комнате с другой «поселенкой», уже совсем седой женщиной, видать из «бывших».

Как-то в воскресенье он подошел к бараку. На завалинке сидела Ксюша с «бывшей», грелась на солнышке и слушала, что говорит «бывшая».

Уходолов завернул за угол барака и остановился. Вынув кисет из кармана, он принялся вертеть цигарку. Папиросная бумага была плохая, лопнула. Уходолов бросил эту цигарку и начал вертеть вторую. И вот тут до него донесся голос Ксюши.

— Разве ж можно делить на сознательных и отсталых, — говорила она, отвечая, видимо, на слова «бывшей», — на преданных и врагов? Так нельзя. Это *они* нарочно. Это они для того, чтобы не видеть людей, чтоб не признать, что у каждого своя душа и своя собственная жизнь. Свои у каждого горести и свои печали.

У Ксюши — ласковый грудной голос.

«Об этом я, кажется, говорил той маленькой, сморщенной старушке, — подумал Уходолов, — которая прошлой осенью сидела у стены вокзала и не обращала внимания на сырой, пронзительный ветер и мокрый снег, падавший на ее покрытый грязью ватник».

Хотя нет, не так, поправил он себя, это я подсел к старушке, и она призналась, что ей некуда ехать, и что она не знает, зачем ее освободили из лагеря. А потом она рассказала о тамбовской мельниковой дочке с красивым именем *Ксюша*, оставшейся *там*, на поселении, со своею простреленной ручкой.

Уходолов обо всем этом вспомнил именно в это воскресенье, когда он через столько лет опять услышал голос *своей* Ксюши.

Ему захотелось кинуться туда, к завалинке, объявиться, что вот он здесь, и что путь сюда ему указала та старушка.

Но так он не сделал. Слегка пошатываясь, он зашагал прочь, к своему общежитию. Таким, сегодняшним, к Ксюше подходить нельзя. Почему? Просто нельзя. Ну, хотя бы потому, что он болен своею неправильной жизнью. А как излечиться? Совсем легко он подумал, что излечиться можно лишь справедливой смертью.

С такими новыми для себя мыслями он вернулся в общежитие. И уже здесь додумал всё до конца. Смерть — она обыкновенная. Смерть — когда человек лежит без дыхания — дело обычное. Но она придет потом. После встречи с Ксюшей. Она, Ксюша, всё решит. В ее руках — как и чему быть. А к тому, что будет, надо приготовиться, как к смерти.

Уходолов закрыл глаза. Перед закрытыми глазами вроде бы появился его отец и стал что-то шептать. Прислушиваясь к шёпоту, Уходолов припомнил свое детство и рассказ отца о том, как надо встречать смерть.

«Ага», — вздохнул Уходолов, открыл глаза и стал торопливо перебирать свои вещи. Совсем не думая о смерти, он всё привел в порядок, потом надел чистую рубаху, как царский солдат перед завтрашней атакой, вышел в коридор и сполоснул глаза водой.

Чувствуя себя подготовленным к тому, что должно случиться, он вышел из барака и направился в конец поселка.

Издали увидев, что Ксюша всё еще сидит на завалинке с «поселенкой», Уходолов притаился среди сосен. Сюда и чуть слышно долетал теплый голос Ксюши.

«Смотри такое, — думал Уходолов, — сколько лет прошло! Сколько ей довелось перестрадать, а голос... да это же голос моей Ксюши».

И ему в самом деле казалось, что Ксюша — это *его* Ксюша, и что над ними тамбовское небо, и где-то тут, совсем рядом, дом, из которого только что вышла Ксюша, встретила свою соседку и о чем-то таком хорошем и спокойном спрашивает. Может быть даже о том, а не видела ли соседка Сеню, то есть Семена Семеновича?

«Это меня спрашивает», — подумал Уходолов и задрожал от радости, готовый броситься к завалинке и крикнуть: «Я здесь, Ксюша! Я давно здесь».

Он сделал два-три шага, но остановился, вспомнив, что тут не тамбовское небо, что тут север, Сибирь, тайга, что тут барачная деревня для «поселенцев».

Он опять прижался к сосне.

— Так что я, Ксюша, — сказала старуха, — в три часа пойду стирать бельишко, а ты прибери в нашей закуте и к вечеру приготовь ужин. А потом я лягу спать пораньше. Утром мне чуть свет подниматься.

— Ладно, бабушка, — ответила Ксюша. — Уберу, кой-что поштопаю.

Они еще потолковали о своих домашних делах, затем поднялись с завалинки и вошли в барак.

«Бабка уйдет часа через два», — подумал Уходолов, возвращаясь в посёлок. А чтоб эти два часа стали короче, он, войдя в свою комнату, бросился на койку и закрыл глаза. Но лежать было неудобно. Что-то мешало. Он поправил подушку, и вдруг поймал себя на мысли, что всё это время как будто репетирует то, что должно случиться сегодня, скоро, часа через два или три.

«А может быть и раньше», — подумал он, уже сидя на койке и вынимая часы.

Часы были золотые. Он привык к ним, они стали его обычной *вещью*, примелькавшейся и знакомой. Но теперь они напомнили ему о Семыхине, о той давней истории, начавшейся на Трухановом острове и закончившейся в Киеве, на Подоле.

Не понимая, почему именно эта история воскресла перед ним, Уходолов всё же восстановил ее во всех деталях. Он подсчитал те годы, которые прошли с тех пор, когда Семыхин валялся на полу и уткнувшись лицом в шапку-кубанку каялся. Семыхина нет. Остались только вот эти его золотые часы да еще маленькая заметка из киевской газеты, сооб-

щившая о том, что 24 августа 1922 года, ночью, в районе Еврейского базара был обнаружен убитый бандитами гражданин Семыхин. Потом Уходолов вспомнил своего отца, тамбовского мужика, говорившего, что не судьба ведет человека по времени, а время жандармом тянет человека к его судьбе.

Уходолов встал с койки и вышел на улицу.

Кто-то пытался пригласить его выпить стопку спирта. «Нет», — ответил Уходолов. В другом месте его остановил напарник драгер.

— Заходи, Семен, в очко сыграем!

И здесь ответив «нет!», Уходолов двигался дальше и, наконец, опять оказался среди сосен.

В половине четвертого из барака вышла старушка поселенка с большим узлом белья.

Суходолов, уже сделавший несколько шагов, остановился. Совсем так недавно прорепетировавший всё, что должно произойти, он почувствовал себя ни к чему не подготовленным. Единственное, с чем он может приблизиться к Ксюше — это со своей открытой душой, очень простой и теперь уже освобожденной от грязи.

Но как это объяснить? А может быть и слов не нужно? Может, надо только сказать, что от всего *прежнего* он отвернулся, а чтоб это было навсегда — пусть Ксюша простит его грехи и грехи других, и простив — поддержит его, пойдет с ним рядышком, вспомнив, как об этом они говорили давно, тогда, когда она была дочкой мельника на Тамбовщине, а он — молодым, веселым сыном крестьянина с той же Тамбовщины.

Он стоял в растерянности, вдруг поняв, что для такого рассказа нужно много хороших, прямо святых слов. Их у него не было. А может просто начать с того, как он думал о ней, как искал, как добирался сюда . . . а когда нашел, ничего другого не осталось у него, как спросить: «Что же делать?»

Автор отвергает возможное предположение, что такой вопрос — своеобразный литературный прием. И вот почему: Автор знает, чем закончились терзания Уходолова и как он объяснялся с Ксюшей. Автору довелось обо всем этом говорить с самим Семеном Семеновичем Суходоловым, ставшим Уходоловым, говорить долго и мучительно откровенно. Автор даже осмеливается сказать: сила Уходолова, его мужественное стремление к самоочищению не оставляет места для прищуренно-критического взгляда.

— Я, конечно, осволочел, — говорил Уходолов. — Оскотинился. Зверем обернулся. А внутри у меня такое, понимаешь, непонятное. Разное! Ну, вот, думаю о своем отце, и о том, никому не нужном профессоре, старике Воскресенском. Так это же мои мысли просто зацепка, чтоб ухватившись за нее еще немножко подышать. А не будь зацепки — сыграл бы свою последнюю игру, а что не вышел бы из нее живым — так мне наплевать! Но сыграть не мог: заставил жить этот дотлевающий остаток былого, всем чужой профессор богословия. Думал: вот похороню его, а потом . . . Старик, понимаешь, живет. Пусть живет! А тут у меня, кроме старика, теперь уже окончательная зацепка: моя Ксюша . . .

Какими путями-дорогами двигался к своей Ксюше Уходолов — Автор знает точно, в подробностях.

Вплоть до того, как вошел Уходолов в барачную комнатушку. В комнатушке, склонившись над рваным ватником, Ксюша работала иглой и не заметила, что в дверях стоит кто-то чужой.

— Ксюша, — прошептал Уходолов. — Вот и я здесь.

Она в испуге вскочила. Ватник упал к ее ногам.

— Ты? — спросила она в ужасе.

— Я, Ксюша.

— Зачем?

— Не надо, Ксюша. Чего говорить? Прими меня.

— Это после всего прежнего? Как ты мог забыть об этом прежнем, подлая твоя душа? — задрожала Ксюша, и Уходолову показалось, что ее бедная, мертвая левая ручка чуть-чуть шевельнулась, словно и она хотела оттолкнуть его. Но не поднялась эта, когда-то простреленная, теперь безжизненная и потому страшная рука.

— Я всё помню, Ксюша. Только я уже отодвинулся от *того*, и потому пришел к тебе. Прими меня, Ксюша . . .

Ему хотелось говорить еще и еще, говорить о том, как он ее любит. Но рассказать об этом, о своем чувстве он не смог. Были обыкновенные слова о том, что он ее *жалеет*, слова о том, что жить без нее, без своей Ксюши, ему уже не стоит.

Он подошел к ней и попросил:

— Ксюша, будем вместе. Я тебя жалею, пожалей и ты меня.

Она, задохнувшись, скользнула по нему быстрым взглядом и так пренебрежительно, как будто видела перед собой что-то неопрятное и дурно пахнущее. Но перед ней стоял почти что прежний Семен. Нет, это не был Сеня. Другой,

более сильный, с суровым лицом, с двумя резкими морщинами у губ — он показался ей и нужным и родным. Но было еще что-то, стоявшее между нею и ним. Словно торопясь разнести эту преграду, покончить с чем-то, теперь лишним, Ксюша, не понимая, что делает, вдруг выкинула свою правую, здоровую руку и маленьким кулачком ударила Уходолова где-то около уха. Она хотела ударить еще раз, но вместо этого прижала руку к своим заплывшим слезами глазам.

Уходолов стоял и смотрел и впервые в жизни испытал удивительно спокойную чистоту и в себе и на себе. Радуясь этому, он тихо прошептал «Ксюша», и уже знал, что никуда он не пойдет, навсегда останется с нею и освободится от нужды жить в темноте, пусть и солнечного дня.

— Сеня, — сказала она, — я тебя тоже *жалею*.

— Жалеешь? — повторил он и засмеялся больным смехом.

Глядя на его странно дергающиеся губы, Ксюша подумала, что сейчас он упадет и начнет биться в припадке.

— Сеня! — вскрикнула она, бросившись к Уходолову с протянутой рукой.

Слабая рука Ксюши — Автор в этом убежден! — подняла бы Уходолова из пропасти и, в конце концов, сотворила бы великое чудо обновления человека

Сказав «сотворила бы», Автор с горечью признает, что чудо не было завершено. И не по вине Ксюши . . .

Тут Автор ставит многоточие. Оно необходимо, чтоб напомнить о неосуществившейся мечте Решкова опереться на руку Ирины и при помощи Ирины подняться над самим собой.

Мечта Решкова рухнула. Как он воспринял это — дают понять — —

БЕСЕДЫ РЕШКОВА С КУЛИБИНЫМ О ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ

Почему скрывал Решков от Кулибина правду о смерти Ирины? Тут какая-то психологическая загадка. Стоило, например, Кулибину вспомнить об Ирине, Решков слегка бледнел, но охотно поддерживал разговор о ней, как будто бы живущей где-то там, очень далеко, куда, возможно, он еще раз поедет.

— Вот и в третий раз вы видались с Ириной? — спросил Кулибин. — Или в четвертый? Но это не важно. И в деся-

тый раз вы прибьетесь к ее порогу, и она встретит вас сухими, сжатыми губами. А когда будете уходить, не услышите ни одного слова. Тут уж, Леонид Николаевич, ничего не поделаешь! Будь бы Ирина несколько другой, попроще, победнее духовно, она бы . . .

— Она бы припасла острый нож и в одночасье, как говорят поморы, пустила бы его в ход, — не то спросил, не то пояснил Решков. — Это был бы хороший эпизод для той, вами еще не написанной, книги. Правда?

Кулибин не сразу ответил.

— Вы это напрасно, — наконец сказал он. — Всё значительно сложней.

— Вы так думаете?! — в волнении воскликнул Решков. — Тогда объясните, почему Ирина ненавидит меня?

— Ненависть? Не то слово. Она — презирает. Понимаете? Ненавидя — еще можно любить, но там, где презрение . . .

— А ведь вы правы, Владимир Борисович. Только теперь я понял, чло ненавидя полковника Мовицкого . . .

— Да, да, — перебил Кулибин. — Тогда, ненавидя Мовицкого, вы его любили, вас согревал окружающий его мир, в котором жила и его дочь. А ненависть . . . не вы виноваты в ней! Признаюсь: я думал обо всем этом, для тех страниц, над которыми вы так охотно иронизируете. Они есть — эти страницы. Я лучше вас понимаю всё, случившееся с вами. Это ведь не вы сами, это чужая воля навязала вам мысль разрушить тот мир, в котором жил полковник Мовицкий и в котором могли жить и вы.

— Это вы читаете страницы вашей книги? О чем-то подобном и я думал. Поэтому, прошу вас, читайте дальше. Я хочу увидеть самого себя . . . в роли литературного героя, созданного вами, Владимир Борисович.

— Не я вас создал, Леонид Николаевич, — ответил Кулибин. — Эпоха вас создала. За нее вы и расплачиваетесь. Расплатитесь дорогой ценой. И очень мучительно. Вы достаточно образованы, и потому не станете отвергать такое предположение. А если бы стали отвергать — всё равно в глубине души у вас шевелилось бы сознание, что это так. Я осмеливаюсь утверждать, что вы мучитесь долгими ночами, и в часы бессонницы восстанавливаете всю вашу жизнь. А утром, после томительно длинной ночи, поднимаетесь с постели и некоторое время обманываете себя сладостно-горькой мыслью как-то всё переиначить, чтобы жить по-другому и совсем по-хорошему. Обман этот настолько коварен, что воспринимается реальностью далекого прошлого, когда были

дружеские рукопожатия и теплые слова. Вам кажется, что достаточно выйти из вашей комнаты, и вы попадете в дом, где жил полковник Мовицкий и его дочь. И вы с жалкой поспешностью покидали эту свою казенную, шикарную — по мнению завидующих вам — квартиру, а за ее порогом останавливались, опускали голову и, пошатываясь, возвращались, чтобы свалиться на диван. Лежа без движения, вы прислушивались, как где-то около виска назойливо пульсировала кровь. Кровь отсчитывала секунды. Вашей или чужой жизни. Не всё ли равно! Но кровь пульсировала, и в такт ей вы думали, пробовали разобраться в чем-то очень сложном и запутанном, начиная с тех, далеких уже дней, когда еще не знали ни сада господина полковника, ни того дома, в котором вы так уютно провели шестнадцать или больше лет. Смутно, очень смутно вы вспоминали и свою мать ... ту женщину, которая протянула свои руки к вашей восьмилетней шее.

Кулибин замолчал. Решкову хотелось сказать, что Ирины уже нет, и что смерть ее он воспринимает окончательным освобождением от связей с прошлым. Но об этом он опять промолчал.

— Вы знаете, —сказал Решков, — как я отвернулся от светлого мира с его книгами, чистыми мыслями, в который меня ввел полковник Мовицкий. Знаете, через что я переступил. Кто я? Прирожденный преступник? И что тут? Закон наследственности? Одно мне ясно: уйти от своей теперешней жизни я не могу. Я до конца буду служить *идее*, хотя и понимаю, что идея — миф. Реальность? Кровь, проливаемая во имя мифа. Человек говорит: «Я хочу жить». Человека ставят к стенке. За что?

— Обо всем этом вы говорите столь равнодушно, — прошептал Кулибин, — что мне трудно верить в искренность ваших слов. Трудно верить в то, что вы такой, каким вы себя рисуете ...

— Можете верить, — перебил его Решков. — И внести в ту вашу книгу, в которой — вы, ведь, обещали! — пойдет речь и обо мне. Так что для полноты изображения не забудьте вписать меня, Леонида Николаевича Решкова, и в роли заурядного провокатора. В потрепанном пиджаке, с запущенными руками я — и весьма ловко — прикидывался загулявшим мастеровым, шатающимся по кабакам в надежде выпить и закусить за чужой счет. Таким мастеровым я затеял дружбу с одним из тех, из таких, включенных в *операцию*. Подружившись с ним, я скоро убедился, что с ним-

то, в общем, не стоит возиться. Так себе — мелочь! Но я почему-то уже не мог оторваться от этого болтливого, бросившего землю, мужика. Может быть даже потому, что в мужике угадывалась ехидная злоба, далеко запрятанная, прорывающаяся лишь тогда, когда он пьянел сверх меры. Этим я пользовался. Придвигая ему стакан водки, я выкладывал перед мужиком свои *обиды* на партию. Пьяный тут же откликался, поддакивал, потом, словно бы разгадав меня, пускался доказывать, насколько он «сочувствующий». Я уже хотел было плюнуть на этого мужика, да вот это его «сочувствие» как будто сверкнуло молнией, в свете которой я увидел самого себя — подлого, грязного и неизвестно зачем лгущего. Мужик лжет. Это было ясно. Но его ложь особенная, на мою не похожая. И мне до нестерпимости захотелось заглянуть в эту *иную* ложь. Для чего? Не понимаю. Хотя нет! Понимаю. В той, мужицкой лжи что-то пряталось. Свое, крестьянское, обычное. А чтоб увидеть это, я пустился говорить о том, что, конечно, много неправды на земле, и потому нужно терпеть и верить, что дальше всё пойдет по Ленину, всё организуется. «Ну и терпи, — крикнул пьяница, стукнув кулаком по столу, — да только об организаторах мне не толкуй. Я их видел. И одного такого знаменитого. Куда бы он ни заявлялся, сразу и без заминки обнаруживался единогласный коммунизм. Все, как по команде, за любимую партию! Прямо удивительно. Об ём говорили приезжающие из центра, что другого такого организатора мало где можно найти. И что его сам Ленин знал и Дзержинский уважал. Такой это был знаменитый организатор, что имя его золотыми буквами будет записано в поминальнике строителей. Да только дальше чудное приключилось. Это когда наш уезд считался окончательно и во веки веков аминь коммунистическим. После чего и всю нашу Смоленскую губернию признали «Западной Коммуной», с такой, знаешь, газетой «Известия исполнительного комитета советов Западной Коммуны». А редактором стал знаменитый Кнорин, историк и писатель по партийной части. Вот в такое удивительно торжественное время приехал к нам тот *организатор*, собрал всех самых до конца верных на митинг. Речь стал говорить, и головкой кивать, когда ему в ладошки хлопали и кричали 'ура'. Потом этот организатор предоставил слово 'желающим', ну, тем, кто хочет высказаться за коммунизм. И за ручку здоровался с лезущими на трибуну. И тут один такой лезет, поднялся, двинулся к трибуне, подошел и не поздоровавшись с организатором, прямо в лицо ему стрель-

нул из обреза. А остальные люди, собравшиеся тут мужики, вместо того чтобы посочувствовать, из-под тулупов повытаскивали обрезы и пошли кончать приехавших товарищей из центра. А ему, организатору то есть, ему уже было всё равно. Он лежал спокойно и не волновался своим разбитым через пулю лицом. Дальше, конечно, суматоха поднялась. Восстание против коммунистов. Да только как-то зря. У мужиков своего Пугачева не оказалось. Никакого. И мужиков, как белок, перестреляли каратели-чекисты и разные ЧОНы, ну, понимаешь, части особого назначения из самых преданных интернационалистов. Мужиков, одним словом, не стало, и всю Западную коммуну расформировали. Лишили этого почетного звания и обернули назад в Смоленскую губернию. Так ей, гадюке, и надо! Не достойна она идти к коммунизму. Ты этому поверь: я смоленских мужиков знаю. Потому — я сочувствующий. Понял?» «Понял, — ответил я этому смоленскому мужику, и спросил: — А сам ты в те поры не стрелял из обреза?» «Это ты брось!» — поднося водку ко рту, усмехнулся пьяница.

Рассказав это, Решков почему-то попробовал убедить Кулибина, что существует некая таинственная связь между судьбой его, Леонида Николаевича Решкова, и историей «Западной коммуны».

— Тут уж мистика, — запротестовал Кулибин.

— Вы возражаете, Владимир Борисович, но как-то неуверенно. А может быть вы просто жалеете меня? Может быть вы даже догадываетесь о моих мыслях, но не хотите признаться в этом? Вы — добрый человек. Мне даже кажется, что в той, пусть еще не написанной, книге вы попытаетесь в чем-то и оправдать меня. Подсунете читателю «защитительную» речь, как делают адвокаты, выкладывая весьма-таки шаткие «смягчающие вину обстоятельства». А я вам прямо скажу: никаких таких *обстоятельств* нет. Я хотел бы увидеть эту страну, вдруг распрямившую спину и поднявшуюся во весь свой могучий рост. Это была бы величественная по своей дикости феерия, равной которой не было в истории. Конечно, в этой заварухе и мне бы свернули голову. Даже в первую очередь. Как чекисту. И знаете что, Владимир Борисович? Меня это не смущает. Я как будто подготовлен к тому, чтоб Россия ломом или пулей раздробила мне череп. Единственное, что меня тревожит, Владимир Борисович, так это то, что я не узнал бы, а чем же закончится вся феерия?

Тут Автор позволяет себе вырваться из далекого прошлого, вернуться в наши уже дни и выслушать, что говорил — —

СОБЕСЕДНИК О ПРИЧИНАХ И СЛЕДСТВИЯХ

— По страницам вашего *действа,* — сказал Собеседник, — бродит много людей с глазами полными ненависти. Меня это не удивляет. Ненависть такое же естественно возникающее чувство, как и признательность. Смущает меня вот что: людей ненавидящих вы отодвинули в сравнительно далекие годы. К Ленину там, или к Сталину. А о теперешних — с ненавистью — вы как будто бы и понятия не имеете.

Автор попробовал было возразить, но Собеседник мрачно махнул рукой и еще долго развивал свою собственную философскую систему, объясняющую ненависть и причины, вызывающие эту ненависть.

— По-вашему выходит, — задал вопрос Автор, воспользовавшись паузой, — так было, так есть и так должно быть? И никакая тут советская власть с Лениным и Сталиным не поможет?

— А вы что думаете? — подхватил реплику Собеседник. — Вернее: вы не хотите думать! Вы уцепились за чужую, ловко построенную умозрительную схему. Дескать, причины порождают следствия! Логично? М-да. На ваш взгляд. И вот вы поставили точку и умыли руки. Совсем зря! Вы забыли, что следствия становятся новыми причинами, вызывающими новые следствия. И так — без конца. И никакая тут программа партии и никакой очередной съезд не нарушат этой *бесконечности* . . . в том числе и звериной ненависти к новому миру.

— Но почему звериной?

— Да хотя бы потому, что существование ее признает и сама советская власть. Вы ухмыляетесь? Напрасно. Звериная ненависть это не какие-то там литературные пассажи в поэзии Маяковского, который со сладострастием мечтал расправиться при помощи нагана с белогвардейцами, «укрывшимися в парижских кабаре». Оставим в покое советскую прозу и поэзию. Это, в общем, не документы. Документы — это советские газеты.

Собеседник вытащил из кармана вырезки из газет и пошел шуршать ими.

— Погодите, — просил он, — повремените чуточку. Да, вот она — первая и наиболее краткая. Заметка из «Советской молодежи», за 18 ноября 1964 года. О том, как в Риге судили одного, ну, понятно, врага, ненавидящего строительство «нового мира». Этот *ненавистник* девятнадцать лет со своею ненавистью прожил, по газете, в Галянских лесах. Заметка — хроникальная. И не особенно выразительная. А вот дальше, — Собеседник поднял брови, — дальше — целое художественно-документальное произведение, этакие садистско-звучащие заметки известного советского очеркиста Пескова. Заметки под названием *«Дезертир»*, помещенные в «Комсомольской правде» за 16 сентября 1962 года. Начинаются заметки довольно игриво.

> ...Степное село Битюг-Матреновка, Воронежской области. Гуси на зеленых широких улицах. Трактор тянет по улице ярко-красный комбайн для уборки свеклы. Белые мазанки. Белое двухэтажное здание школы — окна еще в известке. Ведра с краской, доски, груда кирпичей...

— Лирика? — спросил Собеседник. — А нужна она «Комсомольской правде», чтоб — вслед за ней — на целой странице рассказать о Николае Тонких. Николай Тонких в злобной, звериной ненависти ко всему «строительству» спрятался на чердаке своего дома и там — в одиночестве — провел двадцать лет. Или, как говорит очеркист Песков:

> Страшные двадцать лет. Семь тысяч дней, похожих, как близнецы. Двадцать лет человек пролежал на старой овчине...

— Это уже не лирика! — воскликнул Собеседник. — Это трагедия. И очеркист «Комсомольской правды» вроде бы чувствует эту трагедию. Трагедия — следствие! Причина — ненависть. И вот следствие вызывает новую причину, вслед которой идет новое следствие — желание выбраться из темноты и увидеть солнце. Полуослепший от добровольного двадцатилетнего заключения во мраке Николай Тонких покинул свое убежище и увидел солнце. А что увидел очеркист Песков? Сцену, ждущую своего Шекспира? Нет. Песков захихикал, радостно потер свои идеологически выдержанные руки и написал: «Вот и вся трагическая и жалкая судьба Николая Тонких». Чувствуете, как у *них* всё просто, — добавил Собеседник. — Зачем размышлять? Зачем заглядывать в душу человека... между прочим — Николай Тонких не убийца и не вор! — человека, чью волю сломила тоска о солнце.

— Страшно, подчас, складываются жизни человеческие, — прошептал Автор, и тут же заметил, как задергалось лицо Собеседника. Такое с ним случалось не часто.

— Ага, страшно! — воскликнул Собеседник. — А у героев вашей «Моли»? Им что? Не страшно? Они тоже задыхаются от ненависти. К кому и к чему? Многие из них даже не знают о *причинах!* Конечно, ваш Решков пробует в чем-то разобраться. Суходолов? Суходолова вы уважаете, — усмехнулся Собеседник. — Он вам дорог за его любовь к Воскресенскому, к Ксюше, к старику отцу. И еще у вас есть выдуманный Кулибин Владимир Борисович, тот самый, кто собирается написать *ненаписанную* книгу. Кулибин — во всем разбирается тонко. И в причинах и следствиях. Так что он вам и может кой-что объяснить.

— Что?

— Как «что»? — вскинул брови Собеседник. — Да то, что жизнь это не Свод законов Российской империи. И не ленинские декреты или постановления съездов. Жизнь — это каждый человек своего особого мира. Беда человеку, если над ним Ленин, Сталин или продолжатели их дела. Для них — всё просто. Один Иван и еще один — вот уже два Ивана. К этим двум — еще и еще Иваны, и нет человека, есть *масса*. Поголовье. А поголовье что? Поголовье принимает для всего поголовья обязательные партийные указания и единое для поголовья мировоззрение. С одним и единственным мировоззрением хлопот никаких. Отару, понимаете, или массу или поголовье легко послать куда хочется. На пастбище в степь или в бойню. Это всё равно! Для отары. Для поголовья. Для людей *единого* мировоззрения. Страшно? Да, страшно. Но вы на судьбе своих героев все же рискуете показывать крушение единого мировоззрения, взамен чего приходит ненависть, пусть и грубая, пусть и жестокая. Она законна, эта ненависть, и нужна, как нарыв, чтобы освободить живую ткань тела от мучительного гноя. Процесс этот болезненный, процесс . . .

— Процесс созревания ненависти?

— А вы как думаете? — спросил Собеседник. — Я вам привел два газетных примера подобной ненависти, давших, кстати сказать, повод позлорадствовать создателям *единого* мировоззрения: в одном случае ненавидящий строительство нового мира зверем жил в лесу девятнадцать лет, в другом случае — ненавистник сам себя заточил в двадцатилетнюю темноту. Ах, как смешно! — зубоскалят газетные мастера. — Видите судьбу отщепенцев, врагов и скептиков. Что ж, для *единого* мировоззрения — это подлинные враги. А для жизни? У жизни своя, ни в какие партийные директивы не укладывающаяся, собственная сущность. Что за

сущность? — может спросить любопытный. У этой сущности есть имя: объективная истина. Только она способна объяснить добро и зло и только ей по силам праведные приговоры. Объективной истины боятся апостолы единого мировоззрения. Их мировоззрение — кроваво-красное. И когда они сталкиваются с отрицанием его, с ненавистью к нему, то... Понимаете? Это когда-то были разные братья Карамазовы. У них *разных* Карамазовых не должно быть. А если появляются такие разные и ненавидящие, тогда что? Я уже вам приводил примеры. Вот еще один! Записанный сухим протокольным языком полковника-чекиста Сгибнева в газете «Красная звезда» за 5 января 1966 года, в статье *«Зачеркнутые годы»*. Чекист рассказывает о Терентии и Владимире Ивановых, об отце и сыне, двадцать два года проведших... но дальше я вам прочитаю из протокола полковника-чекиста Сгибнева.

Они укрылись в самой недоступной глубине псковских чащоб: ни тропинки вблизи, ни деревень... Одни только барсуки по соседству. Но барсуки — это хорошо. Терентий Иванов (отец) выгнал зверей из ям, навел в них комфорт и приспособил к жилью...

— Как видите, — сказал Собеседник, — в звериную яму ушли Ивановы от «нового мира». На двадцать два года. На всю жизнь! Полковник-чекист с удовольствием отмечает: кто-то донес и... тут надо прочитать еще несколько строчек.

Облава длилась несколько месяцев. Группа чекистов прочесала семнадцать тысяч гектаров леса...

Приказ звал вперед, приказ придавал силы. Нужно было арестовать этих двуногих волков. Нужно было, чтобы они, и другие похожие на них знали: ни один... не отсидится ни в какой берлоге, не уйдет от кары... Суд воздал должное Терентию и Владимиру Ивановым...

После этой встречи с Собеседником, Автор часто думал о ненависти, тревожился мыслью, что ее в «Моли» слишком много. Ну и что ж, успокаивал себя Автор, жизнь есть жизнь!

«Да, ведь, так говорил Собеседник», — вспомнил Автор и с некоторой нервностью стал перебирать свои старые записки.

Вот был Костя Туровец — наивный идеалист, комсомолец, «персональное дело» которого, в общем, закончилось благополучно: строгим выговором с требованием повысить классовую бдительность и идейно вооружиться.

Костю оставили на том же строящемся в Омске заводе. Он работал самоотверженно. Да по-другому он и не умел ра-

ботать, этот крестьянский сын, мечтающий, в конце концов, попасть в университет.

Что из того, что он оказался в совершенно чуждом ему мире и под вечно наблюдающим и косым взглядом комсомольцев? «Они — это они, я — это я», как-то сказал себе Костя Туровец. В этом не было ни пренебрежения, ни озлобления. Он им всё прощал. Он оправдывал их, и от души жалел их так, как можно жалеть родного, очень несчастного и навсегда потерянного брата.

Чувство утраты связи с комсомольцами всё крепло и крепло и, наконец, превратилось в сознание полного одиночества. Угнетало ли Костю Туровца это одиночество? Вряд ли. Он уже привык думать о себе страницами множества прочитанных книг, которые объяснили ему его отчуждение от действительности.

Отчужденным он и встретился с девушкой Валей.

Автор не считает нужным объяснять, как произошло их сближение. Оно, возможно, было вызвано стремлением Кости найти моральную поддержку, чей-то отклик на его нравственные переживания. А может быть и сама Валя нуждалась в том же самом?

Что ближе к истине, Автор не берется судить, хотя склоняется к выводу: Валя и Костя нашли друг друга.

Так для себя решив этот сложный вопрос, Автор — по давним своим заметкам — будет говорить — —

О ДРУЖБЕ КОСТИ ТУРОВЦА С ДЕВУШКОЙ ВАЛЕЙ

— Ты меня жалеешь, Валя, — сказал Костя Туровец. — Очень меня жалеешь, и потому хочешь, чтоб я стал таким, не чужим всем, более подходящим. А знаешь, что я думаю? Ну, вот, стану я таким подходящим. Тогда что? Меня уже не будет. То есть, я буду, но . . . но не тот я буду, Валя. Не хочу я быть таким, как наш секретарь Карпенко! — крикнул Костя. — Не могу! Они требуют: читай Ленина, Демьяна Бедного, наизусть заучивай цитаты из Маркса. Остальное — долой с корабля современности! Разных там Тютчевых, Достоевских. Достоевского, Валя, они отвергают, он вызывает панику, они его ненавидят. И что самое подлое — эту ненависть к нему прививает не только Сталин. Максим Горький прививает эту ненависть. Это Горький — тот самый «буревестник», и тот самый, что в «На дне» деклариро-

вал: «Человек — это звучит гордо», тот самый Горький поучал советских писателей: «Достоевский — эгоцентрист, тип социального дегенерата, ненасытный мститель за свои личные невзгоды» . . . Горький доказывал, что Достоевский «индивидуалист, вместивший в себя характернейшие черты и Фридриха Ницше, и Бориса Савинкова, и Арцыбашева» . . . «Достоевскому, — это опять слова Горького, Валя, — Достоевскому приписывается роль искателя истины. Трудно понять, что искал Достоевский, но в конце своей жизни он нашел, что талантливый и честнейший русский человек Виссарион Белинский — «самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни» . . . Достоевского очень легко представить в роли средневекового инквизитора . . .»

— Как-то я, Костенька, попросила нашу библиотекаршу дать мне «Бесы» или «Братья Карамазовы», а она . . .

— Она замахала на тебя руками и посоветовала нигде о Достоевском не заикаться? — усмехнулся Костя Туровец. — Мне мой учитель то же самое советовал и . . . и из своих книжных сундуков вынимал Достоевского, такое дешевое издание, приложение к журналу «Нива», и я ночами сидел, не замечая времени. Достоевский, Валя, это страшная сила. Достоевский их разрушает. После Достоевского только и можно понять *диалектику* насилия и порабощения. Порабощения физического и нравственного.

— Я слушаю, Костя . . .

— Помнишь мой рассказ о встречах с кулаком Быковым? Вот однажды Быков попрекнул меня, что я служу неправде. «Как так?» — спрашиваю. А он, Быков, отвечает: «Потвоему нет греха перед человеком за преступление, сделанное ради будущего блага, обещанного всему народу в вашей программе» . . . «Слушай, — говорю я Быкову, — тут ты уже не собственное свое выкладываешь. Ты всё это вычитал в какой-то запретной книге». — «А я, — отвечает Быков, — не мог ничего вычитать. Я, понимаешь, неграмотный. Тебе я такое сказал от своих думок. В думках этих разберись сам».

— А ты что? — спросила Валя.

— Я? Действительно, принялся я что-то такое толковать. О будущем благе. А Быков (это уже потом, через неделю, что ли, после того, как я убедился, что Быков совсем неграмотный), Быков мне и объявил: «Мое дело конченное. На вашем строительстве я и помру, и кинут меня, как и других врагов, в общественную яму. А вы и дальше будете агитировать о «будущем счастье». И ты будешь! Только поче-

му — не понимаю. Ведь ты знаешь, что к тому будущему вы тащите человека. Гоните его, этого вашего *нового* человека, всё вперед и вперед, по столбовой дороге к коммунизму, по обочинам которой всё могилы и могилы. Вот так-то вдоль могил и шагают умирающие, вроде меня».

— А ты что? — опять спросила Валя.

— Жутко мне стало, Валя. Ну, кто был передо мною? Неграмотный мужик. Уже было видно: конченный он. Еще месяц. И всё. А стоял он как древний проповедник. Или пророк, знающий концы и начала, и имеющий право говорить об этом. Но как он говорил, Валя! Я тогда слушал и жалел, что тех, быковских, слов, Валя, в подлинности не смогу сохранить в своей памяти. Вернувшись домой я попробовал, Валя, записать их в свой дневник. И записал. Да только настоящего, сказанного Быковым, в моем дневнике всё-таки нет. Похожее — есть. О том, что *наша* цель — это земля, превращенная в пустыню, что *наша* свобода — это ветер над пустыней. И не один ветер, а ветры, кидающиеся из края в край без задержки. А в самой пустыне зверем будут подкрадываться друг к другу два человека. Они сойдутся, не зная, что сошлись *последние* два человека, чтоб прикончить саму жизнь. И прикончат. Без мысли, что теперь уж действительно всё, что тишина и порядок — после них — наступит на веки вечные. Таким последним и окончательным порядком утвердится наше *счастье*. Ну, чем не Апокалипсис, Валя? Так я думал тогда, а потом, в каком-то даже испуге, Валя, отодвинулся от Апокалипсиса и лицом к лицу столкнулся с Достоевским. Чего мне было пугаться, Валя? Я с ним знаком через моего учителя, Валя, который мне давал книги Достоевского. Но о том, что я *понял* Достоевского, я догадался, Валя, только после разговоров с неграмотным кулаком Быковым. Это его слова вызвали Достоевского на встречу со мною, а когда встреча состоялась — ожила для меня и для меня реальностью стала ранее лишь умозрительно воспринимаемая Легенда о Великом Инквизиторе, легенда, в которой рационалист и мыслитель Иван Карамазов соблазняет чистую душу своего брата Алеши Карамазова. Алеша в смятении. Да и как было не смутиться светлой его душе, хитро и кощунственно поставленной перед трагическим выбором: чью истину принять? Христову, или другую, противоположную, о которой говорил Великий Инквизитор, или, иногда, за него всё разъясняющий, всё объясняющий Иван Карамазов? Перед тяжким испытанием стоял Алеша Карамазов. По Достоевскому, Валя, колебания Алеши, со-

мнения, муки неверия — всё это естественно для души, верующей в учение Христа. В муках неверия, через неверие — Алеша с Христом. Знаменательно? Да. Через сомнение — к утверждению правды Христовой. Но в Легенде о Великом Инквизиторе — не только это. Кто он — Великий Инквизитор? Если его толкователь Иван Карамазов — рационалист, соблазнительно выворачивающий слова Великого Инквизитора, то сам Великий Инквизитор — это уже категория абсолютного материализма, знающего все тонкости психологии своего материалистического учения. Есть учение и есть учитель. Есть и ученики. И ведь бывает же такое, Валя, что ученики истерически ненавидят своего учителя. Почему? Да очень просто: ученики хотят утвердить свое собственное гениальное учение, отрекаясь от учителей. У них — не было учителей! Они — учителя! И потому, Валя, мне кажется, и воспоследовал приказ Сталина спрятать от людей Достоевского, чтоб не увидели люди в Сталине рабское подражание Великому Инквизитору. Великому Инквизитору мешает Христос. Великий Инквизитор, обращаясь ко Христу, говорит: «Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а, стало быть, нет и греха» . . . А помнишь, Валя, о чем толковал неграмотный Быков? О том же самом, и еще о том, что в нашей *программе* — дорога в будущее, что только мы — авторитет, мы — творим чудо: нового человека завтрашнего дня. Без Христа. Давай, Валя, вернемся к Достоевскому. У него Великий Инквизитор говорит Христу: «Мы в праве учить их, что не свободное решение сердец их важно́, и не любовь, а тайна, которой они должны повиноваться слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг Твой, и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько му́ки» . . . Слышишь, Валя, вот она — проповедь антихристианского материализма! И диалектика! Непреложная, проистекающая из этой проповеди. А сама-то проповедь . . . Слушай, Валя, что говорил Великий Инквизитор: «Кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы . . . отвергли Тебя . . . Мы убедим их, что они только тогда и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя.

Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят их перед такими чудесами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: 'Да, вы были правы, вы одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от самих себя'. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но, воистину, более чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! То, что я говорю Тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе: завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя».

— Что же это такое, Костенька? — в ужасе прошептала Валя.

— Это . . . Это диалектика. По Великому Инквизитору.

Растерянная, уходила Валя к себе, в свое комсомольское общежитие, чтобы там, в красном уголке, во время чьего-то очередного доклада, голосовать за резолюцию со словами любви и преданности. В тот самый момент, когда все и единогласно поднимут руки «за», она вспомнит о своем Косте, в тоске воспроизведет его рассказы, будет гордиться им, таким чужим и чуждым миру, в котором приходится жить и ему и ей.

Он . . . Да, он знает Достоевского, Тютчева, Толстого. А она? Ей так хотелось читать те же книги, которые держал в руках Костя. Эти книги заставляли его ненавидеть ложь и стремиться к чему-то возвышенному, к светлому, ко времени, когда не будет послушного человеческого стада. «Стадо, — шептала в одиночестве Валя, — послушное стадо зажжет костер, после которого . . .»

Она даже не могла себе представить, что произойдет потом. Перед ее глазами был всего-навсего привычный ей огонь костра.

«Надо будет спросить у Кости», — думала она, подгоняя понедельники и вторники, чтобы приблизить тот выходной день, когда можно будет встретиться с Костей.

Как раз перед этим выходным днем кулаки из пятого и шестого бараков отказались выйти на работу. Нет, они не бунтовали. Они просто сидели на своих нарах и на уго-

воры присланных активистов отвечали угрюмым молчанием.

Тогда их лишили пайка. Это тоже не помогло.

На третий день на заводе появились сотрудники НКВД. После совещания с партийным комитетом и дирекцией было решено провести «собрание сидячих забастовщиков». Заодно был составлен и список тех, кого надо «изъять». Не сразу, не чохом, постепенно, в порядке «передвижки кадров».

— В первую очередь надо ликвидировать кулака Семена Быкова. От него всё идет, — сказал секретарь партийного комитета Карпенко.

— Ты так думаешь? — спросил уполномоченный НКВД. — Я этого Быкова помню. Такой! Неграмотный старик.

— Да, — подтвердил Карпенко. — Неграмотный. Если бы все грамотные были такими, как этот Быков, тогда . . .

— Что «тогда»? — угрожающе бросил уполномоченный. — Договаривай!

Карпенко помялся, но потом всё ж таки сказал, что если бы на строительстве все были такими, как Быков, то никакого бы строительства не было.

— Вот как?! — удивился уполномоченный. — Тогда . . . тогда пойдем, посмотрим. Поговорим с пятым и шестым бараками. И с этим Быковым. А там видно будет.

— Правильно, товарищ уполномоченный, — согласился Карпенко. — Я даже думаю, что неплохо бы взять с собой, для этих разговоров, такого одного комсомольца, Костю Туровца. Ему уже записали «строгий выговор» по персональному делу, за связь с кулаками. Заодно проверим Костю Туровца. Как он перестроился. А то он, этот Туровец, много болтал с Быковым, и даже считает, что старик прав.

— В чем прав? — спросил уполномоченный.

— В том, понимаете, что нельзя так *строить*, то есть при помощи насилия, угнетения и . . .

— Это Туровец говорил?

— Да.

Уполномоченный вынул записную книжку и что-то в ней отметил. Потом приказал:

— А теперь идем. Заодно, товарищ Карпенко, прихвати с собой Костю Туровца и несколько активистов комсомольцев. Понял?

Через полчаса они уже были в бараке «сидячих забастовщиков».

— Мы пришли к вам для разговора, — сказал директор. — Хотим выяснить ваши претензии. Что надо — учтем, ста-

рики, сделаем по закону. А про вашу вражескую забастовку забудем. Без никаких репрессий, тихо всё и мирно произведем. Потому что цель наша — вас перевоспитать, вернуть к честной трудовой жизни. Вот тут сегодня и товарищ уполномоченный НКВД и представитель крайкома партии. Они всё учтут, выяснят и уладят. Им вы можете говорить обо всех ваших жалобах.

Кулаки сидели, опустив головы.

— Так что же, граждане? — нервничая, закричал директор. — Чего молчите? Выходит, что претензий у вас нет? Так, что ли?

И опять никто из сидящих не шелохнулся и не произнес ни одного слова.

— Вы что? — стукнул кулаком по столу уполномоченный. — Забастовку думаете продолжать? Хотите сорвать выполнение государственного плана по созданию оборонного завода, которому трудящиеся решили дать имя нашего вождя товарища Сталина?

Уполномоченный вдруг остановился и как будто вспомнив что-то важное, нахмурил брови. Потом, уже почти спокойно, подошел к нарам, на которых сидел Семен Быков и сказал:

— Меня вы, может, и не знаете. Стесняетесь выкладывать ваши обиды. Так что сподручнее вам потолковать с Костей Туровцом. Он среди вас работал, знакомство с вами завел . . . вот, к примеру, с кулаком Семеном Быковым.

Костя Туровец растерянно оглянулся.

— Давай, товарищ Туровец! — приказал Карпенко. — Поагитируй!

К столу, за которым сидел директор завода, нерешительно подошел Костя Туровец и остановился, обводя взглядом мрачное барачное помещение.

По лицу Кости Туровца было заметно, что ему тяжело смотреть на людей, из которых он многих знал. В особенности мучительно было видеть старика Семена Быкова, недавно еще бодрого, а теперь сидящего неподвижно, с руками скрещенными на груди. Эти руки вернули память Кости Туровца к родной деревне, к могучим соснам на кладбище, куда он провожал в последний земной путь свою мать, лежавшую в гробу вот с точно так сложенными на груди руками. Потом, совсем неожиданно, Костя Туровец представил себе и своего отца и своего учителя Петра Петровича и сразу почувствовал себя как бы возвращенным в свой привычный, бедный, но такой уютный и добрый мир детства и

юношества. Но странное дело, это возвращение к прошлому не укрепляло его, не поддерживало, а, наоборот, лишало сил и, наконец, он покачнулся, и чтобы удержаться на ногах, должен был опереться на стол. Этого только как будто и ждал Карпенко. Подойдя к Косте Туровцу, он, как на обыкновенном собрании, с улыбкой даже, обратился к бараку:

— Так вот, граждане. Сейчас слово имеет комсомолец Костя Туровец, которого вы знаете. Мы — люди, понимаете, городские, рабочие. А Туровец — из деревни, из середняцкой семьи. Так что и подход у него к вам будет крестьянский, вам понятный. Конечно, вы — кулаки. Но Костя Туровец среди вас работал. Вы его знаете, да и он кой с кем из вас разговаривал, можно даже сказать, по душам. Ну, вот, с зачинщиком организованного сопротивления строительству завода . . . вот с Семеном Быковым.

Только в эту минуту Косте Туровцу стало понятно, что его заставили идти к бастующим кулакам не случайно. «Провокация, — подумал он, — подстроенная Карпенко», — и тут же заметил, как Карпенко многозначительно подмигнул уполномоченному.

Если совсем еще недавно Костя Туровец на что-то надеялся, то теперь увидел себя среди обломков чего-то и окончательно рухнувшего. Ему даже показалось, что сердце перестало биться в холодной и пустой груди.

Так, каким-то застывшим, он повернулся спиной к столу, за которым сидел директор, и направился к дверям.

Выйдя из барака, он бессмысленно долго петлял среди досок и бревен, иногда в недоумении останавливаясь, как человек, вдруг утративший способность ориентироваться среди привычных вещей.

В комнату своего общежития он попал далеко не сразу. Он, видимо, не поверил бы, если бы ему сказали, что он несколько часов бродил среди возводимых корпусов, прежде чем произнести «всё!» и очутиться перед дверью, за которой находилось его место на нарах.

«Вот сейчас лягу и засну, — подумал он, открывая дверь. — Сразу лягу и засну» . . .

Его встретили настороженные и враждой наполненные глаза комсомольцев. Им уже было известно, что произошло в пятом бараке, и потому они встретили его, как до конца разоблаченного предателя.

Косте Туровцу стало жалко этих, таких же, как и он, девятнадцатилетних сверстников, вместе с ним и голодавших, и мерзших, и самоотверженно работавших на строи-

тельстве завода. Им надо объяснить всё, подумал Костя Туровец, доказать, что он прав, что ошибаются те, другие, которые не любят людей. Они поймут, убеждал себя Костя Туровец, если честно сказать им об этом, если открыть перед ними душу. Уже готовый произнести первые, хорошие слова, он вдруг увидел, как распахнулась дверь и в общежитие вошли Карпенко и уполномоченный.

— Пойдем со мною! — велел уполномоченный.

— Товарищи! — невольно воскликнул Костя Туровец, протягивая руки к нарам, на которых сидели комсомольцы.

— Ты им не товарищ! — крикнул Карпенко. — Идем!

Они ушли... Оставшиеся в общежитии были уверены, что Костю Туровца они больше не увидят. Но глубокой ночью он вернулся. Кто-то задал вопрос:

— Чем кончилось, Туровец?

Костя Туровец не ответил.

А так как — точно в эти же самые дни — на долю Суходолова-Уходолова выпали великие переживания, то Автор и считает нужным восстановить — —

СОБЫТИЯ, РАЗБИВШИЕ ЖИЗНЬ УХОДОЛОВА И КСЮШИ

Автор уже давно предчувствовал, что надвигается гибель Ксюши, так радовавшейся своему маленькому счастью, негаданно ворвавшемуся в ее тяжелую, гиблую жизнь «поселенки». Об этом предчувствии Автор — сам для себя — записал в своих давних, теперь уже полуистлевших, заметках.

В этих заметках, признается Автор, о самой трагедии Ксюши и обо всем последующем говорится по случайным, отрывочным воспоминаниям тех, кто так или иначе знал о жизни Уходолова и Ксюши на севере Сибири.

Вот он — Уходолов... Он уже несколько лет работал на золотом прииске, попав сюда по «вербовке». Плотный, сильный — он стоял при драге, довольно примитивной, в вечном грохоте и грязи.

— Крепок, как дьявол! — одобрительно отзывался о нем начальник драги. — Сюда бы побольше таких!

Уходолов и действительно был вынослив. Его руки, управляющие движением черпаков, передававших «кашу» из грязи, земли и камней в решетчатый барабан для промывки «породы», казались железными и неутомимыми.

Его ничто не интересовало. Его дело было двигать «кашу» в крутящийся барабан, откуда транспортер уносил камни в отвал, а всё остальное подхватывала сильная струя воды. Напор воды был настолько мощный, что — так мог бы подумать посторонний наблюдатель — от «породы» ничего не останется. И действительно — ничего не оставалось, кроме золотой крупы.

Сколько ее там, этой золотой крупы, Уходолов не задумывался. У него была норма выработки. Он давал полторы нормы. Редкому это было по силам, и потому на него с удовольствием поглядывали даже частенько наведывающиеся сюда «вольные» лица в мохнатых пимах и оленьих малицах.

Все, и Уходолов конечно, знали, что «вольные гости» — сотрудники НКВД, в ведении которого находились не только лагеря, разбросанные по всему Северу, но и прииски, дающие золото.

Уходолов на этом неприметном ручье был одним из первых так называемых вольнонаемных, которые с геологами и мониторщиками из-подо льда подняли пробу «каши» и обнаружили в ней, бесполезно лежащую тысячелетиями, мелочь, пыль, едва приметные тусклые комочки металла. Валяйсь такая мелочь на Красной площади в Москве, на нее никто не обратил бы и внимания. Здесь же, на непрогреваемой солнцем земле, под небом, привыкшим смотреть лишь на крохотные серые кустики ягеля, тускло поблескивающие комочки обнаруженного металла заставили людей брать и брать «пробы», пока не появилась уверенность, что среди камней, песка и промерзшей глины время накопило откуда-то и невесть когда принесенное бурным течением золото.

Надолго ли хватит этого золотого запаса? Во всяком случае, пока он не иссякнет, будут стоять наспех слаженные избушки поселка. Потом? Что ж, потом бросят поселок, уйдут отсюда и драгеры, и мониторщики, и весовщики. Заключенных куда-то перегонят к другому ручью, а вольнонаемные, ну, такие мастера, как Уходолов, те передвинутся в иные места.

Трудолюбивым рукам Уходолова дело всегда найдется. Об этом мастере уважительно отзываются и начальник прииска и приезжающие «гости» в ладных пимах, совсем не догадываясь, что Уходолов — это бывший Семен Семенович Суходолов.

Да это и вполне понятно. Из жизни, как из книг, бесследно исчезают люди. О незаметно ушедших из книг помнят авторы, а имена прячущихся от жизни заносят в кар-

тотеки, хранящиеся в специальных архивах. Картотеки и архивы стареют, уступают место новейшим картотекам и архивам — бывшие уже утрачивают значение.

Уходолов, дающий полторы нормы выработки, отличный рабочий, так и прожил бы свою жизнь с любимой женой. Конечно, поглаживая ее левую, бессильную руку, он вспоминал бы и Решкова, и других, и Семыхина, в 1920 году прострелившего эту руку в Тамбовской губернии, во время расправы с крестьянским восстанием. Но вспоминал бы без особой злобы: что было, то ушло! Чего ворошить прошлое. Теперь он счастлив.

Уходолов мечтал. Вот пройдет еще годика два, он соберет достаточно денег, чтобы переселиться на «большую» землю, куда ему позволят, как знатному ударнику, забрать с собой и поселенку Ксюшу. Мечта Уходолова была вполне трезвая: многие и многие вольнонаемные, сами приехавшие на Север холостяками, нашли здесь, среди поселенок, жен и после долгих лет тяжелого труда — по закону получали право вывезти сложившиеся семьи.

Нет, из Сибири Уходолов не собирался уезжать. Он просто передвинется с Ксюшей куда-то к югу, к Байкалу, что ли, и там . . . там . . .

Об этом «там» они и говорили.

— Дал бы Бог, Сеня, — шептала Ксюша, — чтоб такое случилось. Поскорей бы, Сенечка, милый. Дитятко, ведь, мы с тобой ждем.

Уходолов гладил ее простреленную ручку с безжизненными пальцами и утешал:

— Вот погоди, Ксюша, еще год, и закроют наш прииск, людей куда-то перевезут, а мы с тобой вниз подадимся. За работу мою — тебе «вольную» дадут, а тогда, Ксюша, тогда заживем мы с тобою!

О будущем, о своем простом, обыкновенном счастье они толковали часто, и особенно много теперь, когда Ксюша ожидала «дитятко». И в этот вечер шел разговор о том же самом.

— Нам, Ксюша, — шептал Уходолов, — из Сибири трогаться не след. Тут я стал рабочим, тут я тебя нашел, тут и жизнь кончать будем. Потому там, на Бо́льшой земле, понимаешь, меня который может встретить. А я с тобой хочу *чистым* жить. Здесь меня никто не знает, никто не выдаст, никто пальцем не укажет.

— Истинная твоя правда, Сеня, — ответила Ксюша. — Что было — то похоронено. Теперь ты совестью живешь. А

за это, Сеня, много грехов отпустится. Верь мне, Сеня, всему доброму счет идет. А старое. Что ж? На старое ты не оглядывайся.

Так они переговаривались вполголоса, и Ксюше казалось, что шагает она к чему-то светлому и тихому, к большой радости. Радость была впереди, но до того близкая, что Ксюша вроде бы уже видела чудо: она, на своей правой здоровой руке баюкает ребенка и говорит своему Семену Семеновичу что-то веселое, смеется и говорит, погляди, дескать, Сеня, на мальчонку.

Она и в самом деле хотела засмеяться своим мыслям и, прижавшись к Уходолову, рассказать о них. Но не успела: под ударом чьего-то плеча распахнулась дверь и в освещенную керосиновой лампочкой комнатку ворвались двое с кольтами:

— Руки вверх, Суходол!

Жалобно вскрикнула Ксюша и бросилась на пистолеты.

«Вот так было и в 1920 году, когда она кинулась на чекистов, грудкой своей заслоняя отца мельника», — молнией мелькнула мысль, и мысль эта заставила Уходолова вскочить, чтоб своей грудью спасти Ксюшу. Уже готовы были вырваться слова: «Я — Суходолов», но выстрел помешал: с залитым кровью лицом Ксюша лежала на полу.

Уходолов сбил со стола лампочку. На мгновение наступившая темнота сменилась ярким светом. Разлившийся по полу керосин вспыхнул как будто для того, чтобы в последний раз показать Уходолову навсегда ушедшую из жизни Ксюшу, и кольт, почти прикасавшийся к его груди. Он вырвал этот кольт из чужих рук, и кольт, теперь ставший собственностью Уходолова, сработал безукоризненно.

Уходолов переступил через огненный ручей и вышел под северное небо. О себе он не думал. Когда порог уже был позади, мелькнула мысль о Ксюше, о ее незадачливой жизни и о не оправдавшейся ее мечте нянчить ребенка.

Над поселком стояла тяжелая и долгая северная ночь. Уходолов зашел за один угол, перебежал к другому и, наконец, выбрался на чуть заметную дорогу. Потом, видимо, через час или полтора, он пристроился к трактору, тянущему сани с грузом на какой-то отдаленный участок.

Сидящие на санях не обратили внимания на Уходолова. В тундре, да еще ночью, люди не спешат затевать расспросы.

Молчание длилось долго. Оно было нарушено чьим-то вялым голосом:

— Смотри, там, кажись, пожар.

Только теперь Уходолов обратил внимание, что сидящие на санях зябко поеживаются, кутаясь в лохмотья не то шинелей, не то одеял.

— Вы что? Зэка? — спросил он.

— Угу, — буркнул кто-то в ответ. — А там действительно пожар.

— И пусть горит, — захрипел рядом с Уходоловым простуженный голос. — Это, так я догадываюсь, на прииске номер пять. Начальник там, я слышал, сущая собака. Из людей жилы выматывает.

— А ты откуда знаешь? — спросил Уходолов.

— Откуда? — простуженный с хрипом, со свистом в груди, зашелся в натужном кашле. С трудом справившись с ним, ответил: — Об этом все знают. Одна только советская власть не хочет знать.

— А у нас, на Каменном ручье, — вмешался зэка, сидевший где-то сверху, — начальство само сожгло приисковую контору. Хищения, говорят, золота там большие были. Следы, значит, заметали и прятали.

— И спрятали? — поинтересовался простуженный.

— Того я не знаю. Нас отправили на Таймыр, в изолятор.

Все замолчали. Дальний пожар стал затухать.

«Это от керосина из нашей лампочки занялось», — подумал Уходолов и сказал:

— Сгорело.

Ему никто не ответил. Люди, натянув на головы одеяла, дремали.

Подождав еще немного, Уходолов соскользнул с саней и ушел в ночь.

Двигался он медленно. Потом вдруг остановился и не понимая, что с ним творится, во весь голос крикнул:

— Ксюши нет!

Никто не отозвался. Молчала тундра. Низкое и темное небо словно притаилось в ожидании. Сколько будет длиться это ожидание? Месяц или полтора? Уходолову пришла мысль, что северная ночь никогда не кончится и что дальше жить не стоит.

И действительно не стоит. Раньше у него была почва под ногами. Был старик отец. Потом — чудаковатый профессор богословия. А вот теперь последнее: Ксюша . . .

Ради нее он стал другим человеком. «Чистым», — как говорила Ксюша.

А сейчас? И вдруг он вспомнил, что короткой полярной весной приезжали на прииск «гости» в малицах и среди них

был один в темных очках и с черными усами. Усы шныряли по прииску, что-то вынюхивали, кой с кем вели таинственные разговоры и однажды (это совсем отчетливо представил себе Уходолов) очень пристально поглядели на него.

Как-то легко и просто Уходолов снял эти усы и очки и увидел перед собою Мохова.

— Ага, — простонал Уходолов. — Вот откуда всё идет.

Совсем недавнее признание, что без Ксюши дальше жизни нет, сменилось страстным желанием жить во что бы то ни стало. Для чего? Чтобы найти не только Мохова, Решкова, но и всех тех, кто стрелял в его Ксюшу на Тамбовщине в 1920 году, и кто здесь, у Полярного круга, убил ее, так и не родившую уже ожидаемого ребенка.

«Найду и посчитаюсь», — скрипнул зубами Уходолов, и почему-то вспомнил легенду, которую сложили о нем в *тайниках* Подола и Еврейского базара.

Легенда состояла в том, что у него *легкая* рука. Ему всё удавалось, и запутанные *дела* заканчивались благополучно. Потому, видимо, когда он порвал с Еврейским базаром и Подолом и под фамилией никому не известного Уходолова тронулся искать *свою* Ксюшу, у него была вера в то, что *легкая* рука вывезет и дальше, что он не *погорит,* и что не судьба ему заполучить кусок свинца в подвале чека или розыскную пулю в спину.

И вот он погорел. Где-то там, у Полярного круга, осталась мертвая Ксюша. Ксюши нет, и в ничто превратилось его стремление к какому-то маленькому, но своему и такому чистому счастью.

Убежденый в своем праве произвести расчет, он несколько недель, весь остаток долгой северной ночи, петлял по тундре и тайге, чтоб потом — к весне — прибиться к Томску и затаиться на правом берегу Томи, вглядываясь в далекие еще огоньки фонарей.

«Это около вокзала, — словно убеждая кого-то, сказал он себе и добавил: — Конечно, около вокзала» . . .

Осторожно двигаясь вдоль реки, он нашел заброшенную охотничью зимовку. Установив, что к ней давно уже никто не подходил, он забрался в шалаш и сразу почувствовал физически непреодолимую потребность отдохнуть. Даже не подумав о том, что можно развести огонь, он — без рассуждений — упал на кучу кедровых веток. Место оказалось удобным и, главное, совсем тихим.

Но стоило лишь ему уснуть, тут же восстановились события последних недель . . . Поднималось всё . . . Грязевая

каша с шорохом ползла в барабан драги. Барабан вертелся. На барабан как бы накручивалась кинолента, и чем больше накручивалась, тем всё яснее и яснее вырисовывалось теплое и радостное лицо Ксюши... В избе чуть-чуть мерцала небольшая керосиновая лампочка. Она давала света ровно столько, сколько надо. Свети она сильней, было бы хуже, не так уютно и... и вот рванулась дверь и на весь мир кто-то гаркнул: «Руки вверх!»

Уходолов вскочил с кедровых веток. В шалаш робко заглядывало раннее утро. В своей руке Уходолов увидел кольт.

Сунув пистолет в карман, Уходолов потер озябшие руки и покинул зимовку.

Часам к пяти вечера он попал на территорию станции и высмотрел готовящийся к отправке товарный поезд, сумел забраться в один из вагонов, груженных кедровым *кругляком*, отправляемым обычно на фабрики центральных областей.

Если поезд тронется сегодня ночью, рассчитывал Уходолов, то Урал он перевалит на третьи или четвертые сутки, и где-то там, за Уралом, оставит вагон и направится дальше.

Куда «дальше» и где это «дальше» — Уходолов не знал. Ему было известно лишь одно: он обязан двигаться *дальше*, пока не найдет тех, кого надо найти.

Когда поезд уже мерно отстукивал колесами, Уходолов вдруг почувствовал то, что психиатр мог бы назвать «вдохновением ожесточенности». Но таких слов Уходолов не знал. Он просто переживал то, чего никогда не переживал. Затаившись среди кедровых *кругляков*, он это жестокое вдохновение воспринимал естественным правом на убийство и даже видел созданный воображением труп красиво убитого Решкова, о котором будут долго говорить и объяснять, что так бывший чекист Суходолов, под конец захотевший стать *чистым* Уходоловым, расплатился за свою Ксюшу.

Вдруг, и совершенно непонятно почему, Уходолов вздохнул, оторвался от злых мыслей и почувствовал теплоту той душевной боли, которой он болел за Ксюшу, за своего отца тамбовца, за непонятного старика профессора Воскресенского. Но душевная теплота, вначале такая радостная, быстро ослабевала. Руки Уходолова стали вялыми. Голова клонилась всё ниже и ниже. Наконец, пришло решение, что без Ксюши он никому не нужен и неизвестно зачем доживает свои последние дни.

И всё же — это была лишь минутная слабость сильного человека. Уходолов выпрямился, шевельнул плечами и с привычной уверенностью сунул руку в карман. В кармане был кольт.

В конце концов Уходолову удалось покинуть сибирские просторы, перевалить за Уральские горы и где-то, под покровом ночи, распрощаться с кедровым кругляком, чтобы потом, добравшись до Днепра, окунуться в свою прежнюю жизнь в тайниках Киева.

Случилось это, конечно, далеко не сразу. Был даже такой момент, когда он серьезно задумался над вопросом: стоит ли возвращаться в Киев?

В сомнениях и колебаниях он прожил две недели в Вологде. Дни там тянулись бесконечно долго, а ночи заполнялись сновидениями, зовущими туда, к Полярному кругу, в поселок, в котором горел домик. В этом домике осталась Ксюша.

Уходолов просыпался и, проснувшись, долго смотрел в темноту и казалось ему, что всё прежнее — и выстрелы, и вспыхнувший на полу керосин из брошенной им лампочки — всё сейчас повторится.

Наконец, он не выдержал, и как-то ранним утром, поправив кольт в кармане, вышел на улицу, слился с рабочими, идущими на смену. Потом, оторвавшись от них, он попал на вокзал и втиснулся в переполненный вагон.

Дальше были пересадки . . . Были другие поезда, в которых Уходолов двигался на юг.

Автор обгоняет это движение, переносится на берега Днепра, чтобы рассказать — —

О ТОБАРИДЗЕ, АТАМАНЧИКЕ, ДРУГАСЕ, СТУПИЦЕ И ДРУГИХ

Тобаридзе попал в Киев после того, как отсюда — совсем неожиданно и навсегда — исчез Уходолов.

Никто в точности не знал, какая судьба привела Тобаридзе в эту странную и острую жизнь. Лишь по иногда бросаемым пристальным взглядам Атаманчика можно было догадываться, что ему известно о Тобаридзе такое, чего никто не знает. Но Атаманчик молчал, вместе со всеми удивляясь *особенностям* Тобаридзе, его умению говорить, играя глазами, в которых удивлявшее всех благородство могло сразу же смениться не рассуждающей свирепостью.

Окружающие Тобаридзе, даже не понимая почему так произошло, очень скоро признали его не только своим, но и главным, и поверили в него, как верят, что днем — светло, а ночью — темно.

А Тобаридзе? Он посмеивался.

— Вы слепые, — говорил он. — У вас был Уходолов, а вы его не разглядели. Я — что? Вернулся бы Уходолов, я бы ему в ножки поклонился и радовался бы ему. А вы передо мною пляшете.

Тогда кто-то, кажется Ступица, заспорил, сказал, что как такое можно думать о человеке, которого не знаешь и которого в глаза не видел.

— Я всё знаю, — махнул рукой Тобаридзе. — И потому кинулся к нему. Всё я знаю об Уходолове, — повторил Тобаридзе. — И вы знаете, да только вы не понимаете его. Судьбу его не понимаете! Для вас что? Финка — пистолет — мокрое дело — хаза — шалман . . . Вот и всё ваше тут! — говорил он, и трудно было понять, что это: насмешка или сожаление?

Очень часто говорил он, улыбаясь, такими вот малопонятными словами. Они никого не обижали. Наоборот, слушающим даже нравилось, что Тобаридзе посмеивается над ними очень элегантно, без паскудных слов, и до того душевно, что даже Ступица чувствовал себя каким-то другим и не совсем обыкновенным.

Как-то, всегда молчавший, Атаманчик пристально посмотрел на Тобаридзе и сказал:

— Видишь ли, Тобаридзе, ты не одинакий нам. Ты — особый. Ты, может быть, большой интеллигент. Об этом все наши догадываются и в тебя верят. Хоть и не знают, откуда такая твоя сила. А я вот знаю. Ты, брат, действительно стоишь того, чтоб перед тобой шапку снять! Ты такое сделал, что вряд ли другой который на то способен. И об этом таком, тобою сделанном, кой-кто знает. К примеру, тот же самый Уходолов, с которым, ты говоришь, тебе хотелось бы стоять рядышком. И еще один такой есть . . .

Тобаридзе — это была неожиданность для всех! — прищурившись, следил за шевелящимися губами Атаманчика и вроде бы что-то такое вспоминал. А когда вспомнил, то глаза его заблестели, посветлели, заиграли яркими точками.

— Уходолов знает? — спросил Тобаридзе. — Верно! А кто тот «еще один»?

— Нету Уходолова, — ответил Атаманчик. — Если б он был, он бы сам рассказал. А «еще один» . . . стоит ли о нем поминать?

— Уходолова, конечно, нет. А всё ж таки, кто «еще один»?

— Тот «еще один», — Атаманчик посмотрел в лицо Тобаридзе, — тот самый «еще один» — я.

— Ты?

— Точно.

— Как же так?

— Да так. Может помнишь, Тобаридзе, того . . . ну . . . особоуполномоченного по оперативным делам.

— Это кого?

— По фамилии Перно. Который любил сам вести допросы таких, как ты, Тобаридзе. Помнишь, как тебя схватили в Рязани? Тогда вот сам Перно приехал туда, чтобы доставить тебя в чека, на Лубянку, а по дороге, в вагоне за решетками, толковать с тобою. Перно любил разговоры с интеллигентами, чтобы потом, после душевной беседы, поглядеть, как расстреливают в подвале таких, как ты. Наедине с тобою сидел Перно в вагоне, окна которого были в решетках. Толковал. Даже смеялся. А что после смеха случилось . . . ну . . . об том ты сам получше знаешь, — закончил свою длинную речь малоразговорчивый Атаманчик.

— Гэй! — крикнул Ступица. — Чего язык прикусил? Мы тоже хотим знать, что такое сталось в вагоне после смеха!

Атаманчик передернул плечами.

— Чего такое сталось в вагоне — хотите знать? В вагоне на полу лежал Перно, а Тобаридзе . . . Где он был столько лет и как ему былось, не знаю, да только теперь он тут, с нами. Без Уходолова. А что такое в вагоне, после *смешных* разговоров с Перно, стряслось — спросите у Тобаридзе. Ему лучше об этом знать. Он, может, с тех пор еще тот же самый пистолет в кармане таскает. А с пистолетом, вы сами видели, он управляется ловко. Так что к Тобаридзе и поворачивайтесь.

И все повернулись к Тобаридзе, тут же вспомнив, что живет он под кличкой «Дикий Барин». Перед ними в самом деле был *барин*, ни на кого не похожий и никого не боящийся.

— Слышь, — попросил Ступица, — давай, выложи, как там в вагоне?

— Выложить можно, — засмеялся Тобаридзе. — Разговор у меня с Перно был тонкий. Понимаете? Он вез меня на расстрел. И беседовал. Обо всем. О политике и о смысле

жизни, той самой моей жизни, которая для меня, по предположениям Перно, закончится самое позднее послезавтра. Деликатный был обмен мнениями. И до того отвлеченный, что вы и не поймете! Довольно с вас и того, что Перно больше никуда не ездил и что его пистолет я и до сих пор храню на память.

— Да ты выложи главное, — опять впутался Ступица, — мы *историю* уважаем, как и что было. Ты не бойсь, Тобаридзе, что каких-то там умных слов мы не поймем. Они нам ни к чему, ты только выкладывай, а слова — они сами о себе дадут знать. Мы всё в точности сообразим. И политику и твою *отвлеченность* раскумекаем.

Тобаридзе, посмеиваясь, рассказал им обо всем том давнем. Говорил он даже с удовольствием, как будто бы ему самому приятно было вспомнить *историю*, которой — при случае — не грех повеселить других.

Он говорил, а слушающие как бы видели и тот вагон с решетками, и Тобаридзе, и сидящего перед ним страшного «оперативника» Перно.

— Перно угощал меня папиросами, — рассказывал Тобаридзе, — и хвалил меня. «Люблю, — говорил он, — таких, как вы, господин Тобаридзе, которые не боятся *стенки* и перед нею ничуть не бледнеют. Уважаю, — говорил Перно, — очень уважаю вас, прямо будет любопытно посмотреть, как вас доставят в подвал для *расчета*. Курите, — упрашивал Перно, — и расскажите, какие ваши планы на будущую загробную жизнь и почему вы так не любите партийную власть?» А я ему отвечаю, дескать, планов у меня пока что нет никаких, а что не люблю — это верно . . . «Планам вашим пришел конец, — говорил Перно, — это совершенно правильно. И по вашей же собственной вине, — говорил Перно, — вам бы, господин Тобаридзе, с вашей отчаянностью, — говорил он дальше, — только бы Ленину служить, а вы наоборот . . . На чем вы, господин Тобаридзе, и прогадали. И о чем можете пожалеть» . . . «А мне жалеть нечего, — отвечал я Перно. — Вот вы везете меня, а вам надо было бы меня там, на месте, в Рязани в расход пустить. Там, где я ошибку сделал: не рассчитал патронов. Вот об этой ошибке я действительно жалею» . . . «Это вы считаете за ошибку? — засмеялся Перно. — Эту ошибку мы поправим в подвале. Там у нас патронов хватает. А всё ж таки на мой вопросик не ответили. О чем таком жалеете? Сообщите, а слова ваши я приобщу к делу. Для полноты, так сказать, следствия и для удовольствия 'тройке'. Понятно?» «Вам нужны мои сло-

ва? — спросил я. — Хорошо . . . Ну, вот вы забрали всё, взамен всего сунув облагодетельствованному вами народу отпечатанную на газетной бумаге инструкцию о грядущем счастье. Счастье, по инструкции, коммунизм. С питательными пунктами, с красными уголками, где коллективно будут петь песенку «Ленин — наше знамя. Сталин — наш отец». Это мне не нравится. Я не люблю, чтоб меня обманывали. Я — против абстрактного искусства. Я нормальный человек. Я не толстовец. За оторванную руку я оторву голову?» Вот я выкладываю такой символ веры перед этим Перно, а он радуется, смеется, ему всё это по душе. Он даже стал мне подмигивать, хотя глаза у него, понимаете, такие мутные и вроде бы неподвижные. Ну, вот он подмигивает и вдруг, перейдя на «ты», говорит: «Ты прав! Обманывать ерундой, абстракцией легче всего. Ты согласен?» «Согласен, — торжественно ответил я, — на сто процентов! Правильно: всё абстракция! И вы, и я, я даже думаю, что и сама по себе абстракция — тоже абстракция. Так что и говорить больше не о чем». Перно захохотал. «Шутник ты, — говорил он, — большой и отчаянный шутник. И мне будет занятно посмотреть, как ты станешь к *стенке*. О стенке ты думаешь?» «Об этом, — ответил я, — чего мне думать. Об этом вы думаете, так что мне и голову не стоит ломать. Лучше — курить». И я действительно курил и вдруг удивил меня торчащий из кармана Перно пистолет. Вот это не абстракция, сказал я себе, и страшно заволновался, вот, думаю, одна единственная реальность. Стоит только изловчиться и получить пистолет, и будет убита абстракция, и всё станет простым и понятным. Где-то будет подниматься пшеница над полем, кто-то песню споет, ну, а я сам . . . что ж, может быть и мне доведется самому срывать листки моего календаря, не мучаясь, что он становится всё тоньше и тоньше. О таких моих мыслях не догадался Перно. Он сидел против меня и не успел сообразить, что он уже мертв.

— Вон как дело было! — воскликнул Ступица. — До чего жалко, что об такой истории не узнает Уходолов. С чего ты сразу сюда не кинулся?

В том мире, в котором они жили, нужен хозяин. Таким хозяином был Уходолов. Его уход разрушил их спайку, организованность, порядок.

В Тобаридзе они увидели достойную замену, и без всякого сговора, инстинктивно потеснились и выпустили его вперед, признав за ним право приказывать.

В то время, когда Тобаридзе уже был *хозяином*, произошел случай, не вспомнить о котором нельзя. Внешне пустяковому, этому случаю суждено стать той чертой, за которой уже начиналось движение к развязке.

Тобаридзе редко появлялся на Подоле и почти никогда не заглядывал в потайной *шалман* Булдыхи.

Как-то у Булдыхи сидели Атаманчик, Ступица и еще кто-то, на кого хозяйка поглядывала искоса, а потом и прямо сказала:

— Чего вы сюда *этого* привели?

Ступица собрался ответить, но не успел: вошел Тобаридзе и, кивнув на незнакомого, спросил:

— Кто такой?

— Другас, — неуверенно проговорил Ступица. — Вроде как бы наш, *свой* . . .

— Вроде бы? — Тобаридзе повернулся к Булдихе: — Видишь, дорогой гость у тебя!

— Да занимай место! — засуетилась Булдиха, не понимая, кого считать «дорогим гостем»: то ли Другаса, то ли Тобаридзе?

Когда Тобаридзе сел на диван, Булдиха придвинула к нему ломберный столик — знак особого уважения.

— Гости у тебя новые, свеженькие, а ты сама . . .

— Что сама?

— Да так. Запаршивела ты. Да и всё твое оборудование, и вообще . . . не та ты уже стала, — говорил Тобардзе, щелчком сбивая со столика приставшие к лаку лимонные корки.

— А ты как думаешь? — со злобой затрещала старуха. — Время идет. По дороге к коммунизму, понимаешь, всё паршивеет! Вот и на тебя посмотрю, чего-то красоты-перелести в тебе мало обнаруживаю. Так себе. Вчерашний мундир. Уходоловский!

— Ты брось об Уходолове трепаться! — стукнул кулаком по столу Тобаридзе. — О нем песни надо складывать! Он, понимаешь, враз и окончательно сыграл своею жизнью, будто рубль-целковый бросил на кон. Не так, как другие. Правда, Другас?

Ступица и Атаманчик удивились, почему Тобаридзе обратился не к ним, а к совсем новому, к тому, кого он даже не знал.

— Ты молчи, — сказал Тобаридзе, внимательно разглядывая Другаса. — Мне твоих слов не надо. Только запомни: Уходолов не зря разыграл свою жизнь. Так что можешь выпить за упокой его души.

Тобаридзе поднялся и ушел. Когда за ним захлопнулась дверь, Булдиха развела руками:

— Вот это да! Не пара вам всем. Вишь, приказал пить за упокой души Уходолова . . .

И они действительно пили. Но как-то скучно, без разговоров.

Где-то около полуночи кто-то стукнул условным сигналом. Булдиха всполошилась.

— Может облава? Смывайтесь!

Они нырнули к запасному выходу. Это был даже не выход, а низкое, на уровне земли, небольшое окно, заложенное кирпичами, а с внешней стороны заваленное разным мусором.

Притаившись, вытащив пистолеты, они прижались к стенке. Когда звякнул засов, они услышали тихий вскрик Булдихи.

От стены оторвался Атаманчик и с пистолетом в руке пошел на шум.

Перед Булдихой стоял Уходолов.

— Сеня, — прошептал Атаманчик, — Семен Семенович! Да это же просто невозможно . . .

— Что невозможно? — обнимая его, спросил Уходолов.

— Да всё. Вот сколько мы о тебе говорили, даже совсем недавно. Я, значит, говорю о тебе, как о живом, говорю о живом Уходолове, а про себя думаю, что нет тебя и никогда не будет. Говорю, сам себя обманываю, что живой ты, а вижу тебя таким . . .

— В расход списанным? — подсказал Уходолов.

— А ты вот здесь, Семен Семеныч! Вроде бы совсем такой, как прежде, — шептал Атаманчик, разглядывая Уходолова. — Такой ты, как прежде, Сеня, и . . . нет, другой ты, окончательно иной. Что с тобою было?

Уходолов прижал к себе Атаманчика и сказал:

— Иной — это верно. Другой я стал, а что было со мною, Атаманчик, об этом тебе всё до конца выложу. После. А сейчас, смотри, вот и Ступица . . . и вроде бы даже трезвый, — усмехнулся Уходолов. — Давай руку, Ступица!

Обнял Уходолов Ступицу, а потом спросил:

— А это кто?

— Ну, это Другас, — ответил Ступица, — новый у нас. А вот ты увидишь, Уходолов . . . такого увидишь . . . Вот это да! Окончательно интеллигентного. Дикого Барина увидишь. Он, понимаешь, тебя не знает, Уходолов, а любит тебя, об тебе приказывает песни складывать. Вот он какой,

этот Дикий Барин. А по фамилии совсем чудоресный! Тобаридзе. Прямо герой кавказский!

— Тобаридзе? — повторил Уходолов и зажмурился, словно вспоминая о чем-то. Потом открыл глаза, повернулся к Атаманчику и переспросил:

— То-ба-ри-дзе?

— Тобаридзе, — подтвердил Атаманчик.

Тут можно было бы добавить строчки о том, как Уходолов опять вошел в свою прежнюю жизнь и занял в ней свое место. Всё это произошло легко и естественно, и потому Автор опускает эти строчки, чтобы сразу перейти к знаменательному событию, — кстати, по времени совпавшему с возвращением Уходолова в мир Атаманчика и Ступицы, — которое покажет — —

ДВИЖЕНИЕ РЕШКОВА К СВОЕЙ ГИБЕЛИ

Трудно отказаться от мысли, что случайное совпадение торжеств в связи с пятидесятилетием со дня рождения Сталина с обычным, ни в какой истории не отмеченным, тридцатилетием Леонида Николаевича Решкова, имело самое непосредственное отношение ко всему последующему, к событиям, быстро приближавшим тот *эпизод*, после которого уже исчезнет нужда говорить о Решкове.

Юбилею Сталина предшествовало, в частности, награждение многих чекистов. А так как орденом был отмечен и Решков, то кто-то и установил «историческое совпадение» двух дат: дня рождения великого вождя и дня рождения Леонида Николаевича Решкова.

Поздравления с орденом и с «историческим совпадением» закончились тем, что Решков устроил вечеринку, пригласив к себе Председателя и нескольких очень видных сотрудников.

Приглашенные заполнили квартиру Решкова в точно установленный час.

Было много шума, оживленных, откровенных, полупьяных разговоров с бахвальством, с тостами в честь вождя и строительства «нового мира».

Пировали долго.

Под утро, когда за последним гостем закрылась дверь, Решков остался один в своих комнатах. Сразу наступившая тишина, так показалось Решкову, бросила его в безнадеж-

ную, бессмысленную пустоту, наполненную густым табачным дымом.

« И это всё? — с недоумением спросил себя Решков. — Дым — и больше ничего?»

Решков оглянулся. Бутылки на столе и стаканы с остатками розоватого вина, пятна на скатерти и тарелки с закуской — всё это выглядело не настоящим, фальшивым, как в неумело построенной декорации к пьесе, изготовленной бездарным драматургом.

Об этом подумал Решков, обведя глазами пустую комнату, в которой еще так недавно было и движение, и смех, и живые люди.

Он представил себе этих *живых* людей, пивших, гоготавших, похвалявшихся своей работой с такой жуткой откровенностью, как будто речь шла не о чьих-то жизнях, обрывавшихся в подвалах Лубянки, а о слизняках, случайно подвернувшихся под сапог.

Его гости уже, вероятно, добрались до своих постелей и уснули. А вот он сам, точно такой же, как они, стоит посреди комнаты, разглядывает остатки закусок на столе и думает о том, что здесь, в табачном дыму, висят еще и слова и смех, особенно раскатистый, когда заканчивались рассказы начальника секретно-оперативного отдела или следователя по особо важным делам.

Да, конечно, смеялся и он, Решков. Вспомнив о своем смехе, он невольно восстановил картину того, что тут происходило совсем недавно.

Вот здесь сидел начальник оперативного отдела, изображая ярославского мужика-бородача, не побоявшегося на допросе заявить: «Ты пойми такое. Ты мне шьешь контрреволюцию и поставишь к стенке за антисоветскую агитацию. Ты уже записал, что я враг той счастливой жизни, к которой ведет партия. Ты это доказал, а я, значит, сознался. К тому моему сознанию добавь: если б о счастье человеческом перестали толковать на съездах и счастье объявлять в программе устройства земного рая — полегче жилось бы человеку».

Над философией ярославского мужика дружно потешались.

А вот здесь сидел следователь по особо важным делам, только что закончивший «дело профессоров».

— Враги признались, — говорил следователь. — Только философия их была посложней ярославца. Они — враги идеологические. Они — против диктатуры пролетариата.

Они утверждали, что пролетариат тут ни при чем, что партия, прикрываясь такой диктатурой, стремится создать духовно жалких рабов, этих рабов выдавая за «нового человека». «Нового человека», — заявляли профессора, — никогда не будет. А старый человек, естественный продолжатель рода человеческого, тяжело болен болезнью, насильственно привитой ему. Это — болезнь духа. Чтобы покончить с этой болезнью — надо начинать издалека. Для лечения — нужно много времени: надо лечить не болезнь — говорил Боткин — надо лечить человека.

Хохотали над профессорской философией. Хохот поддерживал и он, Решков, а вот сейчас, наедине с самим собою, злобно улыбался над самим собою, над всей своей изуродованной, дикой жизнью, наполненной ложью.

Странная это была улыбка. В ней была ненависть к тем, с кем он пил за здоровье вождя, презрение к себе и ко всему тому миру, в котором он жил. Чувство презрения и ненависти усиливалось еще и сознанием, что он, Решков, видел лгущим не только себя, но и всех, сидевших за этим столом.

«Подожди, — вдруг сам себе сказал Решков, — кто это первым потянулся ко мне с дурацким поздравлением по поводу 'исторического совпадения' дней рождения, заодно напоминая об изменнике и предателе Суходолове?»

Решков потер пальцами виски, но так и не смог решить, кто первый начал разговор о Суходолове. А может быть такого разговора и вообще не было? Эту мысль он тут же отбросил, вспомнив реплики, в которых мелькало имя Суходолова-Уходолова . . . А потом . . . Да, потом сам Председатель усмехнулся и сказал:

— Дельный у тебя был помощник, Леонид Николаевич.

— Такой дельный, — добавил кто-то, — что до сих пор взять не можем.

И опять смеялись и грубо и нехорошо издевались над чужими судьбами, вспоминая «потешные истории» на допросах или в подвале.

— А ты о чем таком размышляешь? — спросил Председатель. — Чего всё время молчишь?

Решкову надо было на эти слова ответить шуткой или поднять рюмку за веселящихся гостей. Этого он не сделал, оглядел стол холодными глазами и равнодушно, словно беседуя с самим собой, сказал:

— Чего молчу? Знаю, да только трудно это объяснить ... вот это самое молчание. Вы упрекаете меня и пальцем показываете: смотрите, какие все оживленные и милые, рта не закрывают. Слова так и сыплются. А я — для вас — скучный и молчаливый. Верно! Как верно и то, что всегда я с вами и вечно ваш. А что молчаливый? Примите меня таким, какой я есть. Или откажитесь от меня. И это, может, самое правильное было бы. У меня вечно болит голова. Может быть потому, что я действительно и безнадежно болен. А может быть и от стука сухих, мертвых слов, падающих кругом. Не знаю. Не буду оправдываться. Это очень трудно. А что молчу ... Я, знаете, причислился к людям, догадавшимся, что они всё свое уже выложили и дальше говорить стыдно. Так что лучше всего думать о том, что и как обо мне сказали бы совсем-совсем другие.

Кой-кому такое высказывание не понравилось и кто-то язвительно напомнил, что первой жертвой Уходолова стал отличный тайный агент Семыхин, сожительницу которого, совсем недавно и непонятно для чего, допрашивал Решков.

— Допрашивал, — согласился Решков. — Больше десяти лет прошло с того дня, как вышел из игры Семыхин. Я не знаю, кто подсылал другого агента к Варваре. Ну ... Ловшина. Ловшин присватывался к ней, понимаете: задание! — чтобы через нее раскрыть связь исчезнувшего Суходолова с кем-то ... Может быть даже в Москве. Об этом я тоже интересовался. И допрашивал Варвару. А она ... «Такой допытчик, — говорила она, — уже был у меня. Он пусть тебе и доложит». Я ей, дескать, ладно, говорю, а как же всё-таки дело было с Ловшиным? «Просто всё было, — ответила Варвара, — и вот что меня удивило, ты только послушай. Удивило, понимаешь, не то, что я его вышвырнула вон, а то, что он окончательно не мне даже, а и никому не нужный. А о тебе я скажу, — тут Варвара подняла брови и глазами, ставшими очень острыми, посмотрела на меня и как о чем-то давным-давно решенном, спокойно сказал: — Так что и тебе пора кончать. Понял?»

— Поковырялся, значит, в прошлом? — опять прозвучала чья-то язвительная реплика.

— Да, — ответил Решков. — Время устремлено не только в будущее, но и в прошедшее.

— А настоящее зачеркиваешь? — уже с другого конца стола раздался ехидный вопрос. — Зачеркиваешь величественное строительство, все наши надежды ...

— Надежды? — перебил Решков. — Надежды... Где они? Мы — реалисты, все вопросы решаем пулей.

Конечно, надо было прекратить, замять этот опасный разговор, но остановиться он уже не мог. Как человек, сорвавшийся с кручи, не думает о том, что вниз, на камни, тянет его сила Земли, так и Решков рванулся к призраку правды без вздоха, без размышления, что настоящая правда — для него — те же самые смертоносные камни.

И вот теперь, когда уже разошлись гости, Решков даже с некоторым любопытством разглядывал самого себя таким, каким он был два или три часа назад, за этим же самым столом. Потом он совершенно спокойно отбросил «два-три часа» и с неожиданной гордостью признал, что всё это началось не сегодня и не вчера, а когда-то в прошлом. Может быть даже сразу после того, как ушел от него Суходолов — этот честный, душевно красивый и как будто бы зовущий к себе крестьянский сын. А может быть и после того, как в последний раз он встретился с Ириной, пожал ее руку, услышал ее голос и — затем — отказался взглянуть на мертвую дочь полковника Мовицкого. А может быть... и тут перед Решковым тенью поднялась «пророчица», молодая, сумасшедшая женщина. Ее уже нет, ее когда-то «ликвидировали» за жуткие предсказания того, что случится после Ленина. Но она вроде бы стоит перед Решковым. Она пошатывается, бормочет, не обращая внимания, что с ее плеча сползает рваная кофта...

А он — тогдашний Решков — взглянул на ее обнаженную грудь со следами тяжелых синяков и спросил со смехом:

—Вон ты какая! Вперед всё знаешь и всё видишь. Вплоть до того, кому и какая смерть положена. Да?

— Да, — прикрывая избитую грудь, скороговоркой зашептала пророчица. — Да. Знаю. Знаю, что ты не сам себе расчет произведешь. Знаю, как решит тебя в твой окончательный день твой настоящий друг...

Обо всем этом вспомнил Решков в плавающем папиросном дыму. И думал о своем настоящем друге, верном крестьянском сыне Суходолове, теперь стоящем вне закона.

Возможно, тут кто-то упрекнет Автора. Автор, дескать, нарочито сгущает краски, чтобы бросить тень на «строительство нового мира». Автор, дескать, ненавидит и «строительство» и «строителей», а потому...

Автор уклоняется от полемики. Он просто продолжит свои записки и расскажет, как — —

СОБЕСЕДНИК ОЦЕНИВАЕТ НАСТОЯЩЕЕ

Автору уже не раз приходилось предупреждать читателя, что происходившие пикировки писателя Кулибина с Решковым по поводу некой, еще не написанной, книги, не пустой вымысел. Подобного рода столкновения Кулибина с Решковым случались, и довольно часто.

У Автора «Моли», то есть уже заканчиваемого *действа*, вобравшего в себя многие судьбы, пусть даже и спрятанные под выдуманными именами, тоже был оппонент, вечно брюзжащий, любящий заглядывать через плечо на строчки, выстукиваемые на машинке. Оппонент обладал большой памятью, был начитан, любил историю и, ко всему прочему, считал себя *диалектиком*. В общем, это был Собеседник, не стеснявшийся в выражениях и довольно упрямый в отстаивании своих, как он говорил, диалектических позиций.

Эти позиции, горячился Собеседник, помогают определить характер причин и следствий, в результате которых только и могла возникнуть, укрепиться и держаться на поверхности советская власть с ее диктатурой партии. Толкуя об этом, Собеседник упрекал Автора, что тот, с головой окунувшись в свои старые дневники и записные книжки, проходит мимо исключительно интересных фактов *сегодняшнего* дня, подчеркивающих неизменность системы, порожденной Октябрем.

— Вы вот, рисуя судьбы Атаманчика, Ступицы, Ошалкина и еще других, — наваливался Собеседник на Автора, — ворошите время ушедшее, разгребаете грязь годов минувших, ну, там, ленинских или сталинских. С чекистами, подвалами, концентрационными лагерями. А нынче? — допытывался Собеседник: — «Новый мир»? «Строительство»? «Новый человек»? Это — диалектика! Ленин создал чека, нашел лучшего якобинца Дзержинского и установил закон: каждый хороший коммунист — обязан быть хорошим чекистом. Сталин, наследник Ленина, продолжил дело Ленина, и всю страну превратил в чекистский подвал. Наследники Сталина совершенствуют чекистско-партийную машину и дробят человеческие кости. Цель? Можно, конечно, утешать себя мыслью, что Ленин и Сталин — сумасшедшие, шизофреники. Но цель, цель у них была совершенно ясная

и трезвая: им нужен был «новый человек», человек без имени, единица, растворившаяся в статистике. В статистике — нет личности, есть масса, охваченная психозом страха. Отсюда — дальнейшее. В молчащей стране можно делать всё, что угодно. Вплоть до строительства коммунизма. Это, ведь, не так и трудно. А чтоб было совсем легко — будет призвана на помощь коллективизация: она спишет «в расход» миллионы крестьянских жизней . . . как были «списаны» сотни писателей, вроде Гумилева, Бабеля, Ивана Катаева, Бруно Ясенского, Пильняка . . . как были «физически уничтожены» тысячи, многие тысячи Тухачевских и Якиров. Не будем гадать, такой ли точно вариант коммунизма предвидели творцы Октября, но вспомним гарантию, которую дал Ленин в двадцатых годах. Именно тогда Ленин заявил: «Поколение, которому 15 лет, через 10—20 лет будет жить в коммунистическом обществе». * Поколение сладость жизни при «коммунизме» испытало. Так что же, довольно экспериментов? Куда там. Воспоследовал приказ, уже поколению наших шестидесятых годов «жить в коммунизме» . . . Вы не слышали о такой обязанности? Она есть, она в 1961 году записана в их партийной программе. Вот в таких и совершенно четких словах: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Вы об этом не знаете, — ухмыльнулся Собеседник, — вы чересчур углублены в свои записки, заметки. А надо оглядываться и по сторонам, читать нынешние газеты, которые — непонятно почему! — перед празднованием пятидесятилетия Октября, в 1967 году, были полны описанием чекистских подвигов, подвигов, как будто бы нарочно преподнесенных советскому народу для утешения, что никакого нет «нового человека» и никакого не предвидится «коммунизма». Много, много таких коварно соблазнительных, прямо контрреволюционных, контр-якобинских рассказиков сами же советские газеты — и перед праздником пятидесятилетия Октября! — подсунули читателю. Жутких рассказиков, но весьма примечательных по своей откровенности, по своим признаниям, что только чекистская пуля позволяет партии удерживать власть. С некоторыми такими рассказиками, — продолжал Собеседник, — я вас и познакомлю. Вот возьмем «Комсомольскую правду» за 4 марта 1967 года.

---

* Об этом «векселе» Ленина вспомнила «Комсомольская правда» (9. IV. 1969) в обзоре «Задачи союзов молодежи».

«Навечно зачислен» — так назван очерк. Под крупным заголовком, чуть слабее:

Это рассказ о твоем современнике. Он погиб в мирный день на боевом посту, в схватке с преступниками. Григорий Астапчик навечно зачислен в списки войсковой части...

— Давайте разберемся в эти строчках, — предложил Собеседник. — Начав — с конца: о какой воинской части идет разговор? Газета отвечает: «Охранявшей колонию строгого режима в тайге...»

— Чувствуете: воинская часть несет службу в концентрационном лагере, или — по нынешней партийной терминологии — в колонии строгого режима. А что же это за «боевой пост», на котором «в мирный день» погиб чекист Астапчик? Газета говорит: «В колонии строгого режима...» И как будто предупреждая очередной вопрос, газета добавляет, что дальше воспоследует:

Рассказ о храбрости и мужестве, проявленных при выполнении воинского долга младшим сержантом Астапчиком...

— Тут уж одной-двумя фразами из газеты не обойдешься, — развел руками Собеседник. — Придется читать:

Распахнулась дверь. Вьюжный ветер занес в караульное помещение облако снежной пыли. Рядовой Иван Рулькевич обернулся. На пороге, весь занесенный снегом, стоял начальник караула сержант Муромский.

— Ну, Ива, — Муромский сбросил плащ, поставил в пирамиду автомат, — настоящая зима. Метет, как в феврале, а ведь на календарь посмотришь — лето наступает. Завтра — первое июня.

По деревянным ступенькам проходной затопали тяжелые шаги...

— Чем не сценарий? — спросил Собеседник. — Или отличный детектив. Потому что вслед за тяжелыми шагами в проходной караульного помещения колонии строгого режима, размещенной в местах, где первого июня бушует метель, загремели выстрелы и раздались вопли солдат. Нет, тут надо читать дальше! Слушайте:

— На помощь! На помощь...

Завыла сирена... Командир воинской части вызвал подкрепление.

Заскрипели, распахнулись ворота. Оперативная группа вошла в зону... Подполковник Пахомов, старшина Марченко и сержант Молодых изучали следы. И хотя с неба всё еще сыпался снег... оперативная группа вела расследование событий, что произошли за час до нападения на караул... У этого палисадника был бой... Григория Астапчика нашли у стены барака, с простреленной грудью...

Как потом установило следствие, преступная группа готовилась тщательно, соблюдая строжайшую конспирацию... План

заговорщиков был дерзким... Напасть на солдат охраны и перебить их...

— Дальше читать не стоит, — сказал Собеседник. — «Комсомольская правда» восхищена *героизмом* воинской части, в экстазе выболтав, что заключенных, оказывается, охраняют не команды обычных надзирателей, а воинские части, советские солдаты и офицеры, вооруженные автоматами. Героизм? Какой же это героизм, если воинская часть вопит «На помощь» и вызывает к себе на подкрепление другие воинские части. Против кого? Против заключенных одного из концентрационных лагерей на крайнем Севере «строительства нового мира», где в июне бушует метель. Героизм? Ах, да, — махнул рукой Собеседник, — «Комсомольская правда», восхищаясь *героизмом* воинских частей, добавила, что « не осталось в живых ни одного из участников этого преступного плана».

— По-вашему, — спросил Автор, — ленинизм начался на трупах и на трупах закончится?

— А вы что думаете?! — с готовностью воскликнул Собеседник. — «Порвалась дней связующая нить» — и всё? Бросьте! Шекспир был великий драматург, но слабый диалектик. А пятьдесят партийно-якобинских лет, это, батенька, этапы развития ленинизма. Чека, скажем, потом ГПУ, затем НКВД и МВД. Дзержинский. Ягода. Берия. Ленин. Сталин. Маленков. Хрущев. Брежнев... И каждый вопил или вопит: закончено строительство чего-то. Создан *новый* человек. От человека струится фимиам любви и преданности. В честь коммунизма Михаил Шолохов, Константин Симонов, Федин, Полевой и др.... и др... сочиняют партийные жития святых и бьют поклоны перед очередным вождем. Диалектика? Кой-что об этой диалектике и в ваших древних записках и дневниках. Из них вы, по должности автора, берете кое-кого и — сплошь и рядом под вымышленными именами — вписываете в вашу «Моль». Мне даже кажется, пусть и на последних страницах, где-то под занавес, что и с Решковым стрясется такое, после чего читатель с добрым сердцем, вздохнув, прошепчет: «Эх, как судьба повернулась. А ведь мог и Решков быть человеком».

Это я к тому говорю, — продолжал Собеседник, — что Решков кончит тем, чем он и должен кончить. А *строительство,* — тут Собеседник поднял палец, — продолжится и после Решкова. Вот уже отпраздновали пятьдесят лет. Полувек! А что? Те же самые выстрелы, взлеты и крушения и... и что примечательно: готовясь к своему пятидесятилетию они

сами показали, что между первым десятилетием и пятым десятилетием нет разницы.

Автору захотелось что-то опровергнуть и с чем-то не согласиться. Но он этого не сделал. Может быть даже потому, что тогда надо было бы спорить с самим собою.

— Есть героизм и в наши дни, — ухмыльнулся Собеседник. — Есть мученики и созерцатели. И тот же самый бандитизм. Заметьте: бандитизм «нового мира», тот самый, о котором при Сталине ни одна газета не осмеливалась и заикаться. И опять-таки диалектика! Строят-строят, победы и достижения, социализм и коммунизм. И вдруг бандитизм! Помилуйте! Но вот похоронили Сталина, лягнули «культ личности», ответственность за десятки миллионов загубленных чекистами человеческих жизней, утрамбованных в фундамент «строительства», поспешно сняли с ленинской партии и переложили на спину Сталина. В этом — тоже диалектика! Пусть и бандитская, но диалектика! Попутно — хотя и не совсем понятно почему — заговорили об обычном, классическом бандитизме. Хотя, — развел руками Собеседник, — чёрт его знает, где граница между партийным бандитизмом и классическим, с точки зрения криминалистики, бандитизмом? Скоро, правда, они сами догадались, что разговор об обычном бандитизме может вернуть человека к мысли о бандитизме партийном и . . . и отказались от начатого было разоблачения сталинского бандитизма, заодно прекратив разговор и о классическом бандитизме в «новом мире». Во всяком случае после 1967 года, после праздника в честь пятидесятилетия Октября — об этом замолчали. Замолчать — замолчали, но следы классического бандитизма в построенном социализме-коммунизме остались. Следов этих — великое множество. В самих же советских газетах. Я сошлюсь только на случайно подвернувшиеся Указы Верховного Совета СССР о награждении большими орденами коммунистов-чекистов, сотрудников КГБ, погибших «в схватке с бандитами». Да, да! С бандитами! Так сказано в этих Указах, правда, без напоминания что бандиты эти — это бандиты «нового мира». В схватках с бандитами, в разных городах «нового мира», сложили свои головы чекисты Колпаков, Чередниченко, Малайчик, Агадулин, Петухов, Алиакберов, Козлов, Мацкевич и другие . . . другие . . . Об этом вы можете прочитать в «Известиях» за 2 февраля и 19 апреля 1966 года, в «Комсомольской правде» за 15 апреля 1966 года, в «Известиях» за 14 января, за 25 января, за 26 января 1967 года, в «Комсомольской правде» за 18 августа 1967 года. И

в других газетах. В том числе и в «Правде» за 17 апреля 1966 года о том, что бандитами во Владимирской области, убит коммунист Дейкун, а в Воронежской области — Боровков. Или заметку в «Комсомольской правде» за 24 апреля 1966 года о гибели в схватке с бандитами на улицах Казани Айдинова. Или в «Известиях» за 23 ноября 1966 года живописный рассказ о том, что в городе Гурьеве, на Каспийском море, бандит пулями «вывел из строя» двух майоров КГБ — Сысенкова и Телагисова. Или в «Литературной газете» за 16 апреля 1966 года о том, что в бою с бандитами погибли Ахията Миршанов и Николай Власов.

И так далее, — качнул головой Собеседник. — В общем — отдельные, отрывочные факты, походя выхваченные из советских газет. Для справок. Но в газетах есть и такое, что позволяет утверждать: бандитизм «нового мира» не нуждается в помощи тренеров-гангстеров из Чикаго. Вы сомневаетесь? — спросил Собеседник Автора. — Вы отрицательно кивнули головой? Тогда вот что! Тогда я вам прочитаю несколько строчек из со вкусом сделанного очерка *«Схватка»*.

...Торопливо, пряча пистолеты в кобуры, пробежали сотрудники уголовного розыска...

Дело предстояло серьезное. Вооруженный автоматом бандит угнал бензовоз. Возле Обояни его пытался задержать инспектор милиции Калугин. В завязавшейся неравной схватке этот работник милиции погиб...

К месту трагедии — с предельной скоростью — несся автомобиль с сотрудниками угрозыска города Белгорода...

Бандит стрелял беспрерывно... Бандит был окружен... Несколько раз он пытался вырваться... Руководитель операции предлагал бандиту сдаться... Наконец... капитан Федор Хихлюшка с овчаркой Лиркой бросился вперед. Бандит успел выпустить автоматную очередь. Капитан Хихлюшка погиб...

— Не правда ли, — спросил Собеседник, — детективный фильм и вообще «дикий запад»? В действительности — это один из городов «нового мира», это — Белгород, это, одним словом, «Комсомольская правда» за 26 апреля 1966 года. А вот и еще жанровая картинка. Бандитская. Завидная для любителей криминальной прозы и подкинутая им газетой «Известия» за 20 августа 1966 года.

Всё произошло среди бела дня на одной из улиц Алма-Аты... Перед машиной Госбанка — появился человек в маске. Выстрелы бандита остановили «ГАЗ-69». Бандит подбежал к машине, выстрелив несколько раз по окнам соседних домов. Но когда бандит распахнул дверцу машины, чтобы забрать мешок с деньгами — прогремел выстрел инкассатора Мансурова...

В машине находились три инкассатора. Двоих бандит ранил, а третьего — Сариева — убил... Но и бандит был смертельно ранен...

— Конечно, — сам себя перебил Собеседник, — тут можно возразить, дескать, размаха нет. Нету, одним словом, масштабов. Для Алма-Аты, для Гурьева на Каспии, для Белгорода, для провинций «нового мира», дескать, всё это достаточно эффектно, но... На «но» я отвечу просто: есть размах, есть всесоюзные масштабы, бешеные темпы первоклассного боевика, захватывающие кадры, кадры, разыгранные не в студиях Голливуда и не по сценариям. Собственно, нет ни кадров, нет и сценария, есть — жизнь, описанная в газете «Правда» за 15 марта 1966 года в очерке под названием *«Операция Ураган»*.

...В полдень на столе начальника Главного управления милиции (Москва) вспыхнула сигнальная лампа:

— Тревога! Объявляем розыск! Условное название: «УРАГАН».

Телетайпы выстукивали последние сводки... С места происшествия фототелеграф передавал снимки Виноградова и Яковлева, бежавших из Н-ской колонии строгого режима в момент, когда на эти места обрушился ураган.

Милиция нескольких областей включилась в розыск... Бежавшие исчезли бесследно в таежных дебрях...

— Чувствуете масштабы? — спросил Собеседник. — А фон-то какой! Сибирь! Тайга. В тайге — концентрационные советские, нет, нет, не сталинские, нынешние, брежневские лагери 1966 года, среди которых был и тот, строгого режима, откуда исчезли бандиты Виноградов и Яковлев, по следам которых — по разработанному в Москве плану «Операции Ураган» — кинулись чекисты нескольких областей. И началась всесоюзная (масштаб какой!) операция «Ураган». Сколько длился этот «Ураган» — не сказано. Ясно лишь одно: тайга — это Сибирь. В Сибири — начало. Коломна — это близ Москвы. Коломна — конец... Конец после того, как появился чудесный, сознательный мальчик, выдрессированный в духе любви, преданности и подозрительности. Мальчик — в будущем — бесспорный чекист. Но пока что — он только мальчик. И когда к его папе-маме заглянули какие-то незнакомцы, сознательный мальчик пионерским нюхом учуял «государственных преступников» в тех, кто был гостем папы-мамы. Мальчик ничем себя не выдал. Даже папа-мама не заметили, как мальчик исчез, чтобы донести о таинственных гостях, которых приняли папа-мама. Дальше... что ж, вот еще две-три строчки из очерка:

...Приметы — совпали с приметами операции «Ураган». Сомнений не было: это — Виноградов и Яковлев...

— Мальчик, — добавил Собеседник, — как ни в чем не бывало, вернулся к папе-маме. Жизнь продолжается. А в это время — ну, вроде мелькания кадров. На сцену выходят специальные оперативные чекистские группы. В группах — майоры и капитаны. Они выслеживают и «берут» Виноградова. Потом — ночью — в устроенную засаду попадает и Яковлев, и так неожиданно, что «не успевает пустить в ход гранаты». «Правда» с удовлетворением ставит точку: «...Так закончилась операция Ураган».

Вы хмуритесь? Не надо, — попросил Собеседник, протягивая руку Автору. — Забудьте о моих справках из хроники «нового мира». Вернитесь к свои давним запискам. Ворошите их, вздыхайте над ними, делайте ту книгу, которую — вы помните? — хотел создать наивный, никому не нужный Владимир Борисович Кулибин, странный друг Леонида Николаевича Решкова. Решков? Да, вы его приведете к трагическому концу, упустив из виду, что и после Решкова ничто не изменится.

Чувствовалось, что Собеседник хочет втолкнуть Автора в день сегодняшний. Нет, Автору ближе и светлые и мрачные судьбы тех, кто уже ушел из жизни, пусть даже и не под им принадлежащими фамилиями. Об этих судьбах — молчать нельзя, хотя не всё в них ясно и не всё поддается точному анализу.

Автор, например, в своих заметках явно пренебрежительно отнесся к Другасу, появившемуся в Киеве незадолго до возвращения туда Уходолова.

Другас, думал Автор, фигура эпизодическая в том странном мире, в котором жили Тобаридзе, Ступица и Атаманчик. На страницы «Моли» Автор не собирался пускать Другаса: ему там делать нечего.

Но недавняя встреча с Собеседником заставила Автора внимательно, вроде бы повторно перечитать теперь уже пожелтевшие от времени наброски.

С большим опозданием Автор признается в том, что он тогда — давно — не сумел разглядеть, какая острая *игра* началась сразу же, после первого столкновения Уходолова с Другасом. Это признание позволяет сказать сейчас, что Другас был *накатчик*, чекистский агент большой марки, засланный на берега Днепра не только для «работы» с Суходоло-

вым-Уходоловым, но и для раскрытия следов суходоловского информатора, сидевшего где-то в Москве.

Другас не сомневался, что *операция* закончится победой. На Уходолова он смотрел, как на жертву, совсем не подозревая, что тот уже получил «информацию» и знал, кто такой Другас.

Шли дни и недели. Уходолов оставался прежним и внешне очень спокойным, словно не чувствующим опасности. Это и смутило Тобаридзе. Не понимая, в чем тут дело, он прямо спросил Уходолова:

— Ты что, Семен Семенович, не видишь подготовку?

— Вижу, — ответил Уходолов, — да только учти: меня попробуют взять тогда, когда ... ну, знаешь: когда нападут на след моего информатора.

— Вряд ли нападут, — заметил Тобаридзе. — Да только зачем с огнем играть? Ну, скажи, зачем близко к себе поставил Другаса? Он. ведь, думает, что ты ему доверился, и твоим доверием спекулирует, старается ...

— Старается? — ухмыльнулся Уходолов. — А ты не тревожься, Тобаридзе! Пусть старается. За *старательность* я его хлопаю по плечу, а он думает, что я перед ним раскрываю карты, и потихоньку потирает руки, мечтает об орденке за мою голову.

— А может ...

— Нет, Тобаридзе! Другас пусть пока тешится надеждой ...

Другас, действительно, довольно-таки часто хвалил себя за ловкость и думал, что приближается время, когда он войдет в доверие к Булдихе, а тогда ... Да, тогда можно будет раскрыть тайну «московского информатора», держащего связь с Уходоловым через притон Булдихи.

Ничего этого, как будто бы, не замечал Уходолов. Это удивляло Тобаридзе и он, наконец, решительно потребовал:

— Пора ставить точку! Довольно!

— Повременим, — ответил Уходолов.

— До каких пор? — спросил Тобаридзе.

— До каких пор? — задумчиво повторил Уходолов. — Скажу: пока старик живет, будет жить и Другас. А потом ...

Тобаридзе поднял плечи. Нет, это не было знаком удивления или непонимания. Это было знаком преклонения перед Уходоловым, перед его решением до последнего дня поддерживать старика Воскресенского, профессора, которого когда-то спас Уходолов от чекистской пули.

Тобаридзе смотрел на Уходолова и видел перед собою человека, которого, казалось бы, жизнь приучила ко всему относиться равнодушно. Но вот он мучится мыслью о Воскресенском. Так же, подумал Тобаридзе, как мучился и о своем отце, о своей Ксюше, а вот теперь и о своей проснувшейся совести.

«Совесть, — сказал себе Тобаридзе, — заставляет его сделать последнее, что он может сделать хорошего: похоронить старика Воскресенского и обязательно в настоящем гробу».

«Старик уже кончается», — хотел было сообщить Тобаридзе Уходолову, но промолчал. Всё придет в свое время. Будет и гроб. И могила, в которую опустят старика. В эту могилу ляжет и какая-то часть его — уходоловского — греха перед жизнью.

Тобаридзе обнял Уходолова. Говорить дальше не о чем. Да и нельзя.

. . . А где-то вдалеке от Киева, в эти же самые дни, рушилась мечта Вали и Кости Туровца об их обычном и простом человеческом счастье.

Но об этом в рассказе — —

О РАСТОПТАННОЙ ЖИЗНИ ВАЛИ И КОСТИ ТУРОВЦА

— У нас подлинная свобода, — говорил Костя Туровец. — Понимаешь? *Свобода!* Свобода голосовать за не нами составленную резолюцию, за не нами выдвинутого депутата в совет, за смерть Тухачевскому, за любимую партию, уничтожающую крестьян во имя коллективизации, за . . .

— Костенька, — прошептала Валя, — не надо так. Ну, думай про себя, молчи. Примирись. Ведь нам надо жить. Я тебя люблю, и ты меня любишь. Давай, Костя, переедем куда-нибудь. Будем работать и тихо жить. Для себя. А вот так, как ты сейчас, это же против *них*. Разве их переубедишь? Опять будет твое персональное дело, и все поднимутся на тебя. Загубят они тебя. А я что одна стану делать? Руки на себя наложить? Или стать такой, как они? Я не хочу! Не могу! Совесть не позволяет. Подумай об этом, Костя.

— И неси свой крест! — воскликнул Костя. — Я это уже слышал, Валя, от своего учителя, от Петра Петровича. А теперь — от тебя. Уехать? А куда? Они всюду. Значит, вечно ходить среди них, опустив голову и сжав зубы?

— Костя, не мучь меня. Для себя станем жить. Только для себя!

— Бедная ты, моя Валя. Я даже думаю, что зря судьба поставила тебя на моей дороге. Люблю я тебя, Валюша, и казнюсь, мучаюсь мыслью, что на горе тебе вся наша любовь. Не ко времени это.

Он говорил и смотрел на девушку, на ее заплаканные глаза. Ему даже хотелось сказать, что может быть совсем скоро, на этих днях, всему придет конец.

Валя, словно угадав его мысли, вдруг подняла глаза и до странности по-деловому сказала:

— Костя, что бы там ни было впереди, пусть даже самое плохое, а только я всегда останусь твоею. Навсегда.

— Валя, а потом . . . потом не пожалеешь? Не посмеешься над *романтикой?*

— Нет, нет, — торопливо и совсем тихо ответила Валя. — Это не романтика, это моя жизнь. Плохая или хорошая, я не знаю, но вот эти минуты, эти наши встречи . . . Не смейсь, Костенька! Ты — умный. И потому тебя ненавидят! А я что? Я — обыкновенная. Мне нужно счастье, тоже обыкновенное. С тобой. С нашими детьми. Я совсем простая. С пушкинской Татьяной у меня родства нет. С декабристками — тоже нет. Но они, Костя, были женщинами. И мне кажется, они что-то такое похожее думали. Другими мыслями, но думали. Пусть и более красиво, но о том же самом, чем мучаюсь я сейчас. Пойми меня, Костя!

Он впервые увидел в глазах Вали тоску. Любовь, говорят, радость. Перед Костей раскрылась тайна любви: боль.

Он обнял Валю. Сколько раз он смотрел на ее лицо, но душу разгадал лишь в эту минуту. По глазам.

— Валя! Навсегда? И что бы там ни было — навсегда?

— Да. Это, Костя, не романтика. Так что ты не смейсь.

Костя вздохнул.

— О чем ты сейчас думаешь? — спросила Валя.

— О том, Валя, над чем смеяться нельзя. Ты, вот говоришь, что не в родстве с Татьяной. Я — не в родстве с Онегиным. Но всё равно, то, чем живы были люди во времена Сервантеса или Пушкина, переходит по наследству, к другим. Потому что это жизнь. Я тебе напомню, Валя, старого, теперь уже полузабытого, поэта Константина Константиновича Случевского, не созвучного, сказал бы Карпенко, нашей эпохе строительства. Дворянского поэта. Близкого к императору Александру Третьему. Так у этого Случевского . . . какие-то слова я может и забыл . . . но это ничего! Ты ска-

зала «Не смейсь». У Случевского — тоже «Не смейся». Слушай:

«Не смейся над песнею старой,
С напевом ее немудреным,
Служившей заветною чарой
Отцам нашим, нежно влюбленным!
Не смейся стихам мадригалов . . .
Не смейся . . . над смыслом альбомов старинных . . .
Не смейся . . . отцы наши жили, любили,
И матери нас воспитали . . .»

Губы Вали вздрагивали. Она, казалось, повторяла слова, написанные поэтом, имя которого ей не было знакомо.

Потом, позже, она часто вспоминала эти незатейливые строчки и всё ей представлялось легким и простым. Каждому новому дню она улыбалась и верила в свое маленькое счастье. Иногда, правда, она вздрагивала, вспоминая, как преследовали ее Костю за связь с «врагами», с кулаками, под охраной возводившими завод имени товарища Сталина.

Да, тогда возникло «персональное дело» Кости Туровца, и от самого Кости все отворачивались, считая его тоже «врагом народа».

Но это уже в прошлом. Костю оставили в комсомоле, он работает, хотя его мечта попасть в университет и рухнула.

«Ну и что, — думала Валя. — Ну и пусть. Потом *они* одумаются, дадут ему хорошую характеристику и он станет студентом. А пока . . . теперь Костя ударник, его не преследуют. Он — с ней, она его любит».

Всё прошлое, беспокойное, ну, вон та тяжелая история с кулаком Семеном Быковым — позади. Да, иногда Костя вспоминает о нем, об этом Быкове, теперь уже ушедшем в братскую могилу. Костя говорит о нем с тоской, удивляется этому безграмотному кулаку, умевшему заглядывать и в свою и в чужую душу.

— Какой это был человек, — говорил Костя. — Зачем его загубили?

Вместо ответа Валя крестилась и шептала о том, что мученики были всегда и что правда мучеников не пропадает зря.

— Валя, — возражал Костя. — Нельзя так, нельзя успокаивать свою совесть. Верно. Мученики были во все времена. Но теперь, когда мучеников миллионы, это, Валя, не то. Это уже статистика, страшная статистика *нового* мира.

Такие разговоры доводили Валю до слез.

— Костя, — протягивая руки как за милостью, шептала она, — Костя, но такое должно закончиться? Да?

— Не знаю, — отвечал он. — *Они* строят у нас, потом будут строить у соседей, а еще потом — вплоть до победы во всем мире. И всё на крови, на костях, на трупах. Тут уж, Валя, не мученики! Тут — та самая статистика, безымянная, бесфамильная . . . миллионы, миллионы, миллионы или не вышедших из подвалов чека, или, как тот Семен Быков, брошенных в братскую яму.

С тяжелым чувством расставались они после своих коротких свиданий. Потом встречались опять и вот однажды Валя с тревогой спросила:

— Костя? Что с тобой? Почему ты молчишь?

Он ничего не ответил. Гуляли они долго, и поздно вечером, на берегу реки, Костя поцеловал Валю и сказал:

— Вот, Валя, и всё. Я знаю, Валя, что ты меня по-настоящему любишь.

— Я тебя всегда, всегда буду любить. Всегда, — продолжала она, и вдруг отодвинувшись, воскликнула: — Костя, что с тобой?! Мне страшно, Костя. Я чего-то боюсь. Приходи, Костя, завтра вечером, после смены. Вот сюда, на это место. Мне надо посмотреть на тебя, Костя. Только посмотреть. Придешь?

— Завтра? — спросил Костя. — Приду . . .

Он сказал правду. Но вот ночью, лежа на нарах общежития, он всё и окончательно обдумал. Он проверил всю свою жизнь, все свои двадцать лет и принял твердое решение. В этом решении уже не было места обещанию, данному Вале.

Вчера вечером, прощаясь с ней, он думал, что не пойдет на закрытое комсомольское собрание, сказавшись больным. Пусть без него голосуют и расправляются с теми тремя, которых называют «пробравшимися в ряды комсомола».

Уже позади беспокойная, бессонная ночь, в темноте которой он произвел оценку и чужой и своей жизни. А что в эту же самую ночь думали те трое, «пролезшие»? В чем их вина? Ах, да, в том, что в своих комсомольских анкетах они не написали о том, что их отцы «репрессированные кулаки», погибшие в каком-то концентрационном лагере на Соловецких островах.

«Враги» и «отщепенцы», «кулацкое отродье» и «классово-чуждый элемент» — так вчера сказал об этих троих на цеховом комсомольском собрании представитель райкома партии.

Наступило сегодня, и Костя Туровец, комсомолец, идеалист, сын беднейшего полесского крестьянина, пошел на закрытое комсомольское собрание.

«А там, на берегу реки, — подумал он, — не дождется меня Валя».

В красный уголок он вошел с совсем уже готовой речью в защиту тех, кого будет обвинять персональное «дело».

Красный уголок был битком набит активистами. Косте пришлось остановиться у двери.

— Давно начали?

— Да уже . . . Сейчас выступит секретарь райкома.

Действительно, к столу под портретом Сталина, подошел секретарь.

— Зачем они пролезли в ленинско-сталинский комсомол? — вопросом начал свою речь секретарь и сразу же ответил: — Ясно! С вредительской целью, по заданию империалистической разведки. Наша обязанность: осудить врагов, просить об их уничтожении. И извлечь соответствующие уроки! Главное в этих уроках — священная заповедь Ленина о «якобинской жестокости». Повторяю: «якобинская жестокость» — это завет Ленина и этот завет мы выполним. Кто хочет выступить по «персональному делу»?

Костя Туровец поднял руку.

— Слово имеет Туровец.

Костя, пробираясь к портрету Сталина, вдруг понял, что, подготовленная еще ночью речь, такая яркая и убедительная, тут не нужна. Он даже испугался, что ему нечего сказать, но как только очутился у стола, почувствовал себя сильным, способным говорить именно о том, о чем нельзя молчать.

— А почему веки вечные надо жить по якобинским заветам? — обратился Костя даже не к собранию, а к президиуму. — Выходит, что окончательное счастье для вашего нового человека придет в тот день, когда этот человек перестанет думать так, как он думал раньше. Раньше — он останавливался очарованным перед заходящим солнцем, в смятении пробуя разобраться, как это оно смогло нарисовать такие сказочные облака. Или волновался чужой тоской, или удивлялся мастерству осеннего крохотного паучка, создавшего на веточке паутинный коврик, или страдал от чьей-то неправды и шел искать правду, или думал своими собственными мыслями обо всем, что его окружает. Вам нужен новый человек? Вы его создаете . . . лишив его права на удивление, на сомнение, на сострадание и восторг. У него не дол-

жно быть своих мыслей. Вместо них вы подсовываете ему информацию, инструкции, программы. В «якобинский завет» вы загоняете нового человека, уничтожаете настоящих людей. По завету Ленина. На этом я кончаю. Вы уничтожите и этих трех «классовых врагов». Заодно — припишите и меня к ним.

Костя Туровец положил на стол свой комсомольский билет и под крики «классовый враг» — двинулся к дверям. Перед ним, как перед прокаженным, сразу расчистился проход, в конце которого уже стоял оперативный уполномоченный.

— Пойдем!

— Пойдем, — ответил Костя.

Никто не сказал ему ни «до свидания», ни «прощай».

Когда захлопнулась дверь красного уголка, Костя оглянулся: уже был вечер.

Вечер густел, темнел и звезды в небе становились всё ярче и ярче. На берегу реки, в условленном месте, ждала Костю Валя, сердцем почувствовав, что произошло нечто непоправимое. А утром, узнав, как ушел из ее жизни Костя Туровец, заплакала тяжелыми слезами русской женщины.

Конечно, Валя не размышляла о том, что под ударами судьбы можно состариться и в восемнадцать лет. Она была далека от таких мыслей, и потому не понимала, почему опустились ее плечи, почему с таким равнодушием отодвинулась от людей и вспомнила о смерти, о которой раньше никогда не думала.

Тут кто-то может бросить успокоительную реплику, дескать, ничего не поделаешь, строится «новый мир», жертвы неизбежны, лес, одним словом, рубят — щепки летят.

Спросив: «А не слишком ли много этих щепок?» — Автор переходит к рассказу о том, как — —

СОБЕСЕДНИК РАССМАТРИВАЕТ ТРАГЕДИЮ КОСТИ ТУРОВЦА

— Всё просто, — начал Собеседник. — Костя Туровец — эпизод. Валя, на берегу реки вспомнившая о смерти, лирическая зарисовка. Вы до странности легко, — продолжал Собеседник, — попрощались с ними. Костя и Валя ушли в тень. Незаметно. Эта незаметность противоречит вашим, ранее написанным страницам с серьезными размышлениями о миллионах трупов, брошенных в фундамент «строительства».

Вы же сами говорили о кровавой статистике и о мучениках, вошедших в эту статистику. А тут, мельком: «Из жизни Вали ушел Костя Туровец». Прямо как у Максима Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают». Но вспомните: такую философию создал не Максим Горький. Он лишь повторил Сталина. И оправдывая Сталина, Максим Горький ссылался на «царскую беспощадность» в расправе с бомбометателями-революционерами. Была ли она — эта беспощадность? Пусть свидетельствуют документы. Вот вам книга, книга, заметьте, изданная при Сталине, в 1937 году. Составитель этой книги то ли Семен, то ли Степан... это не важно, но называется книга так: «С. Ушеревич. Царские казни в России», ОГИЗ. Харьков, 1937 год».

В книге — обвинительный приговор монархии за бесчеловечное преследование профессиональных революционеров. Поток проклятий! Потом — «кровавая статистика» — таблица казненных революционеров. Не просто казненных, а с подразделением, с точным указанием, при каком царе и сколько казнено. Совершенно точно установлено, на совесть какого императора и сколько надо отнести повешенных революционеров. Всё подсчитано, измерено. Итог — подбит! В книге Ушеревича. Вот этот итог:

По приговорам царских судов казнено революционеров —

в царствование Александра Первого . . .	24;
в царствование Николая Первого . . .	41;
в царствование Александра Второго . . .	47;
в царствование Александра Третьего . . .	33.
Итого	145.

— В книге Ушеревича нет данных о казнях революционеров в царствование императора Николая Второго, — заметил Собеседник. — Почему? Не будем строить догадок. Вернемся к статистике Ушеревича, подтверждающей, что за царствование четырех императоров казнено 145 профессиональных бомбометателей-революционеров. 145! Много это или мало? Судите сами: за сто лет 145 или, в среднем, по полтора человека в год. Но кто считает жизни человеческие на штуки? На «штуки» не считает и Ушеревич. Он просто обвиняет царские правительства за казнь революционеров, пулей или бомбой убивавших губернаторов или самих императоров. «Око за око?» Истина древняя, жестокая истина. По сему поводу философствовать можно бесконечно. И ничего не решить, согласившись разве с тем, что Лев Толстой имел право обращаться к царю с просьбой помиловать брата Ленина, одну из 145 жертв, включенных в статистику Ушеревича, опубликованную в Советском Союзе в 1937 го-

ду, через двадцать лет после ленинского Октября. 1937 год — это Сталин, продолжатель дела Ленина, того самого дела, воспетого Клюевым:

«Есть в Смольном потемки трущоб,
Где привкус хвои с костяникой:
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси Великой.
Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах».

—Клюев, увидев в большевизме «Новый град», Китеж — поднявшийся со дна озера — воскликнул:

«Боже, свободу храни,
Красного государя коммуны».

— С «красного государя коммуны» всё и началось, всё двинулось вперед, оторвалось от «останков Руси Великой», от тех 145 революционеров-убийц, казненных, как об этом повествует Ушеревич, правительствами четырех императоров. А в 1931 году леди Астор и Бернад Шоу беседовали со Сталиным.

Леди Астор: — Когда вы перестанете убивать людей?

Иосиф Сталин: — Когда это не будет больше нужно. Надеюсь, скоро...

— Потом, год 1942; беседа Черчилля со Сталиным:

Черчилль начал разговор об уничтожении кулаков во время коллективизации...

Иосиф Сталин: — Десять миллионов? Конечно, это было ужасно и заняло четыре года...

— Беседа Тито со Сталиным о возвращении короля на трон:

Иосиф Сталин: — Вам не надо восстанавливать его навсегда. Возьмите короля на время и всадите нож в спину в удобный момент...

— Между прочим, десять миллионов уничтоженных кулаков, о которых вспоминал Сталин, многие называют сталинской ложью, говорят, что партией уничтожено не десять, а двадцать миллионов. Но будем осторожны, — добавил Собеседник, — возьмем десять миллионов. Поверим самому Сталину. С 1929 года (с первого года коллективизации) по 1942 год прошло тринадцать лет. Тринадцать лет — это по 750 000 человек в год. Ушеревич заламывал партийные руки и со страстью обвинял четырех императоров, за сто лет повесивших 145 революционеров-убийц или по полтора человека в год!

В ваших глазах недоумение! — воскликнул Собеседник. — Вы что? Сомневаетесь? Боитесь, что леди Астор и сэр

Черчилль напутали? Но Хрущев на двадцатом съезде ничего не напутал. Он всё знает. И о злодеяниях Сталина говорил откровенно, в кругу своих соратников по партии, среди делегатов съезда. Нет, нет, я не стану воспроизводить всю эту кроваво-утомительную речь Хрущева. Я возьму из нее только отрывки, такие вот отдельные строчки:

> Сталин... применял тактику массовых репрессий, проводимых при помощи государственного аппарата... Сталин создал концепцию «врага народа». Эта концепция сделала возможным применение жесточайших репрессий... Для физического уничтожения людей... применялась концепция «врага народа»...
>
> Массовые репрессии и террор, расстрелы... применялись Сталиным во всё больших и больших масштабах... Сталин... физически ликвидировал людей, которые не совершили никаких преступлений против партии и правительства...
>
> Сталин заставил партию и НКВД пользоваться массовым террором... Этот террор был направлен против честных работников партии и государства; против них создавались лживые, клеветнические и абсурдные обвинения в шпионаже, вредительстве, подготовке покушений...
>
> Теперь... установлено, что все эти дела были сфабрикованы. Признания в вине арестованных были получены путем жестоких и бесчеловечных пыток... санкционированных Сталиным...
>
> Сталин, от имени ЦК ВКП(б), санкционировал пытки...

— Это кашмар! Это...

— Да, — согласился Собеседник. — Это не только кошмар, это диалектический кошмар, это ленинизм на практике, тот самый ленинский метод якобинства, начатый Лениным в 1917 году, это «Боже, свободу храни, красного государя коммуны», как пел Клюев. Диалектику эту признал Хрущев на двадцатом съезде, в 1956 году. Вы можете сказать, — перебил себя Собеседник, — что Хрущев проливал слезы об уничтоженных Сталиным партийных деятелях, вроде Эйхе, Коссиора, Постышева, Чубаря, Рудзутака и прочих, и совсем мало говорил о простых людях. О миллионах «простых» — согласен! — Хрущев помалкивал. И потому, что он сам со Сталиным, с Брежневым, с Ворошиловым, Молотовым, Микояном, Буденным и прочими учениками и соратниками — замешан в этом уничтожении миллионов беспартийных. Но после двадцатого съезда партии, в период так называемой «оттепели», о миллионах сказали газеты. В статьях, где одобрялись решения съезда «покончить с последствиями культа личности Сталина». Таких статей было много (теперь их нет!) и я приведу выдержку из одной такой статьи. Называется она «*Пора свершений*», и была опубли-

кована 22 ноября 1962 года в «Литературной газете». Автор этой статьи Д. Храбровицкий. И вот что он писал:

> ... Сказать правдивое, партийное слово о жизни, о том, что волнует сейчас миллионы — вот к чему призывает сегодня партия.
>
> Всё это не свалилось с неба. Всё это явилось результатом XX и XXII съездов нашей партии, где был нанесен решительный удар по культу личности Сталина.
>
> Борьба с последствиями культа личности Сталина — это не очередная кампания, и художник не имеет права стоят в стороне от этой борьбы.
>
> Восстановлена социалистическая законность. Обеспечена вера человека в свой завтрашний день.
>
> Миллионам вернули их честь и достоинство...

— Как вы можете догадаться, — заметил Собеседник, повернувшись к Автору, — *миллионы* — это беспартийные полутрупы, выпущенные из концентрационных лагерей. Сколько *миллионов* беспартийных уничтожено — об этом в статье «Пора свершений» не упоминается. Но приводится приблизительная цифра «партийных сталинских жертв» ... Статья сообщает:

> ...сотни тысяч, став жертвами беззакония в пору культа личности Сталина, были коммунистами до последнего дыхания...

— А теперь, что ж, теперь вернитесь к своим дневникам и давним заметкам, — сказал Собеседник, поднимаясь из-за стола. — И по-своему подходите к крушению судеб ваших героев. С точки зрения литературы, весьма робко приправленной *историзмом*. Продолжайте ваше дело, только, пожалуйста, не забудьте, что ваш *историзм* не перешагнул Сталина. Нет, нет, я вас не обвиняю! Я просто напомню вам, что на XXII съезде, это произошло в 1961 году, Хрущев вторично вернулся к жертвам Сталина и сказал так:

> В президиум съезда поступили письма старых большевиков, в которых они предлагают увековечить память тех, кто ... стал жертвами в период культа личности Сталина. Мы считаем это предложение правильным ... Следует соорудить в Москве памятник, чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола Сталина ...

— Слова Хрущева о памятнике жертвам Сталина делегаты съезда, в том числе и Леонид Ильич Брежнев, бурно одобрили. Одобрили! В 1961 году. В 1964 году Брежнев скинул Хрущева и сел на его место. Где памятник жертвам Сталина? О памятнике Брежнев забыл. Вместо памятника — он весьма старательно принялся восстанавливать сталинские «методы» и начал реабилитировать уже не «жертвы», а самого Сталина. Диалектика? Да, ленинская, якобинская диалектика. Забывать о ней вряд ли стоит, даже если вы и

не сможете вырваться из-под влияния ваших старых заметок, так чудесно, вместе с вами, оказавшихся в этой уютной европейской квартире. Но я не настаиваю, — примирительно добавил Собеседник, — я далек от мысли рекомендовать вам что-то переиначивать в вашей *литературе*.

За Собеседником закрылась дверь. Автор погрузился в свои дневники и записки, чтобы — без оглядки на диалектику! — окунуться в прошлое и рассказать — —

О ВСТРЕЧЕ КУЛИБИНА С РЕШКОВЫМ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ УСКОРИЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ К РАЗВЯЗКЕ

Решкову казалось, что прошла вечность с тех пор, как возникла его странная привязанность к Кулибину, к этому отвергнутому всеми идеалисту. Идеалист мечтал создать книгу взлетов и падений, книгу больших дел и разбитых иллюзий.

Такую книгу хотел увидеть Решков. Это было желание обойденного судьбой человека, надежда, что кто-то, со стороны, пусть и мельком, скажет слово и в его оправдание. Только вряд ли появится такая книга! После Кулибина останутся разрозненные заметки. Попадут они в чека. Там их тщательно изучат, старательно выпишут фамилии и начнется розыск.

А может быть запискам суждена другая жизнь?

«Тогда что?» — спросил себя Решков.

Вместо ответа возник образ Кулибина с чистыми глазами. Старик слушал как судья, не удивляющийся исповеди преступника. Мудрый старик знал, что искреннее признание — это еще не всё, что в ворохе деталей и фактов скрыта некая таинственная сущность, имя которой объективная правда. О ней, конечно, можно и забыть. Достаточно фактов и деталей, чтоб всё завершилось виселицей или электрическим стулом.

Мудрый судья пускает в ход весы совести. С одной стороны — преступление, с другой — объективная правда.

Весы застыли в недоумении. Старик склоняет голову.

Решкову хотелось, чтобы в записках Кулибина была вся его, Леонида Николаевича Решкова, жизнь. Он не боялся этого. Он сам себе вынес приговор. Но пусть кто-то мимоходом взглянет и на объективную правду. Нет, не кто-то, а

Кулибин, которого Решков как будто подталкивает к этому, всё и без утайки рассказывая о себе.

Вот и сейчас он убеждал Кулибина в том, что всё приближается к концу. Он просил Кулибина запомнить его слова, нужные для той, еще не написанной, книги, в которой должно найтись место и ему, Леониду Николаевичу Решкову.

— Эта наша встреча, — говорил Решков, — может быть заключительная. Кто знает! В эти дни я разыгрываю сложную игру с Суходоловым. У него, у Суходолова, тут есть свой *информатор*. Через него он знает, что именно я, — никто другой! — я опутал его тонкой сетью провокации, из которой ему не спастись. Информатор сообщил Суходолову, что пуля, которая будет всажена в его затылок, подготовлена мною! Но Суходолов не догадывается о главном, о том, что... что всё это лишь *моя* провокация. Цель? Заставить Суходолова расправиться со мною. Я хочу, чтоб — наконец — он взорвался и привел в исполнение тот приговор, который я сам себе вынес. Я даже не понимаю, — добавил Решков, — почему он тянет? Ведь он уже был здесь, в Москве. Он встретил меня. Он даже сунул руку в карман и... и раздумал. Загадка? Да! И она меня мучит. Мне надоело ждать, Владимир Борисович, а сам с собою, своими руками с собой я расправиться не могу. Почему? Вы думаете, об этом я не спрашивал себя? Спрашивал. Но ответить не смог, и не смогу уйти от того, что делал и делаю. Вы скажете: странно! Согласен, Владимир Борисович: странно. А в общем — не так и странно: я — винт сложной партийной машины. Винт может стать самим собой только тогда, когда машина будет разрушена. Я не могу ее разрушить, я сросся с ней, она — моя и... я ненавижу ее, хочу, надеюсь, что кто-то вытащит меня из нее и уничтожит. Чем скорее, тем лучше. Чтоб это произошло скорее — я подогреваю ненависть Суходолова, толкаю его к решительным действиям. Я его провоцирую. Помните, Владимир Борисович, мою предполагаемую поездку за границу? Да? Об этом раньше других получил *информацию* Суходолов. Подробную. Вплоть до того, что сперва, нелегально, через финскую границу, переберется мой помощник Мохов. С хорошим запасом бриллиантов. Потом — законно — уеду и я, и окажусь, вместе с Моховым, в числе «невозвращенцев», порвавших со строителями коммунизма. Всё, всё было подстроено ловко в этом, на языке чекистов, *эпизоде*. Никто не знал, что *эпизод* был нужен только мне, что цель эпизода — столкнуть меня с Суходоловым и заста-

вить его своими суходоловскими руками привести в исполнение приговор, составленный мною, Леонидом Николаевичем Решковым. Никто об этом не знал, как никто, — и я, конечно, — не знал, что против моего *эпизода* разыгрывался прямо-таки кинематографический фарс, разработанный... Да, разработанный Суходоловым. Суходоловым! — крикнул Решков и зашелся от злобного хохота. Потом, отдышавшись, он откинулся на спинку дивана и продолжал уже совсем спокойно: — Одного я не учел: Суходолов знал больше того, чем ему нужно было. Он знал не только о моих планах, но и о моих мыслях. Зная обо всем этом — он мстил мне. Чем? Да тем, что *оставлял* мне мою жизнь, принуждал меня жить вот таким, каким я не хотел жить. В этом была его месть. И всё-таки он вынужден будет сделать так, как я хочу. Да, да, — Решков стукнул кулаком по столу, — он вынужден будет поступить так, как я хочу: другого выхода у него нет. Это случится скоро. Тут я вам, Владимир Борисович, скажу то, чего не знает и Суходолов: у меня есть своя *информация*. Мне известен каждый сегодняшний шаг Суходолова. Теперь я имею возможность восстановить весь суходоловский сценарий, в который был включен мой незадачливый *эпизод*. Этот сценарий, Владимир Борисович, вас может интересовать, ну, для той вашей, еще не написанной, книги. Так вот, представьте себе, Владимир Борисович, моего помощника Мохова, который, по моему заданию (вы об этом должны помнить?) *открыл* Суходолова на одном из золотых приисков. Там Суходолов — ударник Уходолов — жил со своей Ксюшей, ожидавшей ребенка. Чем всё это закончилось — вам известно. И потому не надо разъяснять, что мой расчет был прост: Суходолов прежде всего рассчитается с Моховым за Ксюшу, потом, узнав что Мохов действовал по моему указанию, со всей ненавистью обрушится на меня. По суходоловскому сценарию моя логика была отброшена. Суходолов — это я воспроизвожу кадры не существующего в природе суходоловского фильма — кивнул Атаманчику и говорил ему, видишь, Атаманчик, какая вокруг меня игра разыгрывается. Решков, говорил Суходолов Атаманчику, на кон кинул козырную карту, Мохова кинул! Это же прямо приманка для меня, чтобы я, значит, в злости ринулся и списал в расход Мохова. А чтоб приманка была вернее, тут и *легенда* о «невозвращенцах», тут и кошелечек такой, с бриллиантами, вроде расплаты или чаевых за то, что я освобожу его, Решкова, от Мохова. Чувствуешь, говорил Суходолов Атаманчику, как чисто сработано! Мохов около финской

границы крутится, ждет «переводчика» на ту сторону. У меня, говорил Суходолов Атаманчику, другие планы. Мне недосуг заниматься этой сволочью. К тому же я хочу, чтоб Мохов вернулся к Решкову здоровым. Только без кошелечка! Что ж, отвечает Атаманчик Суходолову, дело можно сварганить. Даешь маршрут. А потом посмеемся. Атаманчик, Владимир Борисович, исчез. Дальше — следующие кадры. По сценарию, о котором мне только потом стало известно, выглядело всё так. Довольно занятно, с точки зрения киноискусства.

— Куда это Атаманчик зашился? — однажды спросил у Суходолова Ступица. — Несколько дней не видел.

— Атаманчик? В Сибирь подался, — спокойно ответил Суходолов. — К знакомому в гости. Соскучился, к старому дружку тронулся, проведать.

— Ну и дела, — поднял плечи Ступица. — А ты не сказки сказываешь?

— Может и сказки, — согласился Суходолов. — Со сказкой к смерти легче двигаться.

— Ну и ну, — пробормотал Ступица. — Об какой смерти болтаешь? И как-то неинтересно, словно и сам не догадываешься, о чем треплешься. Всё треплешься, а надо бы уже кончать с Ловшиным. Да еще с некоторыми другими. Ты как думаешь, Семен Семеныч?

— Ловшин? Что ж, — согласился Суходолов. — Действуй. Тонко, с розыгрышем, чтоб другие прочие не сообразили ничего. Чтоб всё случилось по пьяной лавочке, что ли.

— Не бойсь, — сказал Ступица, — я втравлю его в азарт . . . в шалмане у Булдихи.

Это я вам, Владимир Борисович, развертываю «сценарий», составленный Суходоловым. Дальнейшие кадры? Через несколько дней Ступица встретился с Ловшиным у Булдихи. Пили. Потом играли в очко. А потом . . .

— Ну, всё, — рассмеялся Ловшин. — Не везет тебе, Ступица. Так что оставь себе мелочишку на похмелье. Чтоб голова не болела.

Только этого, казалось, и ждал Ступица.

— Играй, гад! — заорал он. — Вот на этот портсигар играй! Ну!

Ловшин с завистью посмотрел на золотой тяжелый портсигар, но играть отказался.

— Играй! — Ступица вскочил из-за стола. Все, находившиеся в шалмане, почувствовали, что теперь дело не закончится просто. Догадался об этом и Ловшин, хотя еще и не

понимал, к чему клонит Ступица и потому прищурился и с презрением посмотрел на Ступицу.

— Ты чего глядишь? — спросил Ступица и шагнул к Ловшину. Тому надо было бы отодвинуться, но вместо этого он со свистом плюнул, явно рассчитывая, что такая выдержка смутит Ступицу. Но Ловшин ошибся. Ступица кинул взглядом на плевок и крикнул:

— Тут тебе и конец!

Но он не успел сунуть руку в карман. На Ступице уже висела Булдиха и вопила:

— Брось, Ступица! Ты что такое надумал?!

Ступица оттолкнул Булдиху, но Ловшина уже не было в шалмане.

Сценарий — есть сценарий, — продолжал Решков, — и дальше, Владимир Борисович, опять кадры. Узкий глухой и темный переулок спрятал Ловшина.

— Ушел, гад. Пусть пока погуляет. А ты налей мне водки, — приказал Ступица. — Чёрт с ним!

Но спокойствие его было напускное. Об этом происшествии у Булдихи он всё собирался и собирался рассказать Суходолову, но каждый раз откладывал, стыдясь сознаться в своей оплошности. И только через несколько дней, убедившись, что Ловшин таинственно исчез, Ступица во всем признался.

Суходолов выслушал путаный бестолковый рассказ Ступицы и спросил:

— Ты кому еще об этом говорил?

— Никому.

— Ну и молчи.

Ступица заволновался. Он принялся каяться в том, что упустил Ловшина.

— Я так хорошо его обложил, — говорил Ступица. — На мелочи погорел! Большой вред теперь может сделать Ловшин.

— Не сделает, — равнодушно бросил Суходолов.

— Как не сделает? Ведь ушел он!

— На тот свет, — усмехнулся Суходолов.

— Что?!

— Вечером у тебя сорвалось с Ловшиным, а на утро объявился Атаманчик, и . . .

— Как так объявился? Он, ведь, в Сибирь поехал? К другу на побывку. Ты сам говорил, Семен Семеныч.

— Правильно, — кивнул головой Суходолов. — Атаманчик ездил, только я тебе адрес не совсем точный дал. Ездил он к Мохову.

— К Мохову? Ты что, дурачка из меня строишь?

— Погоди, не суетись. Точно: к Мохову. К помощнику Решкова.

— Ну и? — выдохнул Ступица.

Ступица не сразу поверил рассказу Суходолова. Только когда увидел кошелечек с бриллиантами, умилился:

— Вот это работа!

— Чистая, — подтвердил Суходолов. — И быстрая. Ты послушай, Ступица, как дело сварганилось. Атаманчик, значит, поехал. А Мохов, значит, около финской границы вроде бы отпускником гулял. Ну, охотничал там, сил набирался, жил на дачке у лесника. А тут тихонько входит Атаманчик. Деликатно, без шума. Мохов, понятно, узнал Атаманчика. «Будь руиг, — по-иностранному говорит ему Атаманчик, — не шухери. И сиди смирно, — советует Атаманчик, — мне твои слова ни к чему, я хочу честно забрать твои бриллианты»... Тут Мохов плечом дернул... «Ты не бойсь, — говорит ему Атаманчик, — жизнь твоя драгоценная мне не нужна. И вообще не тревожься, — так говорит Атаманчик, — только учти, что меня как-то раздражает человеческая подлость. Я не об тебе толкую, ты — хороший! Ты без канители вынешь совсем маленький кошелечек... такой маленький кошелечек с камешками вынешь и попросишь, чтоб я его у тебя на память взял». Обо всем таком Атаманчик говорил на полный серьез, и Мохов, поежившись, действительно вынул желтенький кошелечек и положил его на стол.

— Ну? — в восхищении прошептал Ступица. — А потом?

— Атаманчик, понимаешь, вытащил из моховского кармана пистолет. Чтоб лишнего шума не случилось. А кошелечек взял не сразу. Атаманчик долго вроде бы ломался, а потом придвинул кошелечек к себе и опять интеллигентно и по-иностранному сказал: «Орднунг, то есть, порядок, как говорили немцы, подписывая с большевиками Брест-Литовский мир». И уже спрятав кошелечек в свой карман, Атаманчик вынес резолюцию: «А теперь, гражданин Мохов, ауфвидерзеен, или, по-русски, до скорого свидания. Счастливого вам пути в заграничное путешествие». Ну, Мохов косит своим паскудным глазом, кривит морду, вроде бы ему уже расхотелось за границу. Атаманчик сочувствует. «Не пофартило, гражданин Мохов, — говорит Атаманчик. — Бы-

вает. Фарт, гражданин хороший, это когда подарок кошелечка с бриллиантами, еще тепленькими от лежания в кармане у того, кто собирался в Европу. Фарт, одним словом, везение и тому подобное. Фарт, гражданин Мохов, это когда твоя пуля ложится в цель, а чужая — идет мимо тебя. Это и есть настоящий фарт. Таким фартом я и живу до сей секунды, гражданин Мохов. Кончится фарт, тогда, понимаете, труба. Конец. Амба! Четыре сбоку — ваших нет . . .»

— Ну и?! — взвизгнул от восторга Ступица.

На этом восклицании Ступицы Автор, пока, поставит точку, чтобы воспроизвести — —

СУЖДЕНИЕ СОБЕСЕДНИКА О ДЕНЬГАХ, ЗОЛОТЕ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ

— Я слушаю вас, — сказал Собеседник Автору, — перелистываю страницы вашей «Моли» и знаете что? Вы с ненужной скромностью упоминаете о деньгах, золоте, о драгоценных камнях. Всё это, по-вашему, привлекает лишь героев *отрицательных,* таких, которых уже нет там, где строят коммунизм, где в 1967 году отпраздновали пятидесятилетие Октября и объявили, что создан «новый человек». Но не думайте, — продолжал Собеседник, — что я одобряю тех, кто занимается налётами, грабежом, воровством, прикарманиванием чужих денег, чужого золота, чужих бриллиантов или сапфиров. Я — трезвый человек. Я — не дальтоник. В оттенках и красках я разбираюсь. И потому спокойно разглядываю страну построенного социализма, страну, которая (так утверждали — по очереди — Сталин, Хрущем и Брежнев) перешагнула в высшую стадию социализма — в коммунизм. Ура коммунизму! Но почему этот коммунизм перенял самое худшее, что портит настроение капитализму — гангстерские приемы Чикаго или Лондона? Вам нужны доказательства? Я их приведу. Неопровержимые факты, позаимствованные из советской прессы. Не все факты. Их очень много. Бесконечно много. Я возьму только некоторые, наиболее колоритные — на фоне партийно-съездовских клятв, что «наше поколение будет жить в коммунизме». Будут жить в коммунизме московские инженеры Гуковский и Леднев, о которых в 1961 году «Правда» сказала, что у них «соответствующие органы» изъяли золото, бриллианты и наличных денег — 2 000 000 рублей. Видимо, в погоне за эффектом, «Правда» добавила, что у руководителей Ленинградского

кондитерского треста те же «органы» обнаружили капиталец в несколько миллионов. Занятна и статья в «Комсомольской правде» за 2 декабря 1961 года под игривым названием: *«В волчьей стае»*. Стая — уже плохо. А «волчья» — тем более! Но не о волках идет разговор, а всего-навсего о «номенклатурных» работниках, то есть о коммунистах — директорах комбинатов и управляющих трестами. У «волка» из Ставрополя Михаила Малого — двухмиллионное состояние, у «волков» из Крымского и Херсонского совнархозов — пятимиллионное, а у «волка» из Литвы Томашаукаса, кроме миллионов, мешок золота, в котором пуд золотых монет царской чеканки. Да, — вздохнул Собеседник, — жизнь не стоит на месте. Всё течет, всё изменяется — Гераклит. Диалектика — Ленин. Помните Октябрь 1917 года? Строители «нового мира» с наганами врывались в кулацкие избы, разбивали сундуки, в карманы совали кем-то скопленные царские пятерки и десятки, в буржуйских квартирах взламывали комоды и несгораемые сейфы, ломали буржуйские пальцы, стаскивая с них кольца. В подвалах чека и концентрационных лагерях закончилась жизнь кулаков и буржуев. Теперь в музеи сданы наганы и кожанки 1917 года. В 1961 году Хрущеву шил костюмы лучший римский портной. Дети и внуки тех давних строителей «нового мира», идеологически воспитавшись, уже не называются комиссарами и политруками. Теперь они — директора, управляющие, заведующие, ядро партии, так называемые «номенклатурные работники» при внушительных портфелях.

— При чем здесь портфели? — в недоумении спросил Автор.

— Ладно, — согласился Собеседник. — Портфели — ерунда. Возьмем лучше «Комсомольскую правду» за 23 мая 1961 года, заметку *«Кормушка закрыта на учет»*. Не буду пересказывать ее содержание, но вот такие строчки прочитаю:

> В комбинате Ростовуголь свили себе гнездо жулики-комбинаторы, которые на протяжении ряда лет... залазили в карман государства... Уршудзе с приятелями присвоил 2 000 000... Туркевич почти 4 000 000... а в общем жулики похитили из Ростовугля денег свыше 12 000 000, и разъехались в разные стороны, причем некоторые перешли на нелегальное положение...

— Загадка для пионеров: какая разница между аферистами Чикаго и Москвы, Лондона и Ростова-на-Дону? Прежде всего разница в том, что у одних нет партийных билетов, а у других — есть партийные билеты. И еще: иностранные аферисты не занимаются изучением идеологии, отечествен-

ные — изучив программу партии, превратились в директоров, пихают народ в коммунизм, попутно... Что попутно? Да вот она, статья *«Золотые россыпи»*, опубликованная в «Правде» за 24 июля 1963 года. «Правда» сообщает о том, что во Львове орудовала шайка казнокрадов. Шайку возглавлял директор универмага Е. Довбня. Из государственного кармана в карман шайки переложено более 7 000 000 рублей, причем один из «видных работников» города Львова, некий Вайман, обеспечил себя не только наличным миллионом, но и изрядным запасом золота и бриллиантов. А за несколько дней до этого организованного грабежа, газета «Советская торговля» (за 2 июля 1963 года) выступила с нравоучительной статьей: *«Беречь и приумножать народное добро»*. В этой проповеди «беречь» газета рассказывает о Днепропетровске, Ленинграде, Риге и других городах, где «раскрыты крупные хищения». О таких же, но только в других городах, «расхищениях» пишет и «Правда» за 28 мая 1965 года в статье *«Теплая компания»*. Под статьей — подпись сотрудника «Правды» Дьячкова. Дьячков возмущен:

> Передо мною приговор на ста двадцати страницах. Каждую строчку его нельзя читать без гнева и презрения к казнокрадам из Куйбышева...

— Я допускаю, — иронически вздохнул Собеседник, — что сотрудник «Правды» Дьячков с гневом и презрением читал стодвадцатистраничный приговор, но утверждаю, что о похождениях казнокрадов он рассказал с бойкостью мастера детективных новелл. Даже с восхищением! Он любуется этими ответственными, партийными руководителями, директорами, заведующими, председателями. Они умели красть казенные деньги, ловко превращая их в драгоценности, в дачи, во всё то, что так характерно для итальянского фильма «Дольче вита» — сладкая жизнь. К «сладкой жизни» бесцеремонно рвутся строители коммунизма, до того нахально рвутся, что эту тему затрагивают на партийных съездах, конференциях, пленумах. Пример? Газета «Советская Латвия» за 7 июля 1963 года поместила отчет о пленуме центрального комитета коммунистической партии Латвии. Выступил секретарь этой партии А. Воос. Воос с презрением и злобой обрушился на «казнокрадов», пробравшихся «на ответственные посты». И совершенно зря! Ведь всем известно, что никто в Советском Союзе «не пробирается« на ответственные посты, что на «ответственные посты» может посадить только партия и только своих, самых преданных, самых проверенных членов, тех, кого называют «номенкла-

турными работниками». Воос об этом промолчал, он перечислил «пробравшихся»: Пашко, Ческа, Тюриков и другие «ответственные». И всё. Получается даже так: стоит лишь «пробраться», потом — остальное — легко. В действительности — это не так: и «номенклатурным» гангстерам приходится попотеть, прежде чем сделать деньги. Об этом газеты не рассказывают, может быть даже потому, чтоб «не передавать опыт». Исключение позволила себе «Правда» за 5 июня 1967 года, в статье *«Особая вредность»*. Не будем вдаваться в глубокомысленные рассуждения «Правды». Идеология — нас мало интересует. Реальность — такова: в Москве есть Всесоюзный научно-исследовательский институт. Дело большое. При большом деле — большие деньги. Деньги — в большой кассе. Большой кассой заведует В. Гондагсазова. В некий прекрасный день Гондагсазова с тревогой сообщает московской милиции, что денежный сейф взломан и исчезла громадная сумма денег. Милиция поднята на ноги. Детали опускаем. Переходим к сути, к строчкам из «Правды»:

...работники милиции решили во что бы то ни стало схватить «медвежатника» за руку...

— И схватили... руку Гондагсазовой. Это она своими партийными ответственно-дамскими руками взломала сейф и похитила государственные деньги. На всё это «Правда» посмотрела с высот идеологии и сделала удивительное открытие:

...Расхитители, казнокрады государственных денег, часто ходят в общественниках, прикидываются передовиками, чтобы замаскировать свою далеко не передовую деятельность. Пользуясь близорукой доверчивостью, пролезают порой на весьма ответственные посты, и это — на пятидесятом году советской власти...

— Вы можете упрекнуть меня в некоторой тенденциозности, — сказал Собеседник, испытующе взглянув на Автора. — Упрекайте. но поймите, что меня не интересуют обычного типа уголовники, ну, те, которые под покровом ночи залазят в квартиры «ответственных» или подкарауливают «ответственных», чтобы крикнуть: «Руки вверх!» Мое *тенденциозное* внимание сосредоточено на тех, кто строит коммунизм. Мне даже кажется, что наша, вернее — ваша! задача, — тут Собеседник опять посмотрел на Автора, — серьезно заняться анатомией партийных аристократов. Тогда вы поймете, что моя (вам кажется: несколько озлобленная!) тенденциозность естественна. Хирург не любуется язвой. Он ее изучает. Партийный билет — язва власти на гни-

лом, наглом, примитивном «номенклатурном работнике». Идеи у него нет. Его идеал — кресло секретаря, кабинет директора и врученное ему право гнать людей в коммунизм. Верит ли он сам в этот коммунизм? Он верит в те деньги, которые крадет из касс и сейфов «нового мира». Но не думайте, что предмет его вожделения — только деньги! Нет. Есть еще и золото. Оно блестит, оно — благородный металл. К благородному металлу... не беспокойтесь, я не утомлю вас чтением статей! Просто: два-три примера. Вот статья: *«Ценитъ золото на вес золота»*. Элегантный заголовок? Он — в «Экономической газете» за 24 ноября 1962 года. Под заголовком — о том, что золото, добываемое в северных областях Советского Союза, уплывает в сторону; о том, что в Магаданской области пойманы такие-то и такие-то хищники с грузом «благородного металла»; о том, что таких хищников — много, и орудуют они не только в Магадане, но и в Якутской и Амурских областях. Газета не голословна, она утверждает:

> ...Кража золота на прииске Ыныкчан (Якутия) явление обычное. Горный мастер Дьячков, кассиры Бородин и Гордиевский, съёмщица промывочного прибора Миндаева присваивали золото и сбывали его перекупщикам...
>
> Разоблачена также большая группа расхитителей золота, орудовавшая в Тыгдинском районе Амурской области. В числе преступников оказались государственный контролер Верхотуров, мониторщик Ергашев, доводчик золота Косач, горный мастер Мысак и другие... Список разоблаченных можно было бы продолжить...

— Теперь — *«Балейские золотари»*. Статья из другой газеты, из «Известий» за 10 июня 1966 года. Начинается она патетическим восклицанием:

> Как они могли дойти до такого морального опустошения? Над этим вопросом задумывался каждый, кто присутствовал на процессе по делу группы расхитителей золота, который закончился недавно в Читинской области...

— Дальше следует перечень расхитителей. Длинный перечень, в котором представитель Москвы В. Тышлаков (из Московского авиационного института). Тышлаков грузил золото на самолеты и вместе со своим драгоценным багажом отправлялся в столицу. Потом появился представитель Кавказа — грузин Юрий Миндадзе. Он на самолетах перевозил золото на юг. Затем — объявился представитель Казахстана и... и вот вам заключительные строчки:

> Балейское золото стало растекаться. Преступники действовали осторожно, но всё-таки работники соответствующих органов их разоблачили...

— Вообще, — добавил Собеседник, — когда газеты рассказывают о деньгах, золоте, идущих в поместительные карманы ответственных грабителей, расхитителей и казнокрадов, то всегда под игривыми заголовками. В этой серии и *«Счастливый Али»* из газеты «Труд» за 19 апреля 1966 года. Тут уж союз между Москвой и Баку, таинственные операции и чистым золотом и золотыми монетами. Золото из Москвы — перекочевывает в Баку. В Баку — золото принимают контрабандисты. «Союз» Москвы и Баку, так сообщает газета, разрушает «соответствующий орган», и Али Аббас Керим-оглы, Бала Киши, Гаджи Искендеров (бакинцы), Ерошин, Власов и Кочетков (москвичи) «понесли должное наказание». А разве не оригинален заголовок *«Крушение нигилиста»* над статьей в «Комсомольской правде» за 25 июля 1962 года? Никакого «нигилиста» нет, есть — контрабандисты, «золотари», валютчики Ленинграда. Эти «нигилисты», что подчеркивает «Комсомольская правда», ответственные советские люди, получившие советское высшее образование, такие, как инженер Цыбуля, штурман Лобанов, конструктор Мельцер и прочие.

Но чтобы закончить разговор обо всем этом, помогающем трезвыми глазами увидеть строителей «нового мира», приведу выдержку из статьи *«Каменное дело»,* украсившей «Литературную газету» за 12 мая 1966 года:

> ...Петр Степанович Боровский... вышел на пенсию... Вечерами любил сидеть у телевизора и пить чай с вишневым вареньем. Иногда к нему в квартиру приходили гости, такие же, как он, солидные люди. И всё это выглядело вполне добродушно до тех пор, пока один из гостей Петра Степановича не был задержан в Свердловском аэропорту. Гостя звали Абдул Закиев. Гость возвращался из Свердловска на Кавказ. В его старом чемодане под скомканными грязными рубашками был обнаружен голубой застиранный платочек. В такие платочки аккуратные бабушки заворачивают денежку. Но здесь денег не было. В голубом платочке были завернуты драгоценные рубины. Всего 409 камней. А 409 драгоценных камней — количество вполне подходящее, когда речь идет о короне состоятельного монарха, но совсем непонятно, каким образом все эти сокровища могли оказаться в старом чемодане Абдулы Закиева. Тут есть над чем поломать голову...

— Голову ломать не стала «Литературная газета». Ее сотрудник побеседовал с прокурором Свердловской области Николаем Ивановичем Клиновым, который «Каменное дело» знает:

> ...во всех деталях и тонкостях, тем более, что в Свердловске уже были такие каменные дела: три года назад, и два года назад... но последнее — самое крупное...

— Свердловский прокурор рассказывает, сотрудник «Литературной газеты» записывает. Сотрудник чувствует, что к нему в руки плывет не обычный, банальный, уголовный материал, что «Каменное дело» — явление социальное, этакое наглядное пособие для изучения «нового мира». Откровенно говорить об этом нельзя, и сотрудник жеманничает: «...Можно начать прямо с детектива, так интересней...» Обещание остается без выполнения. Детектива «поинтересней» — нет. Есть казенная информация о том, что в Свердловске существует государственный завод по обработке, шлифовке, гранению драгоценных камней. Завод — специальный. Такие «специальные» заводы имеют и специальные, особо преданные, партийные кадры, особую охрану и классически поставленный учет. Ни один грамм драгоценных камней не может пропасть. А что происходит?

> Петру Степановичу Боровскому выносили фондированное, трижды фодированное дефицитное сырье, каждый грамм которого на строжайшем учете... Боровскому продавали драгоценные камни...
>
> У Боровского появились мастера-оптовики. Оптовики гранили камни для Боровского и на службе и дома. Из всех оптовиков отличался гражданин Игнатушко... На заводе он считался малоинициативным работником. Зато дома Игнатушко смонтировал гранильный станок, раздобыл два алмазных диска, так что мог работать на высоком уровне. При аресте Игнатушко обнаружили ограненые сапфиры и рубины, причем авторитетная экспертиза установила: «Все камни вполне соответствуют ГОСТам, государственным стандартам, и огранены ничуть не хуже, чем на самом первоклассном государственном предприятии».

— Не буду вас больше утомлять, — сказал Собеседник. — Но всё то, о чем я говорил, подкрепляя свои слова справками-документами из советских источников, вы учтите. И без скромности — отдавайте должное строителям коммунизма.

Автор усмехнулся. Нет, Автор ставит перед собою совершенно особую цель и эту цель не намерен погрести в ворохе партийно-уголовной хроники. Взгляд Автора направлен на судьбы людей, и потому...

Эти рассуждения Автора Собеседник прервал репликой:

— Ваше дело. Смотрите сами. Но не забывайте, что для понимания идеологических, социальных и прочих явлений подброшенный мною материалец имеет определенное значение.

— Хорошо, — согласился Автор. — Как справочный материал — принимаю, включу его в книгу, надеясь, что...

что ответственность за сухость этих справок падет на Собеседника.

Но «справочный материал» шестидесятых годов, для Автора, всего лишь дополнительные страницы, своеобразная дань Собеседнику, признание, что и он вносил свою лепту в создание «Моли».

Для Автора главное — прошлое, в границах которого довелось жить и ему самому, Автору. То, что за пределами этих границ, более близко и понятно Собеседнику, этому дотошному исследователю, говорящему о себе, что он «тенденциозен».

Автор не уклонялся от встреч с Собеседником. Наоборот, он любил этого резонера, ехидного и несколько озлобленного, но бесспорно пристального наблюдателя за всем тем, что творится в «новом мире» сегодня.

Выводы Собеседника, подчас стремительные и резкие, помогали, в этом убежден Автор, понимать *диалектику* эпохи, и потому Автор не отбрасывал их, считался с ними, как считаются режиссеры с подтекстом чеховских пьес.

Сказав об этом, Автор должен напомнить, что сам он живет в былом — нелегкой судьбой своих героев. Кой-кто из них уже сошел со сцены. Приближается и час прощания с Суходоловым и Решковым. Но это еще впереди, и в движении к последним страницам — Автор расскажет — —

О СМЕРТИ ПРОФЕССОРА ВОСКРЕСЕНСКОГО И О СУХОДОЛОВЕ, ИГРАЮЩЕМ СО СМЕРТЬЮ

Прошло достаточно времени с тех пор, как был списан «в расход» Ловшин, но о подробностях дела Суходолов ни разу не спросил. Это смущало и тревожило Атаманчика.

«Какой-то он другой теперь», — думал Атаманчик. Не догадываясь о том, что после потери Ксюши уже не стало прежнего Суходолова, Атаманчик попытался развеселить его *смешным* разговором.

— Ты только послушай, Семен Семенович, — болтал Атаманчик, — что было. Со Ступицей. Ступица, понимаешь, пристал ко мне. «Гей, Атаманчик, — говорил мне Ступица, — видишь: один я перед тобой. Скажи: где искать моего друга, моего дорогого Ловшина?» А я ему: «Ты о чем? О Ловшине? Выбыл твой дорогой дружок в неизвестном направлении. Адреса не оставил. Так что пиши ему *до востребования»* . .

«Ну и ну! — рассердился Ступица, а потом засмеялся: — До востребования? Без следа, значит, без отметинки?»

Суходолов слушал равнодушно.

— Семен Семенович, — растерянно прошептал Атаманчик. — Что с тобой? Выложи.

— Да что выкладывать? Вернулся я сюда, Атаманчик . . . а душа моя . . . она там, за Полярным Кругом. Сгорела душа моя вместе с Ксюшей, в той избе на золотом прииске. Вот смотри! — Суходолов рванул ворот рубахи и придвинулся к Атаманчику голой грудью. — Смотри! Там всё пусто! Так что и жить мне нечем.

И действительно, перед Атаманчиком сидел не Суходолов, а какой-то чужой человек. Самому же Суходолову и в голову не приходило, что поддерживает его лишь сила инстинктов, инерция его собственной, суходоловской, жизни.

Атаманчик посмотрел на Суходолова и словно разобравшись в его болезни, посоветовал:

— Из кольца, Семен Семенович, надо выходить. Ловшина спровадили. Время и другому *до востребования.*

— Другаса? Пока нет. Погоди. Не так уж долго ждать, когда я шепну тебе, Атаманчик, два слова, или Ступице, или Тобаридзе. Тогда — всё. Тогда — *до востребования* . . .

На том они и расстались . . . И вот однажды ночью проснулся Суходолов от толчка в груди и в темноте вроде бы стоял перед ним старик Воскресенский. Глаза старика были закрыты . . .

Тут Автор считает возможным еще раз напомнить, что к смерти старика Воскресенского Суходолов был подготовлен. Он ожидал эту смерть, успокаивая себя мыслью, что вот, дескать, умрет старик, будет похоронен на тихом кладбище, и тогда у него, у Суходолова, руки будут развязаны.

Теперь, когда этот час придвинулся, Суходолов растерялся.

Выходило так, что не он старика, а старик его поддерживал, что стоит исчезнуть этой поддержке — Суходолов окажется без опоры, не знающим, куда идти и что предпринимать.

А раньше что привязывало его к жизни? Была ли цель? Так или почти так думая, вспомнил этой ночью Суходолов своего отца, тамбовского крестьянина, потом свою Ксюшу. Была цель! Тамбовского крестьянина нет больше. Нет и Ксюши. Ничего не осталось. Не потому ли образовавшуюся пустоту он и заполнил теплым чувством к совсем чужому человеку?

Восстанавливалось далекое прошлое. Иногда совсем пустяковое, вроде той давней встречи с крикливой бабой, сознательной пролетаркой Мешковой. Она чуть ли не ревела, сыпала визгливыми словами, пробуя уговорить Суходолова.

— Да ты не прибедняйсь, — перебил тогда ее Суходолов, — ты выложи чистоганом двадцать золотых десяток. Царских. Вроде контрибуции за обиду старику Воскресенскому, которого ты, подлая душа, выживаешь из темной каморки. Чувствуешь? За обиду! Да поскорее. Мне прохлаждаться с тобою некогда!

Суходолов смотрел в темноту и как бы видел ту Мешкову, ноющую, пробующую доказать, что золота у нее нет, что о золоте, дескать, зря соседи от зависти треплются.

И как бы самого себя видел Суходолов, и свой пренебрежительный взмах рукой, и как бы слышал свои собственные, когда-то сказанные слова:

— Брось канителиться! Я же не всё твое золото требую, я по-честному, малую чутинку, чтоб ты знала, что я могу и больше потребовать, если против старика хоть слово вякнешь и будешь ему мешать доживать положенный век. Так что принеси монеты. На этом вот самом месте буду тебя ждать. Когда фонари зажгут. Слышишь? А не принесешь, так к тебе мой Атаманчик зайдет. Ему и передашь. Он у меня верный. Решай сама, как тебе сподручней!

— Атаманчика не надо! — в ужасе заскулила пролетарка Мешкова. — Я сама принесу. А может скинешь малость? Может десять монет довольно? Имей совесть.

На эти слова он тогда усмехнулся и сказал:

— Об совести я уже давно забыл думать. Да и не знаю, была ли она у меня? Да и ты, чай, совесть свою давно погребла. А потому . . .

И тут опять вроде бы увидел Суходолов самого себя и свои десять растопыренных пальцев. Два раза сунул он эти пальцы под нос Мешковой и подтвердил:

— Двадцать монет!

Так, с растопыренными пальцами, он и ушел тогда, проклинаемый пролетаркой Мешковой, не забывавшей, впрочем, добавлять:

— Ладно, злыдень, принесу сполна.

Всё это давнее было отодвинуто куда-то в сторону. Но вот нечаянно вспомнив об этой подлой Мешковой, сживавшей со света старика Воскресенского — Суходолов чуть не задохнулся. Как слепец, оторвавшийся от проводника, он в

испуге спросил себя, что будет, если старик действительно умрет?

Продолжая глядеть в темноту ночи, он не мог не вернуться к тем далеким дням, когда спас старика из подвала Лубянки. Что заставило его тогда сберечь жизнь этому профессору богословия? Суходолов на такой, самому себе заданный вопрос, не мог ответить. Ему просто казалось, что сохранил он старика для какой-то хорошей, обыкновенной, человеческой смерти. Ну, такой, чтоб кто-то подошел к гробу, вздохнул, а может быть и на колени опустился перед мертвым.

Мыслям не было конца. Суходолов не заметил, как наступил рассвет, и не сразу догадался, что перед ним стоят Атаманчик и Ступица.

— Что такое? — тревожно спросил Суходолов.

— Да вот . . . О старике. Помер, говорим, старик. Ночью.

Ступица и Атаманчик с удивлением смотрели на дергающиеся губы Суходолова.

— Да ты что, Семен Семенович, — прошептал Атаманчик. — Это же дело обычное. Ну, помёр! Пожил свое, отгоревал, что положено, и всё. Пора и спокой иметь. Это живым, Семен Семенович, надо суетиться, кумекать о том, о сём. А смерть — она не разбирается. С нею, брать, не поспоришь! Она в поддавки играть не станет.

— И вы его видели мертвым? — спросил Суходолов до того тихо, что Ступица, вроде бы оправдываясь, прошептал:

— Я видел. Поедем. Посмотришь и ты . . .

Они втроем отправились на Труханов остров, потихоньку вошли в маленький деревянный домик, в котором удивительно ласково пахло пустотой и совсем последней окончательностью.

Хромой инвалид, как будто бы уже загодя приготовившийся к встрече, развел руками и спокойно произнес:

— Видишь, вот оно и всё. Входите.

Они вошли в комнату с полузакрытой ставней. В комнате было сумеречно.

— Вон туда смотри, — перекрестился инвалид и показал глазами в угол.

Суходолов устало шевельнул губами.

— Туда смотри, — сурово приказал инвалид.

Суходолов взглянул и сразу догадался, что на узком деревянном топчане лежит мертвый Воскресенский. К топчану он подошел спокойно, но Ступице и Атаманчику показа-

лось, что сейчас случится страшное, вроде крика человека, не знающего, зачем жить дальше.

Но Суходолов не закричал. Он опустился на колени перед топчаном и прижался лицом к ногам покойника.

— Чего уж там, — сказал инвалид. — Могила, понимаешь, готова. И крест тоже. Хороший. Из вишневого дерева. Вишня, понимаешь, дерево крепкое. И тебя переживет.

— Переживет? — спросил Суходолов. — Это справедливо. А мне самому жить . . .

— Про то никому не известно, — согласился инвалид. — Твоя мать ведала, когда тебе на свет надо было появиться. А об остальном — без тебя кто-то рассудит. В этом не сомневайсь. Живи не торопясь. Всерьез и без игры. Она, брат, этого не любит.

— Кто она? — спросил Суходолов.

— Смерть, — проворчал инвалид. — С нею играть нечего.

Прошло несколько дней, и Суходолов никак не мог отвязаться от этих слов. Они казались ему загадочными, и чем больше пытался понять их, тем сильнее возникала потребность идти к смерти, желание самому проверить свою судьбу.

Когда из Москвы поступила *информация* о том, что в Питер-Ленинград, где только что убили Кирова, специальным двухвагонным поездом поедут вожди, Суходолов поднял брови и усмехнулся, подумав, что случай подкидывает ему повод для игры со смертью. *Информация* сообщала, что в такой-то день и час на предленинградской станции будут Решков и Мохов.

Суходолов потрогал кольт в кармане, позвал Тобаридзе, Атаманчика и Ступицу и рассказал им о том, что поедет на эту предленинградскую станцию Мга и там сведет старые счеты с Решковым и Моховым.

— Не хочу в долгу оставаться, — добавил Суходолов. — Пришел срок векселю. Так что поеду на Мгу.

— А не чудно́ тебе, — заспорил Тобаридзе, — что *информация* попала кружным путем? Тут чего-то не так. Похоже на провокацию . . .

— Я и сам подумал такое, да только . . . может информатор другого пути не имел? — возразил Суходолов. — Может что помешало? И потому, чтоб запутать след, ему надо было действовать не через Булдиху.

— И ты решил? — спросил Тобаридзе.

— Решил. Поеду.

— А может не надо? — простонал Ступица.

— Надо!

— Ну и чёрт с тобой, езжай! — крикнул Тобаридзе. — Только знаешь что? Дай мне два дня сроку. Я проверю. Достукаюсь до *информатора*. Скажет он — да! Тогда, что ж, езжай!

— Время зря терять? Не пойдет! — ответил Суходолов. — Что будет, то будет. Не мешай мне, Тобаридзе, поиграть со смертью. Рано или поздно — один конец.

— Я не против, — согласился Тобаридзе, — ты сам себе хозяин, Семен Семенович. Да только — дай мне два дня. Потом — дело твое. Хочу одного: чтоб действовал ты, зная, как, что и почему. А дальше — ныряй! С открытыми глазами. Так оно смешней.

— Чего ты ерунду треплешь, — вмешался Атаманчик. — Над чем смеешься?

— Да над тем, — глядя не на Атаманчика, а на Суходолова спокойно ответил Тобаридзе, — над тем смеюсь, что Суходолову *ксиву* подсунули, *липовую* информацию подкинули, а он поверил.

— Ничему я не поверил, — сказал Суходолов.

— Поедешь? Ага! Так ты сам лезешь им в руки! Брось, — стал просить Тобаридзе, — еще не поздно! Брось!

— Ты так думаешь? — спросил Суходолов. — А мне хочется попробовать, для проверки, что ли . . . Погорю? Что ж, ты посчитаешься с Решковым и Моховым. А когда будешь считаться, не забудь им сказать: это за Суходолова. А пока что — поеду. Пусть *ксива,* пусть *липа* та информация . . . а и в ней есть правда! Знаешь какая? Такая — на станции Мга будет не только Мохов, будет и Решков. Потому и поеду.

— А может я с тобой? — рванулся Атаманчик. — Вдвоем сподручней!

— Нет, Атаманчик, двоим на такой риск не след идти. Тебе надо остаться с Тобаридзе. Чтоб не долго смеялись Мохов и Решков.

— Как хочешь, — согласился Атаманчик. — А только зря ты тогда, на финской границе, велел мне оставить живым Мохова. Твой приказ я выполнил. Ну, скажи, зачем? Мохов теперь может думать, что откупился от нас за тот кошелечек с камешками, и улыбаться: кошелечек спас ему шкуру. Чувствуешь, Суходолов, как всё повернулось? Мохов теперь притаившись ждет конца *игры* на станции Мга. И он выиграет. За тебя он получит орден. Вот увидишь.

— Мне уже *тогда* поздно будет видеть, Атаманчик. Так что тебе и Тобаридзе придется поглядеть, как и что . . .

Обо всем этом, таком еще недавнем, в подробностях вспоминал Суходолов, сидя в вагоне пассажирского поезда, набитого людьми, едущими в Ленинград.

Он ничем не отличался от пассажиров. Как и все, он курил махорку, выгребая ее из кармана ватника, а в общем похож был на рабочего, для которого и существуют эти всегда переполненные поезда местного назначения.

Под его ватником был очень будничный, потрепанный пиджак, уже давным-давно пригодный для сдачи в утильсырье. Но точно такие же пиджаки висели и на плечах находящихся рядом, и потому Суходолов мог откровенно говорить с соседями или, наоборот, молчать, отвернувшись ото всех. Это никого не смущало, у каждого были свои заботы и мысли.

Суходолов сидел у окна, мимо которого бесконечной шеренгой торопливо бежали телеграфные столбы и смешно выворачивались леса и поля. Задумчиво следил он за тем, как вдруг открывшаяся снежная поляна кидалась в сторону, пропуская несущиеся сосновые волны. Но сосны тоже не задерживались, расступались, чтоб на мгновение могла показать свои избы бедная деревня, уходящая в ранние декабрьские сумерки.

Никто, конечно, не догадывался, что этот коренастый и угрюмый человек, напоминающий колхозника-отходника, живет мыслями о том, что должно произойти на станции Мга.

Поезд останавливался на всех маленьких станциях.

Суходолов читал их названия, в уме прикидывая, сколько еще таких остановок впереди.

Потом, когда наступила темнота и пассажиры начали дремать, он сунул руку в карман брюк. Это произошло минут за тридцать до прибытия на станцию Мга. Суходолов рукой определил, правильно ли лежит пистолет и можно ли его сразу, в нужный момент, пустить в ход.

И вот — последний перегон. Поезд остановился у небольшого вокзала с очень коротким названием: «МГА».

Надо было подниматься со скамьи и покидать вагон. Но Суходолов даже не шевельнулся. Склонив голову, исподлобья, он вглядывался в темнокрасный кирпич вокзальной стены, над которой — по меловому фону — стояли три черные буквы: МГА.

Внизу, чуть вправо от букв, на багажной тележке, скучно сидел человек в темных очках и с черными усами.

Темные очки, казалось, дремали и ни на что не обращали внимания. Разрушить дремоту мог только крик дежурного по станции:

— Ты! Давай тележку! Принимай почту!

Но дежурный не закричал.

Все, кому надо было выйти на станции Мга, уже вышли. Дежурный подал знак к отправлению. Сидящий на багажной тележке вскочил. Его темные очки медленно поворачивались слева направо. Они ощупывали каждый вагон.

— Ага, — прошептал Суходолов, и тут же вроде бы снял с чужого носа темные очки и сорвал вон те черные усы. Без очков и усов он увидел Мохова, который тогда, давно, короткой полярной весной, в точно таких же усах и с точно такими же очками приезжал на золотой прииск.

«Всё в порядке», — сказал себе Суходолов и посмотрел на буквы МГА, уже двинувшиеся в сторону.

Вслед этому движению человек в очках махнул рукой. Из каких-то щелей вынырнули люди и быстро зашагали к багажной тележке.

«Всё в порядке», — повторил Суходолов и медленно поднялся со скамьи. Он двигался не спеша, оглядывался, словно кого-то разыскивал. Так переходя из вагона в вагон, он попал, наконец, на площадку последнего вагона, высунулся из тамбура и в тот же миг заметил, что «зеленый свет» еще далекого семафора сменился «красным».

Что это значит, Суходолов понял. Ему было ясно, что Мохов поднял тревогу. На выходе — перед красным светом семафора — поезд задержат. Появятся чекисты. Что дальше? Нет, Суходолов не пожалел о своем решении поиграть со смертью. Но всё складывалось не так, как он думал. Поэтому... Да, игру надо отложить. Сейчас что? Поезд уже начал замедлять ход. Самое большее — через минуты две-три *они* появятся здесь, кинутся по вагонам. Интересно, будет ли тут Мохов в очках и при усах?

Суходолов переложил пистолет в боковой карман пиджака и сорвался с подножки вагона в темноту, очень трезво приноравливая силу своего толчка к быстроте движения поезда, теперь уже на тормозах идущего к красному свету семафора.

Тут Автор пропускает несколько дней, ничем примечательным не отмеченных с той минуты, когда Суходолов,

бросив поручни вагона, очутился под ночным северным небом.

Эти дни были наполнены приглушенной, но злой нервностью Тобаридзе и Атаманчика. Они ждали каких-то важных известий. Известия не поступали. Атаманчик и Тобаридзе обменивались взглядами из-под насупленных бровей.

Всё это настораживало Другаса. А не оправдавшие себя попытки узнать, куда уехал Суходолов, Другас воспринял как предупреждение, что *игра* приближается к концу, и что ему из этой игры вряд ли удастся благополучно выскользнуть.

Вспомнив о бесследно исчезнувшем Ловшине, Другас принялся убеждать самого себя, что ему не остается ничего другого, как *сорваться* и незаметно уехать. Другого выхода, так казалось ему, не было, но страх перед Решковым и Моховым заставил его остаться на месте и ждать *сигнала.*

Но *сигнал* не поступал, и Другас взялся за обработку Ступицы. Отчаянный, и вместе с тем простоватый, Ступица выглядел таким, кого за бутылкой водки легко втравить в нужный разговор.

Другас даже удивился, до чего легко откликнулся Ступица на предложение «выпить со скуки».

— Со скуки, говоришь? — спросил Ступица. — Верно. До каких пор маяться?

Другас вздрогнул от радости: если человеку «маятно», то влей ему в глотку хорошую порцию водки и дальше всё пойдет, как следует

Расчет Другаса был правильный, проверенный на практике, но на этот раз не оправдавшийся. А почему — о том в рассказе — —

КАК ВЕРНУЛСЯ СУХОДОЛОВ И КАК ЗАКОНЧИЛСЯ ДРУГАС

Всего лишь несколько раз побывал Другас в задней комнатке кабачка Наума, и вот уже почувствовал, что этот вечно полупьяный Ступица, хитро и, главное, незаметно, с наивной непосредственностью сбивает его с толку своей дурацкой болтовней.

— У тебя интерес к Ловшину? — спрашивал Ступица, подмигивая Другасу. — Знаю такого! Мой первый корешёк.

— Я о нем слышал, — равнодушно ответил Другас. — Говорят о нем . . .

— Ат! — махнул рукой Ступица. — Говорят! Говорят! А чего говорят? Треплются. Ты не смотри, что я маленько захмелел. Это ничего. Налей еще!

Другас налил.

— Будь здоров! — кивнул Ступица. — И примечай такое, слушай, Другас! Этот Ловшин был умный и, понимаешь, большой специалист по *стирошному делу*. К тому же он еще и бывший товарищ коммунист, марксист и вообще. Он сам о себе хвастал: «Я — психолог!» А когда кто над ним смеялся, над его *психологией,* он ругался и клялся, что только с психологией делают большие деньги. А над ним опять смеялись, шумели, спрашивали: «Ты же в тюрьме со своей психологией отсидку имел? Обманула, выходит, тебя твоя психология!»

— А где же он теперь, твой дружок Ловшин? С таким бы полезно и в пай войти. Потому играющих довольно. Раз Ловшин настоящий стирошник — деньги совсем просто взять. Ты как думаешь, Ступица?

— Мне чего думать? Я только говорю тебе, как говорил Ловшин: без психологии к стирошному ремеслу, к шулерству то есть, и приступать нечего: враз засыпка! Другой кумекает: научись подрезать карту, чтоб вместо валета туз объявился, и деньги сами нырнут в карман. Не нырнут! Подрезать, понятно, нужно уметь. Но пойми: для *стирошной* квалификации, для игры наверняка, этого маловато. Надо не только чисто подрезать, надо так уметь смотреть в глаза директору, чтоб ему муторно стало от стыда за вынутые из трестовской кассы деньги.

—Верно, — согласился Другас. — Я таких мастеров видел-перевидел. Ловшин, говоришь, был коммунист? Он, что ж, плюнул на стирошное дело? Да? И куда он теперь подался?

Ступица вроде бы не расслышал вопроса и продолжал расхваливать мастерство Ловшина, вспоминал его большие выигрыши и посмеивался:

— Вот бы тебе, Другас, научиться такому. Ты, по всему видать, и ученый, и по партийному можешь рассуждать. Ты, брат, штука тонкая . . . вроде Ловшина.

«Куда он клонит? — подумал насторожившийся Другас. — Всё кружит и кружит вокруг Ловшина, а напрямик ничего не говорит».

Дальше замелькали мысли о том, что всё это не случайно, что у Ступицы есть своя, какая-то особая цель. Потом, успокаивая себя, Другас решил, что Ступица остерегается На-

ума. Догадка была похожа на правду: вот и сейчас Наум прислушивался к разговору.

— Принеси-ка нам еще графинчик, — попросил Другас. — И закуски добавь.

Когда Наум поставил водку и закуску, Другас сказал:

— Уходи, Наум. Мы тут сами распорядимся.

— С чего такое? Я здесь не лишний.

— Лишний, лишний, — выпроваживал Наума Другас. — Твое ухо лишнее. А у меня со Ступицей душевный разговор предстоит.

— Чего ты Наума обидел? — спросил Ступица, когда захлопнулась дверь. — Человек он полезный. Кредит у него можно иметь.

— А мы за наличные, — пошутил Другас.

— У тебя, значит, наличные?! — удивился Ступица. — «Капитал» Карла Маркса или чистая валюта? На жаловании состоишь или аккордно работаешь?

— Ты куда это клонишь? — нахмурился Другас.

— Никуда. Просто интересует меня всё. Ну, вот, к примеру Ловшин. Он тоже . . . Всякое бывало. И кредит и чистоган. Разное бывало, — закончил Ступица и замолчал.

«Опять хитрит», — подумал Другас и сам принялся хитрить.

— Давай выпьем, — предложил он. — Вот этой, с лимонной корочкой.

Ступица кивнул головой.

— Еще по одной? — спросил Другас.

Ступица без слов выпил вторую стопку и с таким аппетитом начал закусывать, что Другас со злостью спросил:

— Ты что, про запас пузо набиваешь?

Третью стопку сам себе налил Ступица и засмеялся:

— Я, чувствуешь, в строительство коммунизма не верю. Вот в этот кусок краковской колбасы верю. Это точно. Остальное — не для меня. Это для Ловшина, хоть и сам-то Ловшин . . .

— Что Ловшин?

— Да как тебе сказать? Он трепался, хвастался, был, говорит, и марксистом, и доклады читал. А потом засыпался. С идеологией у него неувязка случилась . . .

— Об этом я слыхал, — перебил Ступицу Другас. — Ты что-нибудь новенькое про него.

— Новенькое? Нету новенького. А что засыпался Ловшин по стирошному делу . . . не повезло ему! Из партии выкинули. Ну, срок дали. Немножко посидел, а потом . . . и к

соответствующим обязанностям приспособили. К тонким обязанностям, к таким тонким, прямо волосок тоненький, а волосок этот ненадежный.

Ступица бормотал всё тише и тише. Голова его опускалась к столу, и, наконец, он заснул.

Подождав немного, Другас стал тормошить его.

— Ты чего? — с трудом открыв глаза, спросил Ступица.

— Пей!

— Вроде бы довольно, — зевая, ответил Ступица, но от стопки не отказался.

— Ты вот говорил о Ловшине, о какой-то тоненькой, как волосок обязанности. Волосок, выходит, оборвался. Да?

Другас хотел было еще что-то добавить, но остановился, заметив, что мутные глаза Ступицы очистились, стали злобно трезвыми.

— Ты что? — отшатнулся Другас.

— То самое, — спокойно, тихо и как бы по секрету зашептал Ступица. — Твой тоненький волосок, Другас, вот тут, у меня в кармане. Хочешь — покажу?

Он сунул руку в карман, словно в самом деле собираясь вытащить этот «волосок».

От жутко трезвого и страшного лица Ступицы повеяло холодом.

— Засиделись мы тут, — стараясь справиться с нервной дрожью, сказал Другас. — Давай кончать. Идем.

— Ты не торопись. Дверь за тобой закроют другие. Потом. Время у нас есть. А тебя я, Другас, люблю. Даже уважаю. Ты всё понимаешь и знаешь. В самых больших подробностях разбираешься. Так что уточнить многое можно. Сядь вот сюда, на этот стульчик.

Другас сел, и тут же поднялся, с тревогой наблюдая за Ступицей, теперь очень похожим на подкрадывающегося из засады врага.

Другас попятился, а когда стена, к которой он прижался, подтвердила, что дальше ходу нет, — застыл на месте и Ступица.

Другас съежился.

— Чего ты шарахаешься от меня? — всплеснув руками забормотал Ступица. — Я тебя люблю. Уважаю. Мне хочется тебя на руках носить, чтоб ножки твои не утруждались. А ты... Ты это зря думаешь, что у меня лукавство какое, или, там, умысел. Ты брось, Другас, про то думать. Мы с тобою, как родные братья. Я тебя насквозь вижу. И целиком тебе сочувствую.

— Ты болтай, да с оглядкой, — проворчал Другас, — А то...

— Что «то»? — подхватил Ступица.

— А то, — стараясь попасть в тон Ступице и тоже как будто хмельным голосом, сказал Другас, — что детскую ты провокацию строишь, пустяковую.

— Как? — согнувшись в пьяном смехе, повторил Ступица. — Детская провокация?

— Брось канителиться! — крикнул Другас. — И не разыгрывай меня!

— Я разыгрываю?! — с удивлением и уже трезвым голосом спросил Ступица. — Это не я, ты ведешь провокацию. И не пустяковую. Это ты готовишься к розыгрышу... может быть завтрашнему-послезавтрашнему. А чтоб я канителился? Нет, — Ступица плюнул на пол, качнулся, икнул и опять понес чепуху. — Мне действительно болтать нечего. Оглядываться мне надо. И ты смотри, оглядывайся. Ты — умный. Так что всё организуй как следует. Понимаешь? Во всем порядок должен быть. Такой до тошноты аккуратный и до тошноты скверный порядок, как в мертвецкой... куда приходят следователи и ведут туда свидетелей... чтобы свидетели опознали труп неизвестного. А свидетели, ты, Другас, запомни, не забывай, свидетели — они бывают разные. Свидетели стоят в мертвецкой, видят и знают, кто лежит перед ними, и нахально кивают головами и до удивительности честными голосами клянутся: «Нет, гражданин следователь, такого покойника не знаем. И в живых его никогда не встречали».

Другас оттолкнул наседавшего на него Ступицу и рванулся к дверям.

Ступица схватил его за руку и крикнул:

— Так что учти! Когда меня поволокут в мертвецкую опознавать твой труп, я тоже буду нахально кивать башкой и честно отрекаться от тебя.

Закрывая за собою дверь, Другас увидел, что Ступица уже сидит за столом, опустив голову.

В чем тут дело, Другас так и не смог разобраться. Но страх, что Ступица держит в руках «волосок» большой и таинственной игры, у Другаса остался.

Он попробовал успокаивать себя, следил за каждым своим шагом, чтобы избежать малейшей ошибки. Ошибок, казалось, не было, но тревога не рассеивалась. Объяснялось это, может быть, и тем, что Ступица стал появляться как-то уж очень неожиданно и таинственно.

— Фу, чёрт! — однажды почти что крикнул Другас, отшатнувшись от неизвестно откуда вынырнувшего Ступицы. — Опять ты здесь!

Это как будто обрадовало Ступицу.

— Ты не шарахайся! — с полупьяной лаской сказал он. — Ты будь со мною человеком. И брось думать, что я только и способен водку лакать. Я к тебе всей душой. Так что и ты ко мне можешь интерес иметь.

— Какой в тебе интерес! — плюнул Другас. — Иди ты к . . . знаешь куда?!

— Ты меня так далеко не посылай. Потом пожалеешь. Это когда будешь сигать глазами туда-сюда и скулёж устроишь: «Эй, Ступица! И где ты? Отзовись» . . . А я, брат, услышу такое, да притаюсь, и голоса не подам. Вот ты и завертишься!

После такого разговора еще больше стал присматриваться Другас к Ступице, и уже знал, что тот не зря прикидывается охмелевшим до бесчувствия. За всем этим *театром,* как определил Другас, кроется таинственный и страшный замысел.

Были моменты, когда, пытаясь разгадать намерения Ступицы, Другас сам кидался навстречу опасности. Это происходило тогда, когда у Ступицы не бывало денег на похмелье. Один раз Другас дал ему десять долларов, другой раз — пять фунтов. Но когда однажды на ладони Другаса лежало несколько золотых русских империалов, Ступица вдруг рассвирепел:

— Ты что? Чем я отдавать буду? У меня, брат, ни валюты, ни монеты — ничего.

— Бери, — усмехнулся Другас. — По дружбе. Смотришь, и ты мне в чем-то поможешь. Вот и квиты будем.

Как-то Ступица исчез. Когда же Другас спросил, куда такое девался Ступица, Тобаридзе прищурился и молча пожал плечами.

«А может быть навсегда?» — с радостью подумал Другас, представив себе Ступицу уже совсем безопасным трупом.

Но прошло дней десять, и перед Другасом опять оказался Ступица.

— Ты знаешь, — сказал он, даже не поздоровавшись, — о чем я думаю? О том, что ты сильно грамотный. И догадываешься о законах, по которым людей заставят жить? Ты что? Ты одобряешь такое царство, где всё будет по плану? Ну?

— Чего ты привязался, дьявол пьяный?

— Ну, — с удивлением забормотал Ступица. — Ты тут ни при чем. Что верно, то верно. Ты не какая-нибудь сволочь. Хотя, понимаешь, сволочь она обязательно имеется. Встречается. А со сволочью, сам догадываешься, разговор короткий. Ты — не такой. Ты — подходящий, соответствующий, и деньги у тебя водятся, вроде жалованье к тебе идет.

— Какое жалованье? — глухо и тревожно крикнул Другас. — Ты что? О чем речь ведешь?

— Не пугайсь! — махнул рукой Ступица. — Просить у тебя пятерку на похмелье не стану. За старое у меня еще с тобой расчет предстоит.

— Брось о долгах думать! — хлопнув по плечу Ступицу, со смехом сказал Другас. — Деньги у меня есть.

— Ну и хват! — одобрил Ступица. Потом тихо добавил: — Раз деньги есть, не пойти ли в шалман Булдихи?

Другас вздрогнул. Ему уже довелось как-то, вместе с Атаманчиком, побывать у Булдихи, но стать «своим» в шалмане он не смог. Когда же он сам рискнул зайти туда, Булдиха встретила его настороженно и откровенно сказала:

— Тут тебе делать нечего!

Путь к Булдихе был отрезан... А вот теперь, через столько-то времени. Ступица может ввести его в шалман. Другас заволновался. Действовать надо осторожно. Промолчав, что Булдиху он знает, Другас махнул рукой.

— Какая такая Булдиха? — равнодушно спросил он и зевнул. — Красотка твоя, что ли? Мне до нее интереса нет.

Другас говорил с такой пренебрежительностью, что Ступица в недоумении заморгал.

— Ты не обижайся, Ступица. Твоя Булдиха может и занятная, да только... Как бы тебе объяснить? Я, знаешь, не монах, да бабы для меня, так, между прочим. Тьфу! Не в них для меня интерес. Через них одна канитель и помеха. А мне, слышишь, надо одно дело сделать.

— Дело сделать? Что ж! Только поостерегись, потому что...

Что «потому» — Ступица не сказал. Видимо догадавшись, что разболтался чересчур, он сразу же перекинулся на мелочь и пустился объяснять, что Булдиха никакая не красотка, а просто старая ведьма.

— Она деньгу любит, — убеждал Ступица. — А зачем — неизвестно. Ей, понимаешь, умирать пора, а жадная, как финагент.

— С меня налогов не возьмешь! — рассмеялся Другас.

— Ой ли! — воскликнул Ступица. — Она — ловкая. Ее без перчаток не трогай. Она любого обойдет. Она, брат такая . . .

— Видал я таких!

— Ну, не хвастай! — заспорил Ступица, теперь уже хитро свежими глазами посмотрев на Другаса. Этот оценивающий взгляд смутил Другаса.

— Да ну ее, твою Булдиху!

— Ты это зря, — разглядывая Другаса, бормотал Ступица. — Прямо зря. Она, брат, кой-чего стоит. С ней разговоры разговаривают и с ней водятся такие . . . не тебе и не мне пара.

— Ишь, ты, куда гнешь! — ухмыльнулся Другас. — Ну, шалман. Там, может, и в очко играют? Да мало ли таких Булдих в Киеве?

— Не скажи! Булдиха — не как все. У нее дело серьезное. Хотя, конечно, и тем и сем промышляет. Но это так, между прочим. Главное же в том . . .

Но в чем «главное» — Ступица так и не объяснил.

«Хитрит, — подумал Другас, — ведет к тому, чтобы я его начал расспрашивать о Булдихе . . .»

— Заболтался я с тобой, — пренебрежительно кинул Другас. — А вообще ты занятный. Так что когда и еще разок встретимся. А пока — будь здоров.

— Ты что?! — воскликнул Ступица. — Уходишь?

— Пойду.

— А может . . . Давай завалимся к Булдихе? Ну!

— На кой дьявол сдалась мне твоя старая ведьма!

— Да ты погоди, — чуть не хватая Другаса за рукав, уговаривал Ступица.

— Отстань! — бросил Другас и даже не простившись, быстро зашагал по переулку. Потом, заворачивая за угол, он осторожно оглянулся и подумал: «Он хотел меня поймать на приманку, и сам попался».

Но уже через несколько дней, в кабачке Наума, Другас понял, что и дружба с Суходоловым, и презрительно-насмешливое отношение всех к Ступице — лишь развитие серьезной игры, ставкой в которой была его собственная судьба.

Кто-то из сидящих за столом, вспомнив Ловшина, скверно выругался и сказал:

— Сволочь! Сволочь к нам подкидывают.

На эти слова никто не откликнулся. Молчание встревожило Другаса и он, словно проверяя самого себя, тоже руг-

нулся и пошел говорить о том, что сволочей кругом полным-полно.

— Верить с закрытыми глазами нельзя. Смотреть надо. Другой-любой сидит сбоку, а что замышляет — разве угадаешь? *Шухер* двигается потихоньку, не разберешь, с какой стороны.

— Да?! — не то спросил, не то подтвердил Суходолов, кинув быстрый взгляд на Другаса.

— А ты что? Сомневаешься? — пробормотал Другас.

Суходолов не успел ответить, как открылась дверь и вошел Ступица.

— Подвинься! — сказал он и толкнул Другаса. — Еще жив? Даже хорошо, что жив. Мы с тобой еще не всё обговорили.

— О чем таком с тобой говорить? — огрызнулся Другас.

— Как о чем?! — удивился Ступица. — Обо многом. О разных там планах. О моих и о твоих. Чтоб потом, значит, к расчету.

— К какому расчету? — с насмешкой спросил Суходолов.

— В подробностях точно знаю, — обрадовался Ступица. — Обо всем на свете знаю. И о себе и о Другасе. Обо всем настолько осведомлен, что дальше некуда. Правда, Другас?

Другас со злостью сбросил со своего плеча руку Ступицы.

— Видишь, Семен Семеныч, — Ступица повернулся к Суходолову, — видишь, до чего интеллигентно любит меня Другас? Прямо требует, чтоб я его обнимал. И обнять могу, — захохотал Ступица и обвил руками шею Другаса.

Другас с силой отпихнул Ступицу.

— Ты это что! — еле удержавшись на ногах, крикнул Ступица и так стремительно кинулся на Другаса, что мало кто заметил блеснувший нож. Но финка полетела в угол. Перед Ступицей стоял Суходолов.

— Ну, ну, — сказал он спокойно. — Садись! Выпей, Ступица, беленького. Так оно лучше пока.

Ступица схватил стакан водки, торопливо выпил, потом с удивлением посмотрел на Суходолова и спросил:

— Значит: пусть живет?

— Да ты выпей еще! — вместо ответа стал уговаривать Суходолов. — Держи стакан!

— И выпью! — зашумел охмелевший Ступица. — А что амнистируешь, так с тем я не согласен. Возражаю! Заметь: возражает не Ступица, а бывшая личность по имени, отчеству и фамилии . . .

— Кому нужна фамилия бывшей личности? — засмеялся Суходолов. — Перестань, Ступица. Выпей еще!

— И выпью! — еле ворочая языком, ответил Ступица. — Верно: кому потребна моя фамилия? Так что выпью . . .

Он протянул руку к стакану, но тут же вяло шатнулся, опустил голову на край стола и тяжело заснул.

Такое с ним случилось впервые. И об этом он не любил вспоминать, а если и приходилось, то оправдывался: комедию, дескать, ломал! Но потом, через неделю или больше, когда Атаманчик восстановил всю историю с «комедией», похлопал по плечу и похвалил за «чистую работу», Ступица просто сказал, что Другас «отправился в вечную командировку».

— В вечную? — повторил Атаманчик и добавил: — Вот ты какой! Пули не пожалел! Не амнистировал, выходит?

— Ты что-то несуразное плетешь, Атаманчик! — запротестовал Ступица. — Неужто в самом деле кто вывел Другаса из *темной* игры? Скажи — пожалуй! А я и не знал! Так что . . .эх, и хорошая у тебя, Атаманчик, кличка: *атаманчик!* Налей стопку!

В тот самый вечер, когда вот так балаганил Ступица, и произошел — —

ЗАВЕРШАЮЩИЙ РАЗГОВОР РЕШКОВА С КУЛИБИНЫМ

— Если б я вел дневники, — сказал Решков, — то написал бы строчки о том, что шагать мне уже больше некуда. И не потому, что сил нет. Просто так. Желания жить нет. Вы меня понимаете?

Кулибин, откинувшись в кресле, смотрел на Решкова и не видел его. Вернее, видел, но очень смутно, в интервалах, случайно возникающих в потоке картин. Картины двигались. Не связанные друг с другом, они возникали и пропадали, восстанавливая события вчерашние и очень давние, подчас настолько незначительные, что трудно было определить, к какому году они относятся.

Вместе взятые, картины воссоздавали историю его дружбы с Решковым, но не в четком чередовании лет, месяцев и недель, а в хаотическом мелькании, очень напоминающем отдельные листки бумаги, выхваченные из тщательно хранимого, но теперь уже разрушенного, архива. Дорогие за-

писки и документы подхватывал ветер, путал их и, наигравшись, лениво оставлял на панели.

Понадобилось усилие воли, чтобы заставить себя вернуться в мир реальных вещей и увидеть обычного Решкова. И всё остальное — знакомое и примелькавшееся. Ту же самую нарядную квартиру с паркетным полом, тот же книжный шкаф, письменный стол и старинные часы в дубовой оправе, украшенной сложной инкрустацией — смесью перламутра, карельской березы и серебра.

Когда впервые столкнулся Кулибин с этими часами? Давно. Лет пятнадцать назад.

Кулибин не помнил, на втором или третьем году революции привел его в свою квартиру Решков, но с отчетливостью восстановил подробности этого несколько странного соприкосновения с судьбой одного из видных чекистов.

Зачем тому был нужен Кулибин? Что это? Каприз Решкова, желание отдохнуть от страшной работы *там?* А может быть искреннее желание душевно поговорить с обычным интеллигентным человеком?

Тогда, пятнадцать или более лет назад, Решков усадил Кулибина на диван, предложил бокал хорошего вина и отличную папиросу. Потом, заметив, что Кулибин рассматривает часы, Решков вдруг сказал, что эти часы — от пола и до потолка — удивительно похожи на саркофаг, внутри которого медленно и обреченно раскачивается диск маятника.

О чем еще говорил *тогда* Решков? О том, что эти уютные комнаты — чужие, что всё, находящееся здесь — чужое, никогда ему не принадлежавшее. В этой квартире, говорил Решков, не так давно сидел *настоящий* хозяин. Сидел на этом диване, и думал о чем-то своем, интересном и очень серьезном.

А вот теперь, через пятнадцать или более лет, тот же самый Решков склонился к Кулибину и спросил:

— Понимаете? У меня нет сил жить. Но я живу. В чужой квартире. Среди всего чужого. А зачем — и сам не знаю. Не знаю, Владимир Борисович! — с тоской воскликнул Решков. — Скажите мне что-нибудь. Не молчите. Это наш с вами последний разговор.

Кулибин хрустнул пальцами. Перед ним был Решков — сегодняшний, с тяжелыми синцами под глазами, с нездоровым цветом лица — последствия наркотиков.

— Не имеете права молчать, вы обязаны спрашивать, чинить допрос, — склонившись над столом, говорил Решков. — Хотя бы потому, что вам придется дописывать ту книгу,

которую я так и не увижу, не прочитаю о самом себе, о *герое* нашего времени.

— Вы не герой, Леонид Николаевич! Вы — жертва *нашего* времени. Ужас не в том, Леонид Николаевич, что вы *жертва,* ужас в том, что вы, будучи жертвой, вы на жертвенник бессмысленной идеи бросаете другие, хорошие жизни. Вы хотите перестать это делать, и не можете. И не сможете. Почему? Этого я не понимаю. Ведь вы не трус. Вы могли бы остановиться. Но не останавливаетесь. Тут какая-то психологическая загадка . . .

— Загадки нет, — махнул рукой Решков. — Погодите. Я сейчас приду.

Вернулся он минут через пять, порозовевший и оживленный.

«Опять шприц», — подумал Кулибин.

— Я вас слушаю, Владимир Борисович! — с улыбкой сказал Решков. — Вы что-то насчет психологической загадки? Понимаю: она вас интересует! Как находка для вашей будущей книги? Для меня . . . На себя я смотрю без очков. У меня хорошее зрение. Загадки не вижу. Вы сказали, что я не трус. Вы ошиблись! Вспомните все наши беседы. Вы меня знаете, как ладонь своей руки. Вы меня изучили . . . изучали, как героя, одного из героев ваших записок. Вы всё знаете обо мне. И одного лишь не знаете, что я . . . Возможно, есть какое-то другое слово для определения, но я его не нахожу. Я — психический трус! Не психопат в обычном понимании. Психопат не рассуждает. Психический трус трезво оценивает каждый свой шаг, любое свое движение и судорожно цепляется за жизнь. Если бы вы знали, Владимир Борисович, сколько раз я думал об этом и сколько раз сам себе выносил приговор . . . и продолжаю жить в чужой квартире, среди чужих, никогда не принадлежавших мне вещей . . . продолжаю командовать людьми, которых я *боюсь.* Вы можете сказать, Владимир Борисович, что жестокий человек — всегда трус. Не спорю. Но эта истина относится к примитивно жестокому человеку. А здесь . . . здесь что-то другое. Тут жестокость идеологическая, политическая, жестокость морально опустошенных, наследственных уродов, наконец-таки дорвавшихся до власти. Нет, нет, вину за всё происходящее я не буду взваливать на Ленина, Сталина и Дзержинского. Во всем повинны мы — Решковы. Мы — Решковы — создали и Ленина, и Сталина, и Дзержинского. Без нас, без Решковых, они — нуль. Но этот *нуль* нужен нам, Решковым, как символ нашей власти над всем чужим,

над чужой совестью, над чужой жизнью. Мы добились своего. На нашем знамени кровью должно быть написано: «Да здравствует жестокая трусость!» Трусы управляют всем! Вы думаете, я не удивляюсь этому? Удивляюсь грому народных аплодисментов и глазам с блеском лживого восхищения. Я бывал в театрах, превращенных в залы заседаний, и в Кремле, и еще во многих импозантных местах — и всюду сцена, игра, постановка, комедия «строительства коммунизма», разыгрываемая *трусами*. А зрители? Вот их-то я и не понимаю! Они делают вид, что комедия им по душе, что они родились и живут лишь для того, чтобы рукоплескать этой скучной, подлой, затянувшейся комедии. Вам приходилось бывать на таких *торжествах*? Нет? Жаль. Вы видели Ленина или Сталина? Не видели? Тогда приглядитесь к их портретам. На них вы увидите тревожно-трусливые глаза. Даже художники не смогли до конца убрать отблеск трусости из глаз вождей!

— Так всё-таки, на чем же держится *ваша* власть? — спросил Кулибин.

— Я уже говорил. Добавлю: наша власть держится на нашей боязни свободы и на нашей зависти к этой свободе. Из боязни свободы и из зависти к этой свободе — родилась наша жестокость. Да, из зависти тоже. Отказавшись от свободы — мы завидуем свободным, умным, непринужденным беседам, интересным — чужим — книгам, завидуем всему улыбающемуся, завидуем чужим красивым женщинам. Завидуем, как завидует тип с провалившимся носом, озлобленно посматривающий из-под красных гниющих век на проходящих веселых, здоровых людей. Его мечта: увидеть всё человечество безносым и гниющим! Вы поежились, Владимир Борисович? Вам хочется отодвинуться от таких неуютных представлений? Вы устали, — перейдя на шепот, продолжал Решков. — Но почему устал народ? Почему он празднует очередные октябрьские годовщины — триумф психических трусов? Почему молчит? Что? Память отшибло? Всё предано забвению. Всё забыто. Безнадежность? Но представьте себе, что кто-то вдруг нарушил бы это сонное, рабье равнодушие! Представьте себе, что кто-то нашел пистолет или раскопал спрятанный со времен гражданской войны дедовский или отцовский карабин и выстрелил? Выстрел разбудил бы страну . . . Но так пока не случилось. И за это страна тяжело платит и еще тяжелее будет платить, будет выполнять *нами* устанавливаемые законы, подчиняться *нашим* программам, слушать *наши* проповеди, петь *наши*

песни... забудет всё *своё* и будет покорно служить *нам.* А мне... мне до нестерпимости хочется, чтобы всё это прекратилось, чтобы нам перестали подчиняться, чтобы свергли *нас,* политических сифилитиков, мечтающих весь мир превратить в морду с провалившимся носом. На меня даже накатывалась иногда дикая мысль произвести тот выстрел, который разбудит спящих, вырвет их из позорного равнодушия. Но я этого не сделал и никогда не сделаю. Потому что я *трус*... Я знаю: много, бесконечно много таких, как я, к кому приходит точно такая же мысль о выстреле. Я подло жду, что кто-то другой сделает то, что мне не по силам. А те, другие... тоже ждут... надеются на *другие* руки... А я... я даже подготавливал одного такого, толкал его, провоцировал. Видите, какой я? Дорогой мой, милый, наивный, честный Владимир Борисович! Я знаю, где-то в глубине души вы оправдываете меня. Признавая меня не *героем,* а жертвой, вы — из великого сострадания ко мне — подбиваете меня на то, чтоб я оглянулся и стал иным. Я не могу быть иным. И вместе с тем... вы знаете о моей былой дружбе с замечательным, искренним человеком... ну, с тем крестьянским сыном, Семеном Суходоловым. Он поверил в революцию, в Ленина, в Октябрь, как в грядущее счастье для всех. Революция не может быть плохой, революция творится для хорошего и для хороших людей, говорил этот Суходолов. Он увидел, что это не так... а потом... остальное... вы знаете, Владимир Борисович, как я, Леонид Николаевич Решков, подготавливал крушение Суходолова, превратил его в то, что теперь называют врагом народа. Для чего я всё это делал? Для того, чтобы Суходолов произвел тот *выстрел,* на который я — психический трус — не способен. Но то ли я допустил какую-то ошибку, то ли расчеты мои были не верными... всё как-то затянулось. И вот — я устал ждать. Я принялся подталкивать Суходолова к действию. Я его окружил сетью агентуры. Наконец, я дал ему понять, что тайна его, суходоловского, человека, приютившегося где-то здесь, в Москве, около меня, около нас, в *моих* руках. Значит — Суходолову надо торопиться с тем, что он задумал. А он не торопился. Тогда... тогда к нему поступила *информация,* что не кто другой, а Решков возьмет его, Суходолова, бросит в подвал и превратит в труп. Это тоже не помогло. Тогда я... потому что я устал ждать, Владимир Борисович! — тогда я *сыграл* в открытую: я сообщил ему через верного человека, что хочу встретиться с ним, с государственным преступником, с изменником Сухо-

доловым, числящимся в реестре стоящих вне закона. Он не побоялся. Встреча состоялась. Мы сидели на пнях в Полесском лесу. В точно установленном месте и в точно установленное время. Сидели друг против друга... И когда говорить было уже не о чем, я сказал ему, этому Семену Семеновичу Суходолову, что тут, в чащобе Полесья, один из нас должен остаться. «Так что спеши расправиться со мною, — сказал я Суходолову, — пока я не суну руку в карман, спеши расправиться за всё, за свою Ксюшу, за старика Воскресенского, за всю свою обманувшуюся жизнь, за революцию, в которую ты так верил». И знаете что, Владимир Борисович? Он, этот Суходолов, разгадал всё. Он опустил голову на руки, посмотрел мне в глаза, и сказал так, как будто знал меня лучше, чем самого себя. «Ты — моль, — сказал мне Суходолов, — ты испакостил здоровое зерно. Я тоже был молью, — сказал дальше Суходолов, — только я оторвался от зерна. А у тебя нет сил, и вот ты ищешь, чтоб я тебя кончил, освободил тебя от того, от чего ты сам не можешь освободиться. Так я того в сей час не сделаю, домучивайся сам, и сам решай свою судьбу. А если не сможешь, что ж, приходи ко мне в другой раз, я тебе помогу». Тут я, Владимир Борисович, медленно шевельнул рукой, потом поднял ее и осторожно и медленно начал опускать в карман. Это я давал время Суходолову, чтоб он первым рванулся к пистолету. А он, он, Семен Семеныч, поднялся с пня, повернулся ко мне спиной и спокойно пошел прочь. А я... я тоже, спустя минут десять, тоже встал и пошел. И вернулся в Москву. В Москве, вот перед этими часами, мы с вами, Владимир Борисович, сегодня разговариваем... а послезавтра я опять поеду туда, для последней встречи с Суходоловым. Что станет делать Суходолов *после* меня, не знаю. Если вы узнаете, впишите, пожалуйста, в вашу книгу... ее вы собираетесь назвать «Молью».

Кулибину хотелось было сказать, что теперь уже действительно есть всё для заключительных страниц книги, которую не доведется читать Решкову. Но говорить было нелегко. К тому же Решков вдруг засуетился, поправил скатерть на столе, потом — словно вспомнив о чем-то важном — сказал:

— Сколько лет нашей странной дружбе? Счет времени вели вот эти чужие мне часы в чужой, не мне принадлежащей квартире, среди чужих кресел и не для меня собранных книг, стоящих в строгом порядке в чужом для меня шкафу. И вы мне чужой! Добрый, старый и никому не

нужный Владимир Борисович... Подождите! У меня есть еще бутылка хорошего французского вина.

Он торопливо вышел в другую комнату. Кулибин услышал, как хлопнула еще одна дверь.

Решков вернулся с вином.

На часах — было после десяти. За окнами уже стояла плотная темнота.

— Вот мы и прощаемся, Владимир Борисович, — сказал Решков, протягивая руку. — Как жаль, что я не смогу узнать, что произойдет *после* меня. А после меня — начнется послезавтра.

Потом Кулибин ушел... И не знал, что с балкона третьего этажа за его шагами задумчиво следил Решков.

Кулибин двигался медленно. Иногда он останавливался, в недоумении поднимал плечи: ему не верилось, что несколько минут назад определилась граница, некая таинственная черта, за которую послезавтра уйдет Решков, чтобы закончить свою изломанную жизнь.

Уже очутившись в своей неуютной, полуподвальной комнатке, Кулибин еще долго сидел на железной кровати, вперив взгляд в желтую заплату на старом солдатском одеяле. Заплата была маленькая, но на ней, так казалось Кулибину, некий художник с великим мастерством сумел поместить множество выразительных иллюстраций к такой простой и вместе с тем очень сложной биографии Решкова. На заплате была вся его жизнь, за исключением последних минут... потому что в *такие* последние минуты не верил Кулибин. Он отказывался признать правду слов Решкова, заявившего, что послезавтрашняя жизнь будет продолжаться, но уже без него, Леонида Николаевича Решкова.

Сомнения Кулибина были естественны и законны: он любил Решкова, он хотел сохранить мечту, что Решков, в конце концов, победит самого себя.

Мечта не оправдалась. И об этом будет сказано в записке — —

О ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА РЕШКОВА

Автор переходит к строчкам, очень жестоким, может быть даже не совсем нужным в своем натурализме. Но от этих строчек Автор не может отказаться. Они, эти строчки, необходимы. Без них не будет до конца понят Решков.

Так вот — опять, во второй раз, была чащоба Полесья.

— И ты пойдешь со мною? — спросил Суходолов Решкова.

— Пойду.

— А может — не надо?

— Идем, — ответил Решков. — Сам с собою я не могу рассчитаться. Так что идем . . .

Они пошли. Не по тропинке. Просто по лесу. Старые сосны разглядывали идущих.

Решков остановился и повернулся к Суходолову.

— Ну! — этим коротким восклицанием он вроде бы толкнул Суходолова, и тут же упал, навсегда притихший и мертвый.

Над притихшим и мертвым Решковым стоял Суходолов. Он себя не осуждал, хотя чувствовал, что нужное сейчас — отвернуться от покойника и продолжать свой путь среди тех же вековых сосен.

Но отвернулся он далеко не сразу. Он даже удивлялся, почему нет сил оторваться от неживых и страшных в своей теперешней неподвижности глаз Решкова, и крови где-то около виска . . .

— Вот и всё, — прошептал, наконец, Суходолов, с удивлением наблюдая за жирной мухой, уже пристроившейся у левого глаза Решкова.

«Вот и всё», — этим шепотом Суходолова Автор решил было закончить книгу «Моль», *действо,* вобравшее в себя разрозненные, хронологически не всегда связанные между собою давние события.

Рассказ об этих событиях, так думалось Автору, в какой-то мере поможет читателю разобраться в шатаниях и поединках больших и маленьких душ — душ палачей и жертв.

Автор сознает, что с его философско-эстетическими построениями кой-кто не согласится. Ну и что же? Бесспорного — вообще нет. На бесспорность — Автор не претендует. Тем более, что он, Автор, — и то по счастливой случайности — смог сберечь лишь частицу своих скупых записей и беглых заметок, последняя из которых датирована декабрем 1934 года.

Восстанавливая это совершенно определенное время по сохранившимся запискам и заметкам, Автор и говорит о нем с тем большим основанием, что в *том времени* довелось жить и самому Автору. Отсюда и налет *историзма,* или, проще, истории своего народа, от которой никуда не уйти и которую надо принимать такой, какой она есть..

Кой-кто возмутится, назовет Автора мракобесом, белогвардейцем, клеветником и фальсификатором. От «белогвардейца» — Автор не открещивается. Что было, то было. Но мракобесие, клевету и фальсификацию, Автор решительно отбрасывает: этого нет. Ссылки на документы и факты, приведенные в «Моли», до того легко поддаются проверке, что дотошный критик может воскликнуть в восторге: «Это — литература документальная!»

Автор не желает вступать в дискуссию. Он просто говорит, что всё написанное им — скромное желание откликнуться на завет Пушкина:

«Да ведают потомки православных
Своей земли минувшую судьбу . . .»

Этим всё сказано. Автор с грустью расстается с героями своего *действа.* Дописать осталось немногое.

— Вот и всё, — повторяет Автор произнесенные Суходоловым слова в Полесском лесу.

Автор поднимает глаза, долго и внимательно рассматривает календарь. На календаре — последний день Уходящего Года.

— Да, —говорит себе Автор, — наступает Новый Год . . .

Автор не стал подсчитывать, сколько лет лежит между Тем и Этим. Он взглянул на оставшиеся от прошлого, чудом сохранившиеся, уже пожелтевшие листки бумаги. И на рукопись, вобравшую в себя, как губка вбирает влагу, заметки с эпизодами, с чьими-то мыслями, с судьбами людей, многих из которых Автор спрятал под вымышленными фамилиями, с победами и поражениями, со взлётом и падением.

Автор ясно видит *светлого* Владимира Борисовича Кулибина. Тот тоже вел дневники и записи, присматривался ко *времени* и к людям того времени. Для чего? Ах, да: ведь Решков, и не один раз, с грустью говорил Кулибину: «Как бы я хотел, Владимир Борисович, прочитать ту книгу, которую вы напишите».

Решков ушел из жизни в 1934 году, так и не дождавшись книги. Да и была ли она, эта книга? Вряд ли. Верней всего, не была. А записки Кулибина исчезли, брошенные дворником в печь или сданные в утильсырье после того, как из полуподвальной комнатушки вынесли мертвого, никому не нужного, корректора.

И тут Автор вспомнил, что в «Моли» есть страницы о том, как он сам, Автор, отрываясь от письменного стола, уходил иногда в ресторан Кюблера, в придуманный для себя уголок одиночества в центре громадного европейского города.

Автор взглянул на календарь. Календарь подтвердил, что идет к концу последний день Старого Года. Автор посмотрел на часы: восемь! Через четыре часа — встреча Нового Года.

Автор с грустной осторожностью погладил свою рукопись: он прощался с людьми, населившими ее, прощался с сожалением, с несколько больной улыбкой. Такой улыбкой успокаивают себя люди, отворачиваясь от свежей могилы.

Когда часы показали десять, Автор покинул свою крохотную, обжитую, уютную квартирку, и минут через пять уже сидел в трамвае, совершенно твердо зная, что свое *действо,* под несколько символическим названием «Моль», закончит страницами о том — —

КАК В РЕСТОРАНЕ КЮБЛЕРА БЫЛ ВСТРЕЧЕН НОВЫЙ ГОД

Уже издали Автор увидел, что сегодня, в канун Нового Года, ему вряд ли удастся занять свое... да, да, свое излюбленное место, в уголке слева.

Это его огорчило. Ему обязательно нужен свой уголок *одиночества,* откуда так прекрасно виден пестрый мир случайных людей, случайных жизней — очень разных и таких близких.

Не успел он сделать и нескольких шагов, как заметил, что *его* уголок еще свободен. Он кинулся туда, кого-то обогнал, и только потом сообразил, что маленький столик — самое большое для двоих — сегодня не в спросе. Сегодня люди сидят компаниями, за большими столами, уставленными напитками и закусками. Всюду — смех и оживленный, предновогодний разговор.

Но Автору остаться одному всё же не удалось. К уголку приблизился пожилой господин с несколько усталым лицом.

— Простите, — сказал он, — вы никого не ждете? Можно?

Автор даже обрадовался.

— Нет, нет! Я никого не жду. Вы тоже никого не ждете?

— Нет, — ответил подошедший. — У меня ничего нет... кроме прошлого.

— Как хорошо! Это прямо великолепно! — с некоторой торжественностью произнес Автор. — У меня... у меня тоже ничего — кроме прошлого. Понимаете? Вот недавно, час или два назад, я распрощался с целой эпохой...

— Я вас не совсем понимаю, — сказал господин с усталым лицом. — Как так?

Автор начал говорить, и убедившись, что его слова находят отклик в чужой душе, не удержался от несколько наивного восклицания:

— Меня удивляет чудо, которым владеет человек! Чудо — уметь оглядываться в пережитое, восстанавливать то, что было, снимать с былого пласты забвения, и обнаруживать под ними... Нет, это не археология! Это что-то более значительное. Тут не нужны ни машины, ни лопаты. Тут нужен сам человек, понимающий, что в его руках — чудо возвращения в прошлое. Вот вы...

Автору пришлось замолчать, потому что в ресторан Кюблера ввалилась большая группа молодых людей явно спортивного вида. Рюкзаки и лыжи свидетельствовали о том, что молодые люди забежали сюда на час-другой, чтобы встретить Новый Год, а потом — броситься на вокзал, к поезду, который унесет их куда-то в горы.

— Вот, — сказал Автор, когда несколько угомонились спортсмены, — это тоже нужно. Оживление и шум. И то, что они куда-то спешат. Ну, вот этот, с баулом. Или вот тот — бравый, краснощекий и задорный? Они все торопятся. Куда и зачем? В каком направлении поедут они после встречи Нового Года? Во всяком случае, — добавил Автор, — они, пока что, не нуждаются в одиночестве. Прошлого у них, понимаете, еще нет.

— Да, — подхватил господин с усталым лицом. — А вы уверены, что они когда-нибудь обретут способность оглядываться в прошлое? Толпа не оглядывается. Оглядываются те, кто... ну... вот вы... вы выдумали для себя одиночество. А может быть, — господин с усталым лицом улыбнулся со смущением, — может быть выдумывают, стремятся к такому одиночеству и другие... вот я... вот я тоже люблю... с некоторых пор...

— Спасибо, — прошептал Автор и протянул руку.

На усталом лице господина мелькнула грустная улыбка.

— Да, — сказал он. — Я наблюдаю, люблю наблюдать, как появляются на мгновение люди... и исчезают. Мне даже кажется, что существует некая Высшая сила, которая составляет расписание жизней и судеб. устанавливает Начала и Концы. Больше того, — продолжал он, — я уверен, что как бы ни строил отдельный человек свое собственное *расписание*, расписание для *себя*, это — самообман... самообольщение... наивность. Никто сам для себя не составит

расписания. Это делает Некто, в руках которого и мотылек и человек.

Разговор был тихий и задушевный. Слова господина с усталым лицом звучали проникновенно и значительно. Кощунством была бы попытка отвергать глубокую мысль, заложенную в них.

Зачем такой шум устроили эти лыжники? О чем они кричат? Ну, да, у них впереди Альпы. И снег. И прозрачный морозный воздух. Обо всем этом азартнее всех, прямо с восторгом, кричал тот, краснощекий и задорный. Остальные поддерживали его возгласами и хохотом.

Хохот заставил господина с несколько усталым лицом съежиться. Хохот продолжался, казалось, он всё усиливается и усиливается. И вдруг — упала тишина . . .

Господин, который только что говорил о расписаниях человеческих судеб, вздрогнул, оглянулся, потом вскочил, тревожно разглядывая неизвестно откуда появившихся санитаров.

Санитары уложили бравого, веселого, краснощекого лыжника на носилки.

— Что такое? — спросил Автор у человека, на рукаве которого была повязка: «Врач».

— Всё, — ответил врач. — Сердце.

— А такой еще молодой, — прошептала сидевшая за соседним столом, в кругу друзей, пожилая дама. Отодвинув бокал с вином, она перекрестилась.

Вслед за носилками двинулись притихшие спортсмены. Вместе с ними из ресторана Кюблера ушла суета. Наступило задумчивое молчание, точно такое, какое повисает над свежей, только что засыпанной, могилой. У могилы уже нет никого. Родные и друзья покойного разошлись. Остался лишь холмик сырой земли — кучка песка — последний перевал.

Молчание и тишина были очень короткими, хотя Автору и господину с усталым лицом казалось, что таинственная приглушенность будет длится вечно. Глубоко задумавшиеся, они не сразу заметили, что ресторан вновь заполнился и движением и веселыми голосами. Только когда, и совсем рядом, кто-то громко расхохотался, Автор с удивлением оглянулся, и, опустив голову на руки, тихо — может быть самому самому себе — стал рассказывать о том, что недавно — не здесь, а в своей квартире — он разглядывал календарь с последним днем Старого, Уходящего Года.

— Этот листик календаря, — говорил Автор, — будет оторван, как отрывались и другие, предыдущие, будет равнодушно брошен в стоящую у письменного стола корзину. Потом, — говорил Автор, — придет время, отслужит свое и корзина, и ее тоже выбросят. Появится автомобиль, специально оборудованный сложным механизмом, всосет в себя и счет исчезнувшим дням, и корзину, и прочий мусор. И начнется всё с начала. Со счета новых дней, с их надеждами и разочарованиями, со взлетами и падениями, с палачами и жертвами.

— Да, — не поднимая глаз от стола, сказал господин с усталым лицом. — Начнется счет новым дням. Вот вы, здесь, в уголке вашего *одиночества*, в котором мы встретились, вы говорили о том, что идучи сюда — вы попрощались с целой эпохой. С мало мне знакомой эпохой. С *вашей* эпохой. У вас это записано? Да? В дневниковых набросках или в книге? Только для себя или и для других? Хотя, что я спрашиваю? — господин с усталым лицом взглянул на Автора. — Ведь вы как будто читали . . . тяжелые страницы. Я не только слышал, я *видел*, как рухнули, погибли, погибали . . . жертвы своего . . . *того* вашего времени . . . ненужные, неоправданные жертвы. Политика? Оставим ее в стороне! Я говорю о тех страницах вашей книги, на которых заканчивалась жизнь . . . ну, вот главного вашего героя — Решкова и других. Но вот о Суходолове . . .

— Суходолов? — повторил Автор. — Несчастный, простой и обманутый Суходолов, Семен Семеныч, еще некоторое время доживал свои дни где-то на обочине . . . после того, как он бросил взгляд на мертвого Леонида Николаевича Решкова и ушел по лесной тропинке в свои бесцельные, как прошлогодние листки календаря, годы, одними отсчитываемые от Рождества Христова, другими от Сотворения мира, третьими — третьими — от Октября с никогда не бывшим залпом «Авроры». Он ушел, этот Суходолов, один из создателей Октября, ушел этот крестьянский сын, понявший, что его обманули. Он пробовал что-то изменить. И не смог . . . и ушел в одиночество. Куда-то в сибирское таежное село, чтобы ничего не видеть. Он там умер. Но умер не потому, что болезнь его доконала. Нет, он умирал давно, умирал от тоски по загубленным чужим жизням, умирал медленно, внешне вполне здоровый, сам и совершенно спокойно следя, как постепенно гасла и гасла в нем сила жизни.

Всё, что творилось рядом с ним, его не интересовало. В конце концов, он пришел к выводу, что устал от жизни.

Иногда, правда, он сжимал и разжимал свои сильные кулаки, двигал плечами или наблюдал за игрой мышц на своих ногах. Однажды, глубоко вздохнув, он с запоздалой гордостью подумал, как крепка еще грудь, но тут же, рядышком, шмыгнула мысль, что всё это — уж ни к чему, так, вроде прошлогодних листьев, давным-давно мертвых, но зачем-то лежащих на свежей, только что поднявшейся весенней и радостно-зеленой траве.

Решив, что воли к жизни у него нет, он установил день, чтобы покончить с собой. И если бы кто-то принялся возражать, спорить, отвергать, высмеивать бессмысленность такого решения — он нашел бы слова, доказывающие необходимость сделать именно так, как им самим намечено.

Но в спор с ним никто не вступил. Сам же он, уже израсходовавший отпущенную ему природой волю к жизни, не покончил с собой, а безо всякой боли, тихо и незаметно умер во сне.

— Как всё просто и... как всё страшно, — прошептал господин с усталым лицом.

Автор ничего не ответил.

Молча, уже в музыке, льющейся навстречу Новому Году, под звуки рвущихся в ночном воздухе холодных бенгальских ракет, под возгласы «прозит!» (кто-то даже крикнул «Ура!»), Автор и господин с усталым лицом переглянулись, подняли свои бокалы с вином... Держа бокалы на уровне глаз, они пристально рассматривали друг друга, как большие, душевные друзья, перед которыми долгая, может быть даже окончательная разлука.

«Вот и всё», — самому себе сказал Автор, вспомнив, что такими же словами попрощался с прошлым Суходолов, глядя на лежащего в чащобе Полесского леса Решкова, того самого Леонида Николаевича Решкова, так и не понявшего, кто же он: палач или жертва?

1968.



СОДЕРЖАНИЕ

О Леониде Николаевиче Решкове 3
Собеседник расценивает «Русский Октябрь» . . . 13
О близости Кулибина и Решкова 21
Как ресторан Кюблера стал приютом одиночества . 29
О судьбе генерала Нововойтова 34
Профессор Воскресенский вошел в *действо* . . . 39
Смятение Решкова перед загадками наследственности . 47
Мысли Решкова о самом себе 52
Дело профессора Воскресенского и преступление Суходолова 58
Собеседник, рассуждающий о крушении 61
Как Решков оказался на распутье и как возник Атаманчик 64
Суходолов о себе, о Решкове, об Ирине и Ксюше . . 72
О Мохове и о том, почему ему доверял Решков . . 76
Расправа Ошалкина с «Царицей Тамарой» . . . 81
Ошибка Ошалкина, упустившего десять минут, могущих перечеркнуть «Десять дней, которые потрясли мир» 86
Автор пробует разгадать Решкова 92
Собеседник о партбилете и браунинге Ленина . . . 97
Переплетение судеб Кулибина, Решкова и Суходолова . 103
Встреча Суходолова с Воскресенским, пролетаркой Мешковой и агентом Ступицей 114
Рассказ о ночной беседе Суходолова с отцом . . . 120
Как Решков и Суходолов, каждый по-своему, подошли к оценке своей жизни 127
Семыхин вышел из игры 136
Рассуждения Собеседника об одном из видов диалектики 147
Ловшин наводит Мохова на след Суходолова . . . 151
О Феликсе Вольском и его романе с девушкой Татьяной 157
Дополнительные штрихи к нелегкой судьбе корнета Вольского 164
Собеседник находит литературные аналогии . . . 174

Кулибин и Решков говорят о поисках истины . . . 180
Решков и Ирина Мовицкая сами себе выносят приговор 183
Знакомство с Карпенко, с Костей Туровцом и еще кое с кем 195
О Суходолове и тамбовской крестьянке Авдотье Сидоровне 211
Беседы Решкова с Кулибиным о любви и ненависти . 220
Собеседник о причинах и следствиях 225
О дружбе Кости Туровца с девушкой Валей . . . 229
События, разбившие жизнь Уходолова и Ксюши . . 237
О Тобаридзе, Атаманчике, Другасе, Ступице и других . 244
Движение Решкова к своей гибели 251
Собеседник оценивает настоящее 256
О растоптанной жизни Вали и Кости Туровца . . . 265
Собеседник рассматривает трагедию Кости Туровца . 270
О встрече Кулибина с Решковым, после которой ускорилось движение к развязке 275
Суждение Собеседника о деньгах, золоте и драгоценных камнях 281
О смерти профессора Воскресенского и о Суходолове, играющем со смертью 288
Как вернулся Суходолов и как закончился Другас . 296
Завершающий разговор Решкова с Кулибиным . . 305
О последних минутах Леонида Николаевича Решкова . 311
Как в ресторане Кюблера был встречен Новый Год . 314